



TARTU ÜLICOOL
VENE KEELE ÕPPETOOL
ТАРТУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

ЛИНГВИСТИКА

Новая серия
VIII

**Языковые функции:
семантика, синтактика, прагматика**

ТАРТУ 2002

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ
И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

ЛИНГВИСТИКА

TARTU ÜLIKOOL
VENE KEELE ÕPPETOOL
ТАРТУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА

**ТРУДЫ ПО РУССКОЙ
И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ**
ЛИНГВИСТИКА

Новая серия
VIII

**Языковые функции:
семантика, синтактика, прагматика**



TARTU ÜLIKOOLI
KIRJASTUS

Редколлегия: С. Евстратова, Е. Костанди, Ю. Кудрявцев,
И. Кюльмоя, О. Паликова, А. Штейнгольд, В. Щаднева

Редактор тома: И. Кюльмоя

Редактор английского текста: К. Вогелберг

Технический редактор: С. Долгорукова

© *Статьи:* авторы 2003

© *Составление:* Кафедра русского языка Тартуского
университета, 2003

Tartu Ülikooli Kirjastus / Издательство Тартуского университета
Tiigi 78, Tartu 50410
Eesti

Order no. 11



Настоящий сборник посвящается 75-летию со дня рождения доктора филологических наук профессора-эмеритуса кафедры русского языка ТУ Михаила Алексеевича Шелякина.

Более полувека продолжается научная деятельность М. А. Шелякина. За это время его внимание привлекали самые разные филологические проблемы: это и анализ языка «Записок охотника» И. С. Тургенева (кандидатская диссертация), и работы в области истории русского языка, и осмысление центральных и сложнейших вопросов грамматики современного русского языка, и попытки понять роль субъективного фактора в формировании и функционировании языка, и многое-многое другое. В 70–80-е годы XX века основной проблематикой исследований М. А. Шелякина становятся вопросы грамматики русского языка. Его работы получают все большую известность, и он становится одним из ведущих филологов-русистов, разрабатывающих функциональное направление в языкознании.

Во введении к сборнику научных работ, посвященному шестидесятилетию М. А. Шелякина, отмечалось, что «шестидесятилетие застаёт творческие возможности юбиляра в цветущем состоянии». Эти же слова, думается, можно с полным правом повторить и сейчас.

В начале 90-х годов во всей нашей жизни происходят изменения, никого не обошедшие стороной. В Тартуском университете по возрасту на пенсию уходит целый ряд профессоров, не всегда этот уход был оправдан, но таково было общее положение. В 1993 году М. А. Шелякин, многолетний заведующий кафедрой русского языка, также уходит на пенсию и становится профессором-эмеритусом. Для любого человека отход от привычной активной деятельности психологически труден. Однако Михаил Алексеевич не стал «обычным» пенсионером. Этот период подлинной научной зрелости оказался ничуть не менее, а может быть, и более плодотворным. Как профессор-эмеритус и приглашенный профессор М. А. Шелякин читает спецкурсы на отделениях русской и славянской филологии и семиотики ТУ, в Таллинском педагогическом университете, на филфаке МГУ, руководит магистерскими и докторскими работами, выступает в качестве оппонента, активно участвует в научных конферен-

циях. Но главная работа — за компьютером в своем рабочем кабинете. В положении «пенсионера» есть свои преимущества, теперь можно без каждодневных организационных забот, без спешки осмыслить предыдущие периоды, работы, идеи, сделать еще более глубокие выводы.

В последнее десятилетие М. А. Шелякин не только продолжает разрабатывать прежнюю тематику, но и углубляется в такие области, которые раньше привлекали его внимание в меньшей степени или даже не привлекали вовсе — это область функционального синтаксиса, прагматический аспект языка. Результаты этой плодотворной работы поражают. Появляется множество интереснейших статей, в Москве выходят такие монографические труды, как первое и второе издания «Справочника по русской грамматике», «Функциональная грамматика русского языка», в 2002 году в Таллине выпущен «Русский язык. Справочник», учитывающий местного адресата — учеников школ, гимназий, студентов, преподавателей, журналистов, всех, кто интересуется вопросами русского языка. В Тарту выходит монография «Язык и человек», где вся языковая система рассматривается под определенным углом зрения — с точки зрения самых разнообразных возможностей проявления субъективности в языке, то есть книга посвящена проблематике, относительно недавно ставшей одной из центральных в современной лингвистике. Сейчас для московского издательства «Русский язык» М. А. Шелякин готовит книгу, посвященную вопросам синонимии в языке. Поистине — «цветущее» состояние!

Постоянная научная работа не превратила Михаила Алексеевича в «кабинетного» человека, он по-прежнему открыт для общения, всегда готов помочь советом — и профессиональным, и просто советом человека с большим жизненным опытом.

Хочется пожелать нашему дорогому профессору здоровья, долголетия, дальнейшей столь же плодотворной работы, все новых и новых открытий.

Коллеги и ученики

ОГЛАВЛЕНИЕ

А. В. Бондарко (Санкт-Петербург). Из проблематики системно-функционального анализа грамматических единиц	11
Б. М. Гаспаров (Нью-Йорк). Наблюдения над употреблением перфекта в древнерусском языке	27
Г. А. Золотова (Москва). К проблеме системности русской грамматики	40
К. Кару (Тарту). Семантика и прагматика некоторых эстонских уступительных конструкций и их соответствия в русском языке	49
Е. И. Костанди (Тарту). К вопросу о функциональных особенностях сочинительной связи	62
Й. Крекич (Сегед). Направление времени в значении перформативов	74
Ю. С. Кудрявцев (Тарту.) К методике филологического анализа в русской исторической фонетике	87
А. М. Кузнецов (Даугавпилс). Залог и ересь (об одной форме в «Написании о правой вере» Константина-Философа)	99
И. П. Кюльмоя (Тарту). Безглагольные кратно-соотносительные конструкции в русском языке	107
А. Мустайоки (Хельсинки). Роли актантов в рамках функционального синтаксиса	116
Л. А. Новиков (Москва). Единица эстетической коммуникации	134
Б. Ю. Норман (Минск). Грамматическая информация в словаре vs. лексическая информация в грамматике	148

Н. К. О н и п е н к о (Москва). Об «эгоцентрическом измерении» в грамматике	163
Е. Н. Р е м ч у к о в а (Москва). Грамматика и рефлексивный дискурс	181
О. Р о в н о в а (Москва). Начинательный способ действия в русских говорах	198
Е. С и д о р о в а (Тарту). Двойное отрицание и его эстонские соответствия.....	223
Т. Т р о я н о в а (Тарту). Метафорический портрет человека (на материале имён существительных русского языка).....	234
С. Н. Т у р о в с к а я (Таллин). Высказывания с <i>должен</i> в контексте когнитивной деятельности: семантика ожидания.....	244
К. V o g e l b e r g (Tartu). A contrastive study of the use of politeness strategies in Russian, Estonian and English: some methodological considerations.....	260
Э.-О. Х а а г (Тарту). Выражение причинно-следственных отношений в бессоюзных сложных предложениях современного русского языка.....	273
В. С. Х р а к о в с к и й (Санкт-Петербург). Буквально два слова о слове <i>буквально</i>	282
М. Ю. Ч е р т к о в а (Москва), П.-Ч. Ч а н г (Тайвань). Модели видовых пар с префиксом <i>с-</i> в современном русском языке.....	292
В. П. Щ а д н е в а (Тарту). О «свободном» порядке слов в русском языке.....	306
П. Э с л о н (Таллин). Об аналитичности в языке (на материале сопоставления русского и эстонского глагола)	322
S u m m a r i e s	345
Основные научные труды профессора М. А. Шелякина	358
Аспиранты, докторанты и магистранты М. А. Шелякина	377

ИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ СИСТЕМНО- ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА ГРАММАТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

А. В. БОНДАРКО

В этой статье основное внимание уделяется понятию функции. Речь идет главным образом о соотношении телеологического и каузального аспектов функций языковых единиц. Рассматриваются также принципы функционально-грамматического анализа языкового материала на основе понятий инварианта и прототипа.

В широкой сфере проблем лингвистической теории, осмысляемых в трудах М. А. Шелякина, центральное место занимает идея единства системных оснований грамматики и ее функционального потенциала. Эта идея последовательно раскрывается и конкретизируется Михаилом Алексеевичем в строгом и тонком анализе функций грамматических форм и конструкций (см., в частности, [Шелякин 1986, 1989, 1999]), в описании категории вида и способов действия русского глагола [1983]. М. А. Шелякин — один из авторов и членов редакционной коллегии шеститомного коллективного труда по теории функциональной грамматики [ТФГ 1987, 1990, 1991, 1992, 1996 а, 1996 б]. Им создана пользующаяся широкой известностью научная школа, разрабатывающая проблемы анализа системы языка и ее функционирования. В недавно вышедшей книге [Шелякин 2001] представлена модель функциональной грамматики русского языка, основанная на последовательно реализуемом принципе «от формы выражения (средства) к функции». Эта работа, написанная в форме пособия по функциональной грамматике современного русского языка, имеет несомненное

общетеоретическое значение. Реализованные в ней методы построения грамматики и описания фактов русского языка могут быть использованы в функционально-грамматических описаниях различных языков, в сопоставительных и типологических исследованиях.

О понятии «функция». Далее излагается трактовка понятия функции (Ф), представляющая собой развитие истолкования данного понятия в ранее вышедших публикациях. Исходным пунктом дальнейших рассуждений является широко распространенное истолкование Ф языковых средств как их назначения, т.е. цели, которой они служат. В философской литературе помимо телеологического истолкования Ф, основанного на понятии назначения, цели, представлена трактовка Ф, базирующаяся на «каузальном подходе». Ф определяется как «способ поведения, присущий какому-либо объекту и способствующий сохранению существования этого объекта или той системы, в которую он входит в качестве элемента» [Философская энциклопедия 1970: 418]. Далее отмечается: «Такое истолкование Ф является каузальным, в отличие от телеологического, почти безраздельно господствовавшего в истории философии...» [Там же]. С нашей точки зрения, каузальный подход к понятию Ф не противоречит телеологическому, а дополняет его. Аспект каузации вытекает из аспекта цели. Если то или иное языковое средство имеет определенное назначение, служит некоторой цели, то эта целевая потенция детерминирует (каузирует) определенное поведение данного элемента языковой системы, его взаимодействие с другими элементами при реализации Ф в речи.

Признак каузации по отношению к закономерностям функционирования языковых единиц и их сочетаний может найти отражение в дефиниции понятия Ф на телеологической основе. Одна из возможных формулировок такова: функция того или иного элемента языковой системы — это его назначение, обуславливающее определенные типы его употребления в речи.

Рассматриваемое истолкование Ф связано не только с соотношением «назначение (цель) данного языкового средства —

каузация употребления, соответствующего этому назначению», но и с выделяемыми нами в понятии Φ аспектами потенции ($\Phi\text{п}$) и реализации ($\Phi\text{р}$). Функции языковых единиц и их сочетаний выступают, с одной стороны, как существующие в системе языка потенциальные назначения, цели, обуславливающие (каузирующие) определенные типы функционирования («способы поведения») данной единицы, а с другой — как процессы и результаты реализации этих потенций в речи. Каждая Φ выступает как цель, которой может служить соответствующее языковое средство или их сочетание, как способность к определенному типу функционирования ($\Phi\text{п}$), и вместе с тем — как реализация этой способности в конкретных высказываниях. Ср. соотношение: а) способность глагольных форм повелительного наклонения служить для выражения различных вариантов побуждения — б) реализация этой способности при выражении в речи приказа, просьбы, совета, предостережения и т.п.

Таким образом, истолкование Φ как назначения тех или иных средств, обуславливающего определенные варианты их функционирования, и выделение в понятии Φ аспектов потенции и реализации — взаимосвязанные элементы рассматриваемого истолкования понятия Φ . В назначении, трактуемом как потенция, присущая данной единице, есть и аспект каузации. В комплексе « $\Phi\text{п}$ — $\Phi\text{р}$ » представлено отношение «обуславливать (каузировать) функционирование — быть его результатом». Потенции элемента языковой системы, присущие ему способности участвовать в передаче определенного семантического и/или структурно-синтаксического содержания обуславливают выбор данного элемента говорящим в процессе речи и перспективу функционирования этого элемента. Телеологическая основа Φ и аспект каузации также имеют непосредственное отношение к взаимосвязям языка и речи. Цели, которым служит данное средство, заложены в языковой системе, к ней относится и способность каузировать определенные типы употребления языковых единиц. Реализация цели и каузации осуществляется в речи, в конкретных высказываниях.

Рассматриваемые отношения сопряжены с идеей взаимодействия. Функциональные потенции языковых средств (цели, для достижения которых они предназначены) обуславливают реализацию определенных назначений в речи. Речевые реализации функций (результаты каузации употребления, вытекающей из его цели), в свою очередь, становятся основой для формирования потенций, которые находят все новые и новые реализации. В этом круговороте потенций и реализаций, в круговороте целей и каузируемого ими поведения элементов системы языка осуществляется, с одной стороны, воспроизведение Φ языковых единиц, а с другой — их развитие.

С функциями, рассматриваемыми в телеологическом (прежде всего потенциальном) и каузальном аспектах, связано понятие «*функциональный потенциал*». Имеется в виду весь комплекс Φ п, возможных для данной языковой единицы и определяющих (программирующих) ее поведение в речи. Рассматриваемое понятие охватывает Φ разных типов — не только собственно семантические, но и эмоциональные, экспрессивные, стилистические, структурные. Элементы функционального потенциала «предусматриваются» уже на уровне отдельной словоформы и проецируются на высказывание. Владение таким потенциалом входит в языковую компетенцию говорящего и определяет выбор именно данной словоформы, а не какой-либо иной. Потенции функционирования грамматических форм могут быть по-разному представлены в лингвистических описаниях. Сошлюсь, в частности, на «алгоритмы употребления видовых форм» в истолковании М. А. Шелякина [1983: 197–208] (ср. также истолкование понятия «функциональный диапазон (потенциал)» в кн. [Шелякин 2001: 6, 12–14]). Общим признаком подобных понятий является стремление учесть связь потенциальных функций языковых единиц с функциями на уровне высказывания.

При анализе функциональных потенций грамматических форм в соответствующих схемах могут быть представлены различные отношения к дифференциальным семантическим признакам: «+» — данный признак выражен, «-» — данный признак исключен, «+/-» — признак не выражен, но и не исклю-

чен, «(+)/-» — возможность выражения признака ограничена, «+/(-)» — ограничена возможность невыражения признака (ср. анализ потенциала форм совершенного и несовершенного вида в кн. [Бондарко 1971: 11–21]; подробнее о понятии «функциональный потенциал» см. [Бондарко 2002: 352–355]).

Понятие Φ соотносится с понятием «средство». В сфере лингвистики последнее понятие охватывает языковые единицы разных уровней, а также репрезентируемые ими классы и категории. Ср. такие сочетания, как Φ категории вида, Φ глагольного времени, наклонения, лица, залога. Функции-реализации, выступающие в конкретном высказывании, представляют собой результат взаимодействия различных языковых средств. Исходные Φ отдельных единиц по существу приходится «восстанавливать».

Понятие Φ тесно связано с взаимодействием системы и среды. Согласно теории системных исследований, система как множество элементов с отношениями и связями между ними, образующими определенную целостность, проявляет и формирует все свои свойства во взаимодействии со средой. Взаимозависимость системы и среды рассматривается как один из системных принципов, наряду с такими свойствами системы, как целостность и иерархичность [ФЭС 1983: 610]. При исследовании систем с точки зрения их функций связи объекта с окружающей средой выдвигаются на передний план. Само понятие функционирования (поведения) объекта включает его взаимодействие с окружающей средой [Марков 1982: 3, 14]. Это относится и к функционированию языковых системных объектов.

Говоря о среде по отношению к той или иной языковой единице, категории или группировке, трактуемой как исходная система или ее компонент, мы имеем в виду некоторое множество языковых (в части случаев также и внеязыковых) элементов, играющее роль окружения, во взаимодействии с которым исходная система выполняет свою функцию. Понятие среды обобщает и интегрирует давно изучавшиеся типы окружений. Имеются в виду контекст, целостный текст, речевая ситуация (в широком понимании, включающем ролевые

отношения участников речевого акта и фоновые знания), «лексическое наполнение» грамматических форм и конструкций, взаимодействующие с ними грамматические категории, лексико-грамматические разряды.

Взаимодействие системы и среды детерминируется функцией. Отдельный элемент языковой системы не мог бы обеспечить реализацию функций, выполняемых в процессе общения, если бы этот элемент был изолированным. Лишь взаимодействие данного системного объекта с другими объектами, играющими роль среды, делает возможной реализацию семантических, семантико-прагматических, стилистических и структурных Ф в процессе речи. Так, Ф настоящего исторического предполагает взаимодействие категориального значения формы настоящего времени как элемента системы с контекстом и ситуацией отнесенности действия к прошлому — элементами среды.

Телеологическая основа функций элементов языковой системы и аспект каузации типов их употребления детерминируют в каждом конкретном акте речи реализацию взаимодействия системы и среды в высказывании.

Функции-реализации связаны с целым комплексом взаимосвязанных средств в составе высказывания и текста в целом. В Фр всегда есть нечто новое, вытекающее из взаимодействия системы и среды. Функциональный результат не сводится к сумме отдельных функций-слагаемых.

Обратимся к вопросу о соотношении понятий функции и значения. Как известно, существуют два подхода к решению этого вопроса: 1) значения отделяются от функций, выводятся за пределы понятия Ф; 2) значения связываются с понятием Ф, т.е. допускается, что выражение того или иного значения в речи может рассматриваться как семантическая Ф. Мы придерживаемся последней точки зрения. Она отнюдь не предполагает, что функции отождествляются со значениями (речь идет о семантических Ф, что касается структурных Ф, напр., Ф соединительных морфем, то их отличие от значений не требует особых пояснений).

Каждое из рассматриваемых понятий выступает в своей системе. Понятие «значение» связано прежде всего с вопросом «что собой представляет данная единица в плане содержания?», тогда как понятие Φ — с вопросом «для чего служит данная единица в речи, каково ее назначение?». Вопрос «для чего служит форма?» обычно предполагает те или иные типы ее употребления. Вопрос же «что собой представляет данная форма в плане содержания?» сопряжен прежде всего со структурой содержания языковых знаков в данной системе форм; в частности, анализируются дистинктивные семантические признаки и их соотношения. Для понятия «значение» характерна ориентация на семантическую структуру знаковой единицы и ее место в данной подсистеме языковых единиц, тогда как по отношению к Φ доминирует связь выражаемой семантики с определенным «способом поведения» анализируемых единиц в речевой среде и с достигаемым в речи результатом. Значение того или иного падежа, наклонения, времени и т.д. составляет основу того, для чего служит данная форма, но Φ , базирующаяся на этой основе, заключает в себе специфические признаки, связанные с целями и условиями коммуникации (ср. суждения о соотношении логико-коммуникативной функции и значения слова, высказанные в кн. [Арутюнова 1976: 326–356]; см. также [Арутюнова 1999: 1–94]).

Следует констатировать частичное пересечение конкретных вариантов семантических Φ с «частными значениями» (ср. частные видовые значения, нередко анализируемые при использовании термина Φ). Вместе с тем Φ выходят за пределы того, что может быть признано особым частным значением формы. Ср. такие семантические Φ , как настоящее репортажа, настоящее номинации, настоящее биографическое и т.п. Когда речь идет о конкретных и частных типах употребления грамматических форм в определенных коммуникативных условиях, уместно говорить именно о Φ или об употреблении (как Φ), а не об особом значении.

Таким образом, термины «частное значение грамматической формы» и «функция», несмотря на возможность частичных пересечений, отличаются друг от друга общей ориентаци-

ей системы проводимого анализа. При использовании термина «значение» рассматривается прежде всего соотношение системных инвариантов и их контекстуально и/или ситуативно обусловленных вариантов. Если же используется термин «функция», то предметом анализа чаще всего является не просто тот или иной вариант системного значения, а семантика, трактуемая как назначение определенного комплекса языковых средств.

Если выражение вариантов языковой семантики выводится за рамки понятия Φ , то само понятие «семантическая Φ » фактически теряет право на существование. Важно подчеркнуть значимость принципа единства в истолковании понятия Φ , с одной стороны, применительно к языковым средствам, а с другой — к функциям языка в целом. Если выражение определенного содержания признается одной из основных Φ языка (такое признание неизбежно), то естественным и последовательным представляется включение семантических Φ в число назначений, реализуемых отдельными языковыми средствами и их сочетаниями.

Системно-функциональный анализ языкового материала на основе понятий инварианта и прототипа. Взаимодействие системы и среды при реализации функций языковых единиц является одним из факторов, обуславливающих соотношение инвариантности/вариативности. Инвариант в сфере лингвистики может быть определен как признак или комплекс признаков изучаемых системных объектов (языковых и речевых единиц, классов и категорий, их значений и функций), который остается неизменным при всех преобразованиях, обусловленных взаимодействием исходной системы с окружающей средой. Данное истолкование рассматриваемого понятия соотносится с дефинициями, имеющими междисциплинарный характер (ср. [Кондаков 1976: 196–197]). Особенность предлагаемой трактовки понятия «инвариант» заключается в том, что в характеристику «лингвистических инвариантов» вводится указание на то, чем обусловлена вариативность: инвариант как элемент определенной системы подвергается преобразованиям в результате взаимодействия системы и среды.

В проблематике инвариантности/вариативности в сфере грамматической семантики важную роль играет вопрос о типах семантической инвариантности. Среди семантических инвариантов выделяются, с одной стороны, значения грамматических форм как инварианты в сфере грамем, т.е. компонентов грамматической категории, а с другой — семантические категории, выражаемые различными сочетаниями морфологических, синтаксических, лексико-грамматических и лексических средств. Различные типы инвариантных значений компонентов грамматических категорий представлены в сферах семантической маркированности и немаркированности. В первом случае налицо инвариантность «положительной» семантической характеристики данной грамемы. Во втором случае мы имеем дело с инвариантом, выступающим собственно не как конкретное значение, выражаемое в том или ином варианте в речи, а как системная значимость — способность данной формы к выражению определенного комплекса частных значений и к импликации семантики маркированного члена оппозиции (ср. значимость грамемы несов. вида).

Инвариантам присуще свойство относительности. Каждый раз речь идет об инвариантности/вариативности в рамках определенной подсистемы (микросистемы), являющейся непосредственным предметом лингвистического анализа. За пределами данной подсистемы даже «канонические инварианты» во многих случаях оказываются не абсолютными, а относительными. Ср. семантические категории, лежащие в основе полей аспектуальности, временной локализованности, темпоральности, таксиса и временного порядка. Каждая из этих категорий представляет собой семантический инвариант высокого уровня обобщенности. Вместе с тем указанные категории могут рассматриваться как компоненты аспектуально-темпорального комплекса, основой которого является общая идея времени. Инвариантные семантические категории условия, причины, цели и уступительности могут рассматриваться как компоненты категории обусловленности, относящейся к более высокому уровню обобщения (см. [ТФГ 1996 б]).

Обратимся к соотношению понятий инварианта и прототипа. Теория прототипов предполагает, что категории выступают в «лучших примерах» (см. [Lakoff 1988: 7; Лакофф 1988: 31–51; Givón 1986: 77–102; 1995: 111–299; Кубрякова и др. 1996: 140–145; Рахилина 1997]). Наиболее репрезентативное значение в семантической сфере, охватываемой данной формой, рассматривается как значение прототипическое. Ср. точку зрения, согласно которой прототипический субъект — это агенс и в то же время тема (topic) [Lakoff 1988: 64–65].

«Прототипический подход» во многих отношениях близок к известному в языковедческой традиции анализу, основанному на соотношении «центр — периферия — континуальность — пересечения системных объектов» (это далеко не всегда отмечается и учитывается). В данной связи уместно сослаться, в частности, на труды В. В. Виноградова. Интересная интерпретация данного круга проблем представлена в работах представителей Пражского лингвистического кружка (см. [Travaux linguistiques de Prague 1966] — том, специально посвященный проблеме соотношения центра и периферии в языковой системе).

К принципу «центр — периферия — континуальность — пересечения системных объектов» близка теория полевой структуры. Эта теория получила интересную интерпретацию в трудах В. Г. Адмони. Самое главное, что характеризует полевую структуру, — полнота и максимальная интенсивность признаков в центре структуры и их разреженность и ослабление на периферии. Как один из вариантов полевой структуры рассматривается частичное совпадение полей разных грамматических единиц, т.е. наличие у двух полей общего сегмента. Отмечается неравномерная насыщенность разных секторов периферии, более или менее равномерно удаленных от сердцевины, теми или иными признаками данной единицы. Эта периферия, формирующаяся и располагающаяся разными способами, асимметрична [Адмони 1964: 51]. Ср. следующее высказывание из книги 1988 г.: «...один из разрядов данной категории, целиком воплощая систему ее форм, становится не только основным репрезентантом всей этой категории, но и ее цен-

тром, ее ядром. А остальные ее разряды, многообразно перекрещиваясь с разрядом центральным (а также и с другими ее разрядами), на него опираются и располагаются вокруг него, оказываются его периферией» [Адмони 1988: 76–77].

В разрабатываемой нами модели функциональной грамматики одним из основных типов полевых структур является функционально-семантическое поле (ФСП). Выделяются два основных структурных типа ФСП — моноцентрические и полицентрические. Моноцентрический тип структуры ФСП наиболее четко представлен полями, в центре которых находится определенная грамматическая категория, концентрирующая в целостной системе наиболее специализированное и наиболее регулярное выражение данного круга функций. Ср. отношения: вид глагола и аспектуальность, глагольное время и темпоральность, лицо и персональность, залог и залоговость. К полицентрическому типу относятся такие поля, как таксис (зависимый и независимый), качественность (атрибутивная и предикативная), бытийность (дискретная и недискретная), посессивность (атрибутивная и предикативная).

Понятие ФСП соотносится с понятием «категориальная ситуация» (КС). КС трактуется как один из аспектов «общей ситуации», передаваемой высказыванием, одна из его категориальных характеристик (ср. ситуации аспектуальные, таксисные, локативные, посессивные, кондициональные и т.п.). Понятие КС непосредственно связано с принципом полевой структуры. В данном случае предметом анализа является структура типовых ситуаций и их вариантов, выступающих в речи. Значимость понятия КС в рассматриваемой модели функциональной грамматики не менее существенна, чем роль понятия ФСП (о соотношении системно-структурных и коммуникативных аспектов рассматриваемой модели функциональной грамматики см. [Бондарко 2000]).

Как уже было отмечено выше, с концепциями, рассматривающими закономерности языковой категоризации в терминах «центр — периферия» и «полевая структура», сближаются системные признаки «прототипического подхода» в интерпретации представителей современной когнитивной лингвистики.

Лингвисты, излагающие теорию прототипов в системе когнитивистики, как правило, не соотносят излагаемую ими теорию с концепциями, оперирующими другими терминами, но фактически осмысляющими те же в своей основе отношения, заложенные в языковой системе. Следует, однако, подчеркнуть: первостепенное значение имеет объективный факт отражения определенных закономерностей языковой категоризации в разных направлениях лингвистической теории. Наблюдения и обобщения, о которых идет речь, во многих случаях излагаются нетривиально и интересно.

Близость теории прототипов к концепциям, основанным на понятиях «центр — периферия» и «полевая структура», четко выявляется, в частности, в интерпретации данной проблематики, представленной в работах Р. Лангаккера. Характеризуя прототипическую модель, в которой категория определяется через прототип, т.е. схематичное представление ее типичных представителей, автор подчеркивает, что соответствующая прототипу сущность относится к центральным членам категории. Отличающиеся от прототипа сущности могут быть причислены к категории в качестве ее периферийных элементов в том случае, если они в некоторых отношениях сходны с прототипом. Противопоставление центральных и периферийных членов категории формирует ее внутреннюю структуру. Членство в категории оказывается относительным, оно зависит от удаленности элемента от прототипа [Лангаккер 1997: 167].

Необходимо еще раз отметить: при всех различиях в исходных позициях и в используемой терминологии между существующими истолкованиями рассматриваемых отношений выявляется и нечто общее. Причина общности обсуждаемых концепций с точки зрения принципов «центр — периферия — постепенные переходы — частичные пересечения» и «прототипы и их окружение» коренится в глубинных свойствах изучаемых объектов, в самом предмете исследования и лингвистического описания. Именно этим объясняется тот факт, что признание типичности описываемых отношений разделяется широким кругом исследователей. Перед нами один из редких случаев, когда наблюдается сходство или сближение систем-

ных принципов анализа, осуществляемого в разное время в работах, относящихся к разным научным направлениям и школам.

В трактовке понятия «прототип», излагаемой в работах автора этой статьи, подчеркивается связь этого понятия с соотношением инвариантности/вариативности. Для определения рассматриваемого понятия существенны следующие признаки: 1) наибольшая специфичность — концентрация специфических признаков данного объекта, «центральность», в отличие от разреженности таких признаков на периферии (в окружении прототипа); 2) способность к воздействию на производные варианты, статус «источника производности»; 3) наиболее высокая степень регулярности функционирования — признак возможный, но не обязательный. Итак, определение рассматриваемого понятия (в сфере языковых единиц, классов и категорий) может быть сформулировано следующим образом: прототип — это наиболее репрезентативный (канонический, эталонный) вариант определенного инвариантного системного объекта, характеризующийся наибольшей специфичностью (концентрацией специфических признаков данного объекта), способностью к воздействию на производные варианты и (во многих случаях) наиболее высокой степенью регулярности функционирования.

Идея инвариантности/вариативности и «прототипический подход» закономерно и естественно интегрируются в единой системе лингвистического анализа (целесообразность совмещения принципов инвариантности и прототипичности уже обсуждалась в лингвистической литературе). Понятия «инвариант» и «прототип» в сфере семантики объединяет их роль источника системного воздействия на зависимые значения и функции. Вместе с тем есть и существенные различия. Инвариант представляет собой системный (глубинный) источник воздействия на подчиненные ему варианты. Он отражает исходно-системную сторону взаимодействия системы и среды. Инварианты часто не являются интенциональными, они далеко не всегда осознаются говорящими и не всегда включаются в сферу актуального смысла. Иной характер имеет признак

«источник воздействия» в сфере прототипов и их окружения. Прототипы в сфере семантики по своей природе интенциональны. Функции прототипов неразрывно связаны с актуальным сознанием участников речевого акта. Прототипические значения связаны с намерениями говорящего, с коммуникативными целями речемыслительной деятельности.

Прототипы, как и инварианты, проявляют свойство относительности. То или иное значение может быть производным от прототипа более высокого уровня и вместе с тем быть прототипом по отношению к тому или иному семантическому варианту, находящемуся на более низкой ступени иерархии. Напр., «живое» настоящее историческое (*Иду я вчера...* и т.п.) является производным от актуального настоящего, выступающего в роли «первичного прототипа», и вместе с тем данная разновидность настоящего исторического является прототипом по отношению к «литературному настоящему историческому» как одной из возможных разновидностей художественного повествования.

Ход анализа в системе инвариантности/вариативности в сочетании с понятиями прототипа и степени прототипичности может быть представлен следующим образом: 1) ставится вопрос (как своего рода предварительная гипотеза) о возможности истолкования определенного семантического элемента как категориального значения, представляющего собой инвариант; 2) раскрывается система вариантов: именно в этой области целесообразно использование понятия прототипа как эталона, наиболее точно и полно представляющего специфику данного признака; 3) анализ вариантов начинается с прототипа как эталонного варианта, затем прослеживается цепочка постепенных переходов от эталона к его окружению — шаг за шагом, сначала к ближайшему окружению, которое чаще всего не отделено четкой гранью от прототипа, а затем к ближней и, наконец, к дальней периферии рассматриваемого семантического пространства. Рассмотрение таких переходов дает возможность ввести в анализ вариантов элементы системности (подробнее см. в кн. [Бондарко 2002: 263–285]).

На современном этапе развития теории языкознания системно-структурные аспекты лингвистического анализа в единстве с аспектами коммуникативно-функциональными приобретают особую актуальность. Результаты семантических исследований требуют поисков нового в теории системности (имеется в виду системность, охватывающая всю сферу выражаемого содержания и его языковой интерпретации). Новые тенденции в развитии лингвистической семантики должны быть стимулом для осмысления роли формы, системы и структуры в целостном комплексе научного познания языка и речи.

ЛИТЕРАТУРА

- Адмони В. Г. 1964 — *Основы теории грамматики*. М.; Л.
- Адмони В. Г. 1988 — *Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики*. Л.
- Арутюнова Н. Д. 1976 — *Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы*. М.
- Арутюнова Н. Д. 1999 — *Язык и мир человека*. М.
- Бондарко А. В. 1992 — К вопросу о функциях в грамматике. *Известия АН СССР. Серия литературы и языка*. Т. 51. № 4. М.
- Бондарко А. В. 2000 — Системные и коммуникативные аспекты анализа грамматических единств. *Проблемы функциональной грамматики: Категории морфологии и синтаксиса в высказывании*. СПб.
- Бондарко А. В. 2002 — *Теория значения в системе функциональной грамматики: На материале русского языка*. М.
- Кондаков Н. И. 1976 — *Логический словарь-справочник*. М.
- Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. 1996 — *Краткий словарь когнитивных терминов*. М.
- Лакофф Дж. 1988 — Мышление в зеркале классификаторов. *Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII. Когнитивные аспекты языка*. М.
- Лангаккер Р. В. 1997 — Модель, основанная на языковом употреблении (перев. с англ.). *Вестник Московского университета. Серия 9. Филология*. № 4. М.
- Марков Ю. Г. 1982 — *Функциональный подход в современном научном познании*. Новосибирск.
- Рахилина Е. В. 1997 — *Основные идеи когнитивной семантики: Сборник обзоров*. М.

- Теория функциональной грамматики 1987 — *Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис*. Л.
- Теория функциональной грамматики 1990 — *Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность*. Л.
- Теория функциональной грамматики 1991 — *Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость*. СПб.
- Теория функциональной грамматики 1992 — *Теория функциональной грамматики: Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность/неопределенность*. СПб.
- Теория функциональной грамматики 1996а — *Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность*. СПб.
- Теория функциональной грамматики 1996б — *Теория функциональной грамматики: Локативность. Бытийность. Поссесивность. Обусловленность*. СПб.
- Шелякин М. А. 1983 — *Категория вида и способы действия русского глагола (Теоретические основы)*. Таллинн.
- Шелякин М. А. 1986 — *Русские местоимения (значение, грамматические формы, употребление): Материалы по спецкурсу «Функциональная грамматика русского языка»*. Тарту.
- Шелякин М. А. 1989 — *Морфология современного русского языка (Введение в морфологию. Имя существительное. Имя числительное)*. Тарту.
- Шелякин М. А. 1999 — Об инвариантном значении и функциях согласительного наклонения в русском языке. *Вопросы языкознания*. № 4.
- Шелякин М. А. 2001 — *Функциональная грамматика русского языка*. М.
- Философская энциклопедия 1970 — *Философская энциклопедия*. Т. 5. М.
- ФЭС 1983 — *Философский энциклопедический словарь*. М.
- Givón T. 1986 — Prototypes: Between Plato and Wittgenstein. *Noun Classes and Categorization. Proceedings of Symposium on Categorization and Noun Classification, Eugene, Oregon. October 1983 (Typological Studies in Language, Vol. 7), ed by C. Craig*. Amsterdam/Philadelphia.
- Givón T. 1995 — *Functionalism and Grammar*. Amsterdam.
- Lakoff G. 1988 — *Women, fire and dangerous things. What categories reveal about the mind*. Chicago; London.
- Travaux linguistique de Prague 1966 — *Travaux linguistique de Prague, 2: Les problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue*. Prague.

НАБЛЮДЕНИЯ НАД УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПЕРФЕКТА В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ

Б. М. ГАСПАРОВ

Как известно, письменный язык Древней Руси складывался из взаимодействия двух главных источников: древнецерковно-славянских (ДЦС)¹ текстов, по канве которых создавались новые копии и оригинальные сочинения, с одной стороны, и непосредственной языковой интуиции авторов и копиистов, несшей на себе отпечаток живого языка восточных славян, с другой. В русле этого процесса пересадка ДЦС перфекта на почву древнерусского (ДР) письменного языка оказалась такой же негладкой, как и более ранняя пересадка греческого перфекта на славянскую почву².

Все исследователи ДР памятников XI–XV вв. отмечают, что с самого начала в ДР обнаруживается тенденция, по-видимому, идущая из разговорного языка, трактовать перфект как

¹ Я предпочитаю термин 'древнецерковнославянский' (калька немецкого *altkirchenslavisch* и английского *Old Church Slavonic*) более традиционному в русской и французской литературе названию 'старославянский' (*vieux slave*), поскольку оно отражает кардинальную особенность этого языка — то, что он был создан, и первоначально употреблялся, исключительно для целей церковной службы и духовного чтения. Как будет видно далее, эта особенность ДЦС имеет прямое отношение к предмету данной статьи.

² Как отмечает Вечерка, при почти полном совпадении с греческим оригиналом в употреблении аориста и имперфекта в ДЦС, в употреблении перфекта наблюдаются значительные отклонения: часто на месте ДЦС перфекта в греческом тексте находим аорист и обратно [Večerka 1993: 166–169]. Возможная причина этого — отсутствие формальной аналогии между греческим перфектом (простой формой) и аналитической конструкцией в ДЦС.

простую глагольную форму, опуская связку и оставляя одно лишь причастие в качестве предиката, — тенденция, получившая полное оформление в XVII в. В более раннюю эпоху эта черта проявляется с наибольшей отчетливостью применительно к формам 3 л. (всех чисел). Связка 1–2 л., как правило, опускается лишь при наличии местоимения в качестве подлежащего; поскольку в большинстве ДР предложений с 1–2 л. подлежащее отсутствовало, опущение связки для этих форм оставалось эпизодическим явлением. Но в 3 л. бессвязочный перфект преобладает, появляясь нередко даже в случае, когда подлежащее опущено, но ясно из контекста [Ломтев 1965: 49–53].

ДР простая форма перфекта противоречила ДЦС традиции не только в формальном, но и в стилистическом отношении. В ДЦС текстах появление составной формы вносило в высказывание эмфатический смысл, возвышавший описываемую ситуацию над эмпирической повседневностью. Наиболее ярко этот оттенок смысла перфектной формы проявляется в ситуациях, имеющих мистический смысл либо содержащих прямое обращение к Богу, — в отличие от событий, относящихся к эмпирической реальности, которые передаются формами простого прошедшего. Однако перфект также может относиться к эмпирической ситуации — в случае, если ее высказывание сопровождается эмфазой, как бы выделяющей эту ситуацию и приподнимающей ее над ординарным эмпирическим рядом: при эмфатическом утверждении либо, напротив, категорическом отрицании и осуждении, при выражении крайнего изумления и ужаса [Гаспаров 2001: 145–149; Гаспаров 2002]. Но ДР простая форма перфекта восходила к разговорной речи, где она была наиболее распространенной — если не единственной — формой прошедшего времени; поэтому круг ее употребления был связан с повседневным бытовым опытом. По данным А. Зализняка [1995: 124], среди нескольких сот новгородских берестяных грамот, относящихся к XI–XIV вв., аорист встречается лишь в двух случаях: один — в письме, автором которого является молодой монах или послушник (№ 605), другой — в школярской шутке, пародирующей

«ученую» речь (№ 46): невежа писа, недума каза, а хто се чита ..., т.е. 'невежа писал, глупец сказал, а кто это читал ...' [Зализняк 1995: 445]³. Иными словами, грамоты трактуют аорист как явление книжное, относящееся к школьно-церковной сфере. Соответственно, перфект употребляется в грамотах универсально, фактически как единственная форма прошедшего времени для обиходного языка.

Это формальное и стилистическое противоречие между ДЦС книжной традицией и языковой интуицией носителей ДР языка не могло разрешиться путем простого их «смешения» в сфере письменного языка. Несовместимость двух стратегий употребления перфекта ведет к тому, что употребление этой формы становится предметом сложной языковой игры. И сам факт появления в ДР книжном тексте перфекта, в противоположении аористу, и выбор между ДЦС (аналитической) и ДР (простой) перфектной формой становятся полем языковых импровизаций, позволяющих выразить сложный спектр коннотативных обертонов и символических смыслов.

Рассмотрим с некоторой подробностью один пример, относящийся к началу XII в., — «Поучение» Владимира Мономаха. Этот текст интересен тесным соположением в нем двух контрастных повествовательных модусов: рассказа о жизни, полной практических дел, и его проекции в духовно-дидактическую сферу в качестве религиозного и морального урока. Соотношение аористных и простых перфектных форм служит одним из риторических инструментов, позволяющих осуществить эту двойную повествовательную стратегию.

Свою дидактическую позицию Мономах неизменно отмечает употреблением аориста. Торжественная вступительная часть целиком построена на аористных предикатах: «Судя на санехъ помыслих в души своеи и похвалих бога иже мя сихъ деньъ грушнаго допровади ... и потом собрахъ словца си любая и складохъ по ряду и написахъ» [ПВЛ 1950: 153]. Он, однако, не забывает об авторском самоуничижении, этом непрерывном риторическом атрибуте христианской проповеди-

³ Нумерация грамот у Зализняка следует их первоначальному изданию: Новгородские грамоты на бересте, тт. 1–10. М., 1951–2000.

поучения: вполне возможно, замечает Мономах, что его неумелые слова вызовут смех вместо почтения. Именно в этот момент появляется единственная форма перфекта, вклинивающаяся в торжественный аористный дискурс: «аще кому не любя грамотица си то не поохритаются но тако се рекуть / на далеке пути да на санех сѹдя безлѹпицю си молвиль».

Второй раздел «Поучения» посвящен описанию военных походов; и сам предмет, и лаконичный фактографический способ его подачи близки летописному дискурсу. Как в летописи, так и у Мономаха повествование ведется в форме аориста. Однако когда Мономах переходит к следующей части, повествующей об охотничьих его подвигах, текст соскальзывает от аористных предикатов к перфектным. Именно соскальзывает: начальная фраза, отмечающая перемену темы, все еще использует аорист, как бы по инерции продолжая «летописный» повествовательный модус предыдущего раздела: «А се тружахь ся ловы дѹя понеже сѹдохь в Черниговѹ». Но уже в следующем предложении перфект вступает в свои права, сначала в составной версии (нормальной для 1 л.): «а се в Черниговѹ дѹяль есмь», — затем, при переходе к 3 л., в виде простой формы:

Тура мя 2 метала на розѹх и с конемь, олень мя один боль а 2 лоси, одинь ногами топталь а другии рогома боль, вепрь ми на бедру мечь оттяль, медвѹдь ми у колуна подьклада укусиль, лютии звѹрь сочиль ко мнѹ на бедра и конь со мною *поверже* [А], и богъ неврежена мя *сѹблюде* [А] [ПВЛ 1950: 162].

Примечателен переход от перфекта к аористу, как только дидактический подтекст рассказа выступает на передний план. Переход этот совершается опять-таки в виде соскальзывания. Уже на последнем звене повествовательной цепочки, рассказывающей об охотничьих приключениях, стилистическая «температура» текста поднимается в предчувствии следующей за нею дидактической кульминации, и это изменение авторского ощущения текста спонтанно отражается в «опережающем» появлении аориста.

Простой перфект выступает у Мономаха в качестве средства для выражения земного, даже приземленного опыта. Такое

употребление находится в полном соответствии тому, как перфект употребляется в грамотах, в неформальном стилевом модусе и применительно к ситуациям повседневной жизни: «еже ми отць даяль и роди съдаяли а то за нимъ» [От Гостяты к Васильви, № 9]; «да пришли сороцию / сороцице забыле» [От Бориса ко Ностасии, № 43]; «углицане замерзъли на Ярославли» [От Тереньтея к Михалю, № 69], и т.д. Иначе говоря, древнерусский бессвязочный перфект 3 л. получает функцию, прямо противоположную функции составного перфекта в ДЦС.

Этот сдвиг в употреблении перфекта в свою очередь ведет и к переосмыслению функции аориста. ДЦС аорист используется как основная повествовательная форма в тех случаях, когда речь идет об «историческом» прошедшем, т.е. о фактических событиях, относящихся к эмпирическому плану существования. Эта функция аориста сохраняется и в ДР, в частности, в типичном летописном повествовании о походах, битвах, смерти и перемещениях князей, закладке церквей и т.п. В этом своем традиционном значении аорист обычно не соседствует с перфектом.

Иное значение приобретает ДР аорист, когда он выступает в контрасте с простым перфектом. В этом контексте аорист приобретает оттенок «книжной» формы, противопоставляемой «разговорному» (или, точнее, «обиходному») перфекту. Аорист выступает в этом случае в качестве инструмента для выражения духовного, этического, дидактического начала, в контрасте с житейским, материальным планом существования, знаком которого служит простой перфект. Новая функция аориста оказывается прямо противоположной стратегии его употребления в ДЦС, где именно аорист выражал ценности посюстороннего мира, в противополжении трансцендентной коннотации, вносимой составной формой перфекта.

Мы видели, как Мономах мгновенно переходит от простого перфекта к аористу и обратно, как только рассказ переключается из ритуального зачина к обращению к воображаемым читателям, готовым посмеяться над незадачливым автором, или из цепочки охотничьих анекдотов к морализирующему

заклучению, вскрывающему их мистический смысл (бог неврежена мя съблюде). Любопытен пример в одном ДЦС тексте, в котором, в совершенно аналогичной ситуации, аорист и (составной) перфект употреблены противоположным образом. В «Житии Иоанна Молчальника» (Супрасльская рукопись) рассказывается о том, как местный начальник посылает воинов к келье святого, чтобы его убить; внезапно святой увидел свирепого льва, от которого он в ужасе убежал в лес, избежав тем самым убийц. Его духовный отец объясняет ему затем смысл происшедшего: «се съхраниль тя есть [П] богъ отъ ратъничьска прихода и извѣсти [А] ти видомъ ти стражъ посылавъ» [Супр., л. 293]. То, что Бог «сохранил» святого, подается в перфекте, тогда как инструментальное исполнение божественной воли — посланное им «видение» льва — представлено в аористе. У Мономаха, напротив, мистический феномен чудесного сохранения его жизни Богом выражен аористом, тогда как рассказ о диких зверях подается в перфекте.

Традиция употребления аориста, в контрасте с простым перфектом, для выражения духовного начала, приподнятого над повседневно-эмпирическим, сохраняется на всем протяжении ДР письменности, вплоть до второй половины XVII в. — с той лишь оговоркой, что в XVI–XVII вв. аорист все более ощущается как архаическая форма, что еще более способствует его использованию с целью создания возвышенно-духовного стилистического ореола. Напр., «Хождение за три моря Афанасия Никитина» (XV в.) открывается ритуальным зачином, для которого мобилизуется аорист: «се написах грушное свое хождение за три моря». Вскоре, однако, повествование соскальзывает к перфекту, и уже с него не сходит: «и князь велики отпустиль мя всея Руси доброволно ... а Василеи Папин проехалъ въ городъ, а язъ ждалъ в Новѹгородѹ двѹ недели» [Никитин 1970: 10].

Еще более характерный контраст архаически-книжных форм прошедшего — аориста и имперфекта — и простого перфекта обнаруживается два века спустя в *житии* Аввакума. В начале повествования о своей жизни Аввакум рассказывает о своих родителях:

Отец ми бысть [А] священник Петр, мати Мария, инока Марфа.
Отец же мой прилежаше [И] пития хмельнова, мати же моя пост-
ница и молитвенница бысть [А] [Аввакум 1991: 31].

Далее упомянута его будущая невеста и ее родители:

Отец ея был [П] кузнец, именем Марко, и егда умре [А] после ево
вся истошилась [П] [Аввакум 1991: 31–32].

Замечателен контраст между двумя параллельными фразами, находящимися почти рядом друг с другом: «бысть священник», но «был кузнец». Священник, хотя бы и пьющий, не может быть представлен иначе, как в облачении аориста и имперфекта, тогда как для аналогичного представления кузнеца естественным инструментом служит перфект. Но и кузнец удостоивается аориста, когда речь идет о переходе его в другой мир; однако житейское последствие его смерти, т.е. разорение семьи, передается перфектом.

Текст Аввакума изобилует такого рода контрастами; поражает та интуитивная естественность, с которой автор мгновенно переходит от аориста к перфекту и обратно в полном соответствии с духовной «температурой» описываемой ситуации. Приведу еще один лишь пример:

И у церкви, пришед сонмом, до смерти меня задавили [П], и аз лежа мертв полчаса и больши, паки оживе [А] *божиим мановением* [Аввакум 1991: 33].

Действия толпы переданы перфектом, чудесное воскресение из мертвых — аористом. Несколько далее Аввакум описывает, как сам он напал на скоморохов и «ушиб» их медведя, однако тот «паки ожил» [Аввакум 1991: 34]. Этот анекдотический случай «оживления», в отличие от чуда оживления святого, разумеется, подается в перфекте.

Можно утверждать, что в контрастировании простого перфекта и аориста преобладает стилевая и символическая мотивация, а не собственно грамматическое значение в традиционном смысле этого понятия. Поэтому попытки реконструкции «общего значения» перфектной формы в русле стратегии, основание которой было заложено Р. Якобсоном, представляются заведомо обреченными на неудачу. При всем остроумии

некоторых построений такого рода (в первую очередь в монументальном исследовании [van Schooneveld 1959], а также в важной более ранней работе [Истрина 1923: 114–115]), они вынуждены либо игнорировать факт употребления аориста и перфекта в совершенно параллельных (с точки зрения видо-временного значения) ситуациях, либо давать этому факту искусственные объяснения⁴.

Появление в ДР письменности простого перфекта, не имеющего аналогии в ДЦС, отнюдь не исключало следования ДЦС образцу в употреблении аналитической перфектной формы. Скорее напротив — на фоне простых форм составная форма выделялась в качестве «особого случая»; и ее более пространственный характер, и связь с ДЦС традицией способствуют ее употреблению с целью создания эмфазы, применительно к экстраординарным, выходящим из эмпирического ряда ситуациям. Таково знаменитое начало «Повести временных лет»:

Се повѣсти времяныхъ лѣтъ, откуда есть пошла [П] руская земля, кто въ киевѣ нача [А] первѣе княжити и откуда руская земля стала есть [П] [ПВЛ 1950: 9].

Аорист отсылает к историческому событию — кто был первым киевским князем, — тогда как обе перфектные формы ставят вопрос о «начале» Русской земли в метафизическом или мистическом плане; параллелизм всех трех фраз подчеркивает тот факт, что выбор между аористом и перфектом мотивирован здесь вторичным символическим, а не собственно аспектуально-темпоральным смыслом.

Аналогичным образом, т.е. в русле ДЦС традиции, трактуется противоположение аориста и составного перфекта в речи варяга-христианина, отвечающего на требование толпы отречься от веры. Перечисляя деяния христианского Бога, варяг

⁴ Так, соскальзывание от перфекта к аористу в рассмотренном выше примере из Мономаха Ван Схуневельд объясняет тем, что фраза 'богъ невредена мя съблюде' вносит в повествование о столкновениях с дикими зверями «не необходимую» (non-essential) деталь [van Schooneveld 1959: 105] — интерпретация, полностью игнорирующая иерархию ценностей, которой руководствуется сам повествователь.

употребляет перфект, когда же он упоминает языческих богов, то появляется аорист:

А бог есть единь ... иже створилъ небо и землю и звзуды и луну и солнце и челоука, и дал есть ему жити на земли; а си бози что сдулаша? [ПВЛ 1950: 58].

Таким образом, употребление аориста и перфекта 3 л. в ДР письменности складывается из двух различных тенденций: одна восходит к ДЦС традиции, другая — к ДР обиходному языку. Применительно к перфекту 3 л. это дает основание, мне кажется, говорить о сосуществовании двух форм на -ль в ДР — простой и составной⁵. Аорист внешне сохраняет формальное единство в рамках обеих этих тенденций; однако его функции в противополжении ДЦС аналитическому перфекту, с одной стороны, и ДР простому перфекту, с другой, оказываются различными, даже противоположными. В первом случае аорист выступает в качестве инструмента для выражения «исторического» плана повествования, в противопоставлении мистическим и эмфатическим моментам, выражению которых служит перфект; во втором — в качестве «книжной» формы, воплощающей в себе духовное начало, в противополжении обиходным ситуациям, выражению которых служит простой перфект.

Значительно менее ясным оказывается противопоставление простого перфекта составному, и их обоих — аористу, в высказываниях в форме 1–2 л. Причину этого нетрудно понять: как уже упоминалось, в 1–2 л. ДР перфект сохранял связку в преобладающем большинстве случаев, то есть в основном формально совпадал с ДЦС. Возникает как бы «омонимия» ДЦС по происхождению формы, с ее эмфатическим и трансцендентным смыслом, и ДС формы, с ее обиходной коннотацией.

⁵ Хотя сосуществование связочного и бессвязочного перфекта в ДР отмечается повсеместно, обычно эти формы рассматриваются совместно, в качестве двух версий «перфекта». Важное исключение составляет в этом отношении исследование Ван Схуневельда [1959], в котором каждой из форм отведен особый раздел и показаны некоторые смысловые (но не стилистические) различия между ними.

Напр., типичным для ДЦС было употребление перфекта 2 л. в жанре псалма или молитвы для выражения интимного контакта с Богом (обычно в прямом обращении к Богу):

въ скръби пространиль мя еси ... ўкъ ты господи единого на упованье вселиль мя еси [Син. Пс.: No. 4].

Негативной ипостасью этого риторического оборота служит проклятие, обычно адресуемое Иуде:

се есть кровь мою о Иуде еже прудаль еси [Клоц: л. 70]

Оба типических оборота находят полное соответствие в ДР. Ср. в похвале Феодосию Печерскому, в которой сам святой выступает в качестве адресата молитвенного обращения:

... богу послужиль еси в тишину въ мнишьскомъ житьи, всяко собу принесенье принесль еси [ПВЛ 1950: 140].

Что касается негативной версии, бесчисленные ее примеры находим в обращении Ивана Грозного к князю Курбскому:

Почто, о княже, ... едиnorodную свою душу отвергл еси? ... Ты же тула ради душу погубил еси, и славы ради мимотекуция, нетлунную славу презрул еси, и на человука възъярився, на бога возстал еси [Иван Грозный: 13–14].

Но, с другой стороны, связочный перфект второго лица встречается в диалогических репликах сугубо обиходного характера; так, в «Повести временных лет» древляне заявляют Игорю:

Почто идеши опять? Поималь еси всю дань [ПВЛ 1950: 40].

Можно сказать, используя известный термин Якобсона, что аналитическая форма перфекта 1 и 2 л. имеет в ДР текстах характер стилевого «шифтера»: ее стилистическое и коннотативное значение определяется стилевым характером высказывания в целом. В тех случаях, когда говорящий принимает риторическую позу молитвенного благоговения или осуждения-проклятия, аналитическая форма вносит дополнительный оттенок интимного приобщения к вечному и трансцендентному, восходящий к традиции ее употребления в дискурсе псалма или молитвы. Но в ситуации обиходного диалога та же (внеш-

не) аналитическая форма вносит коннотацию житейских дел и забот, восходящую к ее употреблению в повседневной речи.

Эта заметка представляет собой не более как начальный подступ к теме; за ее рамками осталось множество деталей, осложняющих и вместе с тем обогащающих нарисованную здесь картину. Все же позволю себе сделать некоторые общие выводы.

1) Идея, с наибольшей полнотой выраженная в работах Р. Якобсона и его последователей, о том, что грамматическая форма имеет инвариантное «общее значение» (*Gesamtbedeutung*), которым говорящие интуитивно руководствуются во всех случаях ее употребления, не подтверждается, в частности, материалом, составляющим предмет настоящей статьи. Можно скорее утверждать обратное — то, что та же по внешней видимости грамматическая форма включается во множество дискурсивных миров по-разному, так что стратегия ее употребления изменяется (нередко до полной противоположности) в рамках различных жанров, коммуникативных ситуаций и ролей и тематических ареалов. Искать логику употребления грамматической формы следует, исходя из ее принципиальной фрагментарности. Обращение к истории языка оказывается в этом смысле благодарным предметом, так как позволяет показать конкретные процессы такого фрагментирования, связанные с гетерогенностью происхождения формы и процессов ее последующего развития.

2) Поиск «общего значения» следует признать неадекватным также в силу того, что он игнорирует или, в лучшем случае, отодвигает на второй план стилевые и коннотативные факторы. Господствует убеждение, что «прагматика» представляет собой нечто вроде надстройки над базисом собственно языкового значения. Между тем в описанном выше явлении именно «прагматика» играет определяющую роль. Предметный смысл, вносимый грамматической формой, невозможно понять, игнорируя коннотации, мотивирующие ее употребление. В особенности очевидным это становится при сопоставлении параллельных высказываний, имеющих тождественный предметный смысл, но различающихся коннотативным

заданием, которое и подсказало говорящему различный выбор грамматической формы.

3) Именно потому, что употребление формы направляется не четко опознаваемым инвариантным значением, а целым полем коннотаций, с которыми эта форма ассоциируется, это употребление получает рыхлый, скользящий характер. Говорящий или пишущий не выбирает каждую форму дискретно в каждом отдельном случае, но мыслит более широкими масштабами повествования (или диалога) в целом. Поэтому переход от одной формы к другой может оказаться размытым: имеет место инерционное употребление формы по аналогии с предыдущими фразами, либо, напротив, антиципационное введение формы, в предчувствии надвигающейся смены дискурса, знаком которой эта форма является. Говорящий ощущает дискурс не как цепочку дискретных высказываний, но как целостную среду; ее коннотативная «температура» все время изменяется, и эти скользящие перемены влияют на режим работы языковых механизмов. Попытки объяснить все случаи употребления некоторой грамматической формы в качестве проявления какой бы то ни было единой стратегии представляются не только обреченными на неудачу, но и непродуктивными, поскольку они игнорируют динамическую природу развертывания языкового дискурса в любом виде речевой деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

- Аввакум 1991 — *Житие протопопа Аввакума и другие его сочинения*. М.
- Гаспаров Б. 2002 — Наблюдения над употреблением перфекта в древнецерковнославянских текстах (К вопросу о природе грамматического значения). *Русский язык в научном освещении*. М. (в печати).
- Зализняк А. А. 1995 — *Древненовгородский диалект*. М.
- Иван Грозный — *Переписка Грозного с Андреем Курбским*. М., 1981.
- Истрина Е. С. 1923 — *Синтаксические явления Синодального списка 1-й Новгородской летописи*. Пг.
- Клоц — Dostal A., изд. *Glagolita Clozův*. Prague, 1959.

- Ломтев Т. П. 1956 — *Очерки по историческому синтаксису русского языка*. М.
- Никитин — Никитин Афанасий, *Хождение за три моря*. М., 1970.
- ПВЛ — *Повесть временных лет*, ч. 1. М.-Л., 1950.
- Син. Пс. — Северьянов С., изд. *Синайская псалтырь*: Глаголический памятник XI века. Пг., 1922 (Памятники старославянского языка, т. IV) [репринт: Graz, 1954].
- Супр. — *Супрасълски или Ретков сборник*. Т. 1–2. София, 1983.
- Gasparov Boris 2001 — *Old Church Slavonic*. Munich.
- Schooneveld van, C. H. 1959 — *A Semantic Analysis of the Old Russian Finite Preterite System*. 's-Gravenhage.
- Večerka Radoslav 1993 — *Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax*. Bd. 2. Freiburg.

К ПРОБЛЕМЕ СИСТЕМНОСТИ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ

Г. А. ЗОЛотова

1. Если понимать систему в общенаучном смысле как известную иерархическую упорядоченность элементов в их существенных признаках и взаимных связях, мы должны знать содержание понятий «элемент», «иерархия», установить иерархические отношения между элементами, должны уметь определить, какие признаки и какие связи этих элементов являются существенными.

Нельзя сказать, что это новая задача. Каждое грамматическое описание, каждый учебник пытаются систематизировать так или иначе свой предмет, упорядочить имеющиеся представления. Но нередко мы сталкиваемся с разноречивыми, а порой и противоречивыми интерпретациями одного и того же явления. Более того: противоречия, непоследовательности обнаруживаются и в пределах одного описания, одной концепции, даже такой авторитетной, как Академическая Грамматика.

Это значит, что система еще не построена, и это естественно объяснимо сложностью объекта и закономерностями гносеологического процесса. В силу относительности человеческого познания всегда остается расстояние между объективной реальностью языка, его организацией и организацией наших представлений о нем.

Наивна доверчивость специалистов к «истинам в последней инстанции» из учебников. Популярное словосочетание «смена научных парадигм» подразумевает, что система уже изучена, переходим к тому, что вокруг нее. Но и система еще недоста-

точно системна, и то, что «вокруг», может оказаться частями системы, закономерность которых не была увидена.

«Если б бог держал истину в правой руке, а в левой стремление к ней, я ухватился бы за левую», — говорил Лессинг. Поскольку истину никто в руке нам не протягивает, нам остается только стремиться к ней.

«Изучение грамматического строя языка без учета лексической его стороны, без учета лексических и грамматических значений невозможно» — это одна из важных и перспективных идей В. В. Виноградова [Виноградов 1947].

Нераздельность, взаимодействие семантики и грамматики в языковых явлениях для современных лингвистов становятся все более очевидны. В этом общем тезисе — и результат работы многих ученых и коллективов, и возможности для теоретического продвижения в разных направлениях, с все более глубоким проникновением в свойства языкового материала.

2. На таком пути обнаруживаются общность и взаимообусловленность критериев систематизации глаголов в лексическом строе языка и типов предложения в синтаксическом строе.

Исходя из того, что языковой строй существует и функционирует ради коммуникативного процесса, языковые средства правомерно рассматривать прежде всего как носители и выразители смысла.

В соответствии с той функцией, которую должно осуществлять то или иное языковое средство в построении предложения и текста, выражающего смысл, значение, говорящий облакает его в необходимую форму. Взаимообусловленность значения, формы и функции — основа «жизнедеятельности» и идентификации каждой языковой единицы.

В системе типовых значений основных моделей предложения на первом месте — предложения с акциональным предикатом — глаголом действия.

Глагол как часть речи представляют обычно категориальным значением действия (либо процесса, либо действия и состояния). В школьной практике стандартный вопрос к сказуе-

мому: «что д е л а е т предмет?» ставится и к примерам *Маши плачет*, и *Белеет парус*, и *Травка зеленеет*, и *Дождь идет*, и *Поезд идет...* Границы между действием и состоянием не всегда очевидны. Нет процессуальной динамики и в ряде релятивных глаголов, выражающих статические отношения между предметами или между понятиями: *Семья состоит из трех человек*, *Лестница ведет на чердак*, *Дельфин относится к млекопитающим*, *Дом принадлежит деду* и др.

Упорядочению классификации глаголов помогает семантико-синтаксический признак — тип с у б ъ е к т а глагольного предиката, что, в свою очередь, уточняет и границы моделей предложения. С семантикой модели связаны и ее морфологическая парадигма (возможные ограничения по лицу и другим глагольным формам), и сочетаемость с распространителями глагола, и функционально-текстовая парадигма предложения (возможности использования в тех или иных коммуникативных регистрах речи).

Акциональность предполагает реальную или потенциальную наблюдаемость действия и намеренность, целенаправленность. Естественно, субъектом такого действия должен быть человек, для ограниченного круга глаголов — живое существо. Если акциональный глагол сочетается с именем неодушевленного субъекта, он перестает быть обозначением действия, называя состояние или функционирование предмета. Ср.:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| (1) <i>Люди идут, спешат.</i> | (2) <i>Часы идут, спешат.</i> |
| <i>Рыбаки коптят пойманную рыбу.</i> | <i>Свечи коптят.</i> |
| <i>Молодых осыпают хмелем.</i> | <i>Клен осыпает листья. —</i> |

в (1) говорится о действиях лиц, во (2) о состоянии или исправном/неисправном функционировании предмета, технического средства.

Таким образом, ни предметы-артефакты, ни предметы натуральные, ни явления природы не совершают действий.

Состоянием, регулярным или необычным, характеризуются и предметно-пространственные, локативные субъекты: *За окном светает*, *На дворе метет*, *В трубе гудит*.

Этим различием определяется и полнота/неполнота (отсутствие 1 и 2 л.) личной парадигмы глагола.

3. В промежуточной позиции между действием и состоянием находится группа глаголов со значением рода занятий, социального положения, типа *учительствовать, слесарничать, начальствовать, батрачить, домовничать, профессорствовать, крестьянствовать, царствовать* и под., а также группы глаголов, характеризующих поведение: *подхалимничать, заискивать, угодничать, жадничать* и под. Эти глаголы интерпретирующе называют манеру поведения, на основании ряда активных, намеренных поступков, но не локализованных в конкретном времени, заполняющих в целом длительный временной промежуток, поэтому для них естественна имперфективная функция в тексте, перфективное употребление их окказионально-разговорно: *поддиректорствовал там недолго, похозяйничал здесь и хватит*. Семантико-грамматические особенности этих групп определяют их привязанность к информативному регистру.

4. Особое место в системе отношений действия и состояния, субъекта и времени занимают глаголы, со значением и употреблением которых связаны термины **перфективные, интерпретационные (интерпретативные), акцидентные**. Но и сами эти термины используются с разными смыслами.

Перфект традиционно противопоставит имперфекту как интернациональное название совершенного вида. В. В. Виноградов перфектом и аористом называл функциональные разновидности сов. вида. В этом смысле под перфектом понимается состояние субъекта как результат действия (*ехал — доехал, проник в помещение, достиг берега, играл — выиграл, проиграл, думал — придумал, додумался*). Однако понятие результата предполагает стремление к достижению намеченной цели, устремленность субъекта к этому результату. Но личному субъекту случается действовать и произвольно, нецеленаправленно (*заблудился, ахнул, отпрянул, столкнулся, обознался* и под.), это непредвиденные моменты в процессе человеческой активности. При этом признак акциональности в целом

ряде глаголов настолько ослабевает, что понятие действия, как и понятие результата, становится неприменимым в таких случаях, когда субъект *поскользнулся и упал, уронил и разбил чашку, потерял билет, отстал от поезда, сорвался, грохнулся, рухнул, ошибся, забыл об обещанном, обжегся* и т.п.

«Глагольный» вопрос *что он сделал?* становится неуместным, вернее спросить: *что произошло? что с ним случилось?* Очевидно неучастие воли субъекта в подобных событиях и происшествиях. Нередко и апостериорное осознание субъектом случившегося, несовпадение момента события и его оценки, заключенной в глаголе этой группы.

Естественно отсутствие волевых интенций в «результативных состояниях» предметных, неличных субъектов: *доска обломилась, вода хлынула, камень оброс мхом, палатка обледелела, тропинка заросла, стекло запотело, мыс врезался в море* и т.п. Неслучайна довольно регулярная соотносительность синонимичных пар предложений «личных/безличных», сообщающих о «результатах действия» природных сил:

Ветер унес лодку — Ветром унесло лодку.

Вьюга замела дорогу — Вьюгой замело дорогу.

Пыль запорошила глаза — Пылью запорошило глаза.

Вода залила подвал — Водой залило подвал.

Молния осветила полнеба — Молнией осветило полнеба.

Ледок затянул лужи — Ледком затянуло лужи.

Ураган свалил сосну — Ураганом свалило сосну.

Иней запушил ели — Инеем запушило ели.

Снег покрыл поля — Снегом покрыло поля.

Здесь нет оппозиции личности/безличности, потому что нет личного субъекта, но предложения в обеих колонках организованы одинаковым набором компонентов: неличный, стихийный субъект и его инволютивное воздействие на объект. Морфологические изменения в падеже субъекта и роде глагольного предиката служат более выразительному акцентированию, маркированию стихийности, инволютивности действия (ср. средний род в вопросе *что произошло? что случилось?* и, с другой стороны, невозможность подобных пар для предложений с личным субъектом и акциональным глаголом

целенаправленного действия, например, *Хозяин осветил комнату* — **Хозяином осветило комнату*; *Лесоруб свалил сосну* — **Лесорубом свалило сосну* и под.).

Уместно вспомнить также модели предложений с глагольным предикатом в среднем роде, сообщающих о неподвластных человеку психо-физических состояниях личного субъекта: *Его обдало жаром*, *У него запершило в горле*, *Защекотало в носу*, *Кольнуло в боку*, *Потемнело в глазах*, *Подкатило к горлу*, *Заныло в груди*, *Заурчало в животе*, *Его кинуло в дрожь* и т.п. Ср.: *Она трясла кровать, а ее самое трясло* (Г. Бакланов).

Итак, материал показывает близость перфективных предикатов неличного субъекта в именит. пад. с перфективным предикатом стихийного воздействия в безличной форме 3 лица. Их объединяет семантический признак, названный и н в о л ю н т и в н о с т ь ю, неподвластностью состояния лица или природы воле субъекта [Золотова и соавт. 1998]. Думаю, что целесообразно этот термин применить и к группе перфективных глагольных предикатов, характеризующих лицо не собственно действием, но не зависимым от его воли, случайным и чаще неблагоприятным поворотом дела, чтобы отличить эту группу от акциональных глаголов с перфективной функцией достигнутого результата действия. Общий термин закрепляет и системную соотносительность грамматически и лексически выраженного значения.

Разграничение волевых, осмысленных действий разумного существа и неподвластных ему происшествий и состояний, его и окружающего его мира, обнаруживающееся в русском языке, в его лексике, синтаксических конструкциях и их текстовых функциях, отражает адекватность языкового сознания, языкового строя онтологическим свойствам действительности. Представляется неубедительным мнение некоторых авторов [А. А. Зализняк, Левонтина 1998, вслед за: Вежибicka 1996], объясняющих богатство инволютивных средств русского языка ущербностью, пассивностью, безответственностью национального характера. Лингвистический анализ, выявляя многообразие этих средств, экспрессивную и оценочную ок-

рашенность которых показывают и упоминаемые уважаемые авторы, подтверждает активность языкового мышления в обозначении и дифференциации явлений, как и в использовании их выразительными возможностями [Золотова 1996].

5. На грани между статуальными и релятивными глаголами находятся глаголы экзистенциального, бытийного значения и локативного, местонахождения (*Есть на Волге утес; Стояла серая скала на берегу морском; Существует предание...; Дом писателя еще существует; Сад спускается к реке; Собор возвышается над городом; Фарерские острова находятся в Атлантическом океане*).

Бытийное и локативное значения в них часто неразделимы, объединяет их и впечатление неподвижности положения дел. Нередко говорят о вневременном значении предиката в таких высказываниях. Но вне времени ничего нет, ничто не вечно, ср. *За домом цвел вишневый сад, За домом был вишневый сад, Там дачи скучные стоят. Там цвел сад, и был сад, и находился сад* — сообщения, различные по стилю, отдаляющиеся от значения процессуального состояния, но по существу о том же.

Объединяют бытийные и локативные высказывания и их регистровые, текстовые возможности. Если это сообщения о непосредственно наблюдаемом, в конкретном хронотопе, они принадлежат репродуктивному регистру речи; если это сообщения об известном говорящему, извлекаемом им из своего запаса информации, они и представляют информативный регистр.

Остается дискуссионным вопрос о целесообразности противопоставления значений состояния и процесса (статуальности и процессуальности). Критерий их разграничения, предлагаемый в [Падучева 2002: 93–94] (*начинаются* процессы, а *наступают* состояния, различающиеся также наличием/отсутствием фазисных стадий), не вполне подтверждается (*Наступает весна, лето; Лето в разгаре; Лето кончается; Начинается осень...*), а для примеров, где они действительно различимы: а) процессное: *Камни заваливают вход в ущелье* и б) статальное: *Камни заваливают вход в ущелье, — может*

быть достаточно терминов их текстового функционирования: а) *имперфективное* в репродуктивном регистре о наблюдаемом процессе и б) *перфективное* либо в репродуктивном, либо в информативном регистре, о наблюдаемом или известном говорящему результате.

Но и в том и в другом смысле глагол не акционален и предложение не сообщает о действии.

Вспоминается стихотворение Ф. Тютчева “Probleme”:

*С горы скатившись, камень лег в долине.
Как он упал? Никто не знает ныне —
Сорвался ль он с вершины сам собой,
Иль был низринут волею чужой?..*

Хотя грамматики и словари, по законам жанра, разделяют представление имен и глаголов по надлежащим местам, явления, называемые этими классами слов, в реальности неразделимы, не существуют одно без другого: действия порождаются живым существом, его волей, а существо, пока оно живое, не может не действовать тем или иным образом; состояния, свойства, изменения свойств присущи живым и неживым предметам. Даже такие «отвлеченные» (привычно отвлекаемые) от предмета признаки, как *светает*, *морозит* и под. не что иное, как состояние атмосферы, среды, воздуха (воспринимаемые человеком). Само по себе очевидное, это соображение направляет мысль на продолжение поисков разносторонних неизбежных связей между именами и глаголами в их значениях, формах и функциях (ср. «принцип рекуррентности» в развитии противопоставления «активного» и «неактивного» начал, при более широком понимании активности в [Степанов 1989: 12 и сл.]).

ЛИТЕРАТУРА

- Виноградов В. В. 1947 — *Русский язык: Грамматическое учение о слове*. М.
- Зализняк А. А., Левонтина И. Б. 1996 — Отражение национального характера в лексике русского языка. *Russian Linguistics* 20. N 2–3.

- Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. 1998 — *Коммуникативная грамматика русского языка*. М.
- Золотова Г. А. 2000 — Понятие личности/безличности и его интерпретации. *Russian Linguistics* 24. N 2.
- Золотова Г. А. 2002 — Категории вида и времени с точки зрения текста. *Вопросы языкознания*. № 2.
- Кюльмоя И. П. 1990 — О причинах нарушения взаимодействия грамматических категорий (в устной речи эстонцев на русском языке). *Уч. зап. Тартуского университета* 896. Тарту.
- Падучева Е. В. 2002 — О параметрах лексического значения глагола. Таксономический класс участника. *Русский язык в научном освещении*. № 1 (3).
- Степанов Ю. С. 1989 — *Индоевропейское предложение*. М.
- Шелякин М. А. 2001 — *Функциональная грамматика русского языка*. М.
- Шелякин М. А. 1977 — *Основные вопросы современной русской аспектологии II*. Тарту.

СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА НЕКОТОРЫХ ЭСТОНСКИХ УСТУПИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИХ СООТВЕТСТВИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

К. КАРУ

Рассмотрим некоторые типы эстонских уступительных конструкций (УСК), оставшихся вне сферы внимания исследователей, и их русские эквиваленты. В эстонской грамматической традиции уступительными называют лишь сложноподчиненные предложения с зависимой частью, вводимой уступительным союзом, а также конструкции, зависимую часть которых вводит вопросительная частица *kas* 'ли, или, либо' или слово *ükskõik* 'все равно, безразлично' в сочетании с относительно-вопросительным местоимением и частицей *ka* или *-gi/-ki*, присоединяющейся в качестве клитики к глаголу [EKG 1993: 308–309]. Такое узкое причисление к уступительным лишь двух типов конструкций, основанное на форме, явно недостаточно. Наблюдения над языковым материалом показывают, что уступительная семантика может выражаться во всех типах предложений: в сложноподчиненном предложении (СПП) (1), сложносочиненном предложении (ССП) (2), бессоюзном сложном предложении¹ (3), осложненном предложении (4), простом предложении (5), а также в сверхфразовом единстве (6).

¹ Следует отметить, что в эстонской грамматике бессоюзные сложные предложения не выделяются в отдельный тип. Сложные предложения, не включающие союз в качестве элемента структуры, причисляются эстонской грамматикой к сложносочиненным. Иногда, правда, говорится также о бессоюзии. Мы, придерживаясь русской традиции, а также опираясь на специфические средства выражения в них уступительной семан-

- (1) *Kuigi sadas vihma, jätsime vihmavarjud koju.*
Хотя шел дождь, мы оставили зонтики дома.
- (2) *Sadas vihma, ja ikkagi jättis ta vihmavarju koju.*
Шел дождь, и, тем не менее, он оставил зонт дома.
- (3) *Olin teda terve õhtu oodanud, ometi jäi ta tulemata.*
Я прождал(а) его целый вечер, он все-таки не пришел.
- (4) *Käies täiskohaga tööl suudab ta ometi ka ülikoolis edasi õppida.*
Работая на полную ставку, он(а), тем не менее, может продолжать учебу в университете.
- (5) *Väsimusest hoolimata ei läinud lapsed veel magama.*
Несмотря на усталость, дети еще не шли спать.
- (6) *Vana Räägu Rein ei käinud tõesti mitte iialgi mõisas vargil. Küll ei panud ta kätt ette, kui keegi läks moonatretile mõne naabri aita või sahvrisse.*
Старый Рейн Ряэк действительно никогда не воровал на мызе. Тем не менее, он не препятствовал, если кто-нибудь отпраплялся пополнять запасы продовольствия в амбар или кладовку какого-нибудь соседа.

Далее мы рассмотрим некоторые типы УСК, которые в эстонской грамматике к уступительным не относят, попытаемся охарактеризовать их и дать свою трактовку их семантических особенностей.

Уступительные конструкции, выраженные сложносочиненным предложением

Представляется, что сложносочиненные УСК не попали в зону внимания исследователей из-за непростого характера отношений между главной и зависимой частью. С одной стороны, можно усматривать в них ослабление уступительного значения (мы попытаемся показать, что это не так), с другой — сближение с противительными конструкциями.

В противительной конструкции происходит самое общее противопоставление двух ситуаций, причем в фокусе внимания говорящего находится вторая часть предложения, репрезентирующая вторую из противопоставляемых ситуаций.

тики, будем рассматривать бессоюзные предложения отдельно от сложносочиненных.

Употребляя уступительную конструкцию, говорящий знает или считает, что две ситуации не совмещаются друг с другом и что нормально существование одной из них препятствует существованию другой. Поскольку прототипическая УСК — сложноподчиненное предложение, то в фокусе внимания говорящего находится именно зависимая часть, причем место ее относительно главной несущественно. Если во вторую часть противительной конструкции вводятся уступительные частицы (*siiski* ‘все-таки, все же, однако’, *ometi/gi* ‘все-таки, все же, однако, тем не менее, так-таки’, *sellegipolest* ‘тем не менее, несмотря на это’, *ikka/gi* ‘все же, все-таки, однако’, *sellest hoolimata* ‘несмотря на это, тем не менее’, *sellele vaatamata* ‘не-взирая/несмотря на это, тем не менее’), то частица как прагматически наиболее сильный элемент оказывается в фокусе внимания говорящего, и вся конструкция в целом приобретает статус уступительной. Прагматический потенциал уступительных частиц настолько высок, что противительный союз может быть заменен соединительным, а семантика предложения в целом от этого не изменится. Последнее обстоятельство связано с тем, что уступительная частица не нуждается в семантической поддержке противительного союза, так как в ее собственном значении содержится противительный компонент.

Рассмотрим примеры.

- (7) *Ta töötas püüdlikult, kuid (ja) ometi ei suutnud ta plaani täita.*
Он работал усердно, но (и) тем не менее не смог выполнить план.
- (8) *Oled nii väike mu õla najal, ja (kuid) siiski mu südant pitsitab su raskus.*
Ты, такой маленький, опираешься на мое плечо, и (но) все-таки твоя тяжесть щемит мне сердце.

Представляется, что в примерах (7), (8) замена противительного союза на соединительный и наоборот не влечет за собой семантических различий. С точки зрения прагматики, возможно, предложения с противительным союзом несколько сильнее, поскольку противопоставление событий отдельно подчеркивается использованием союза, однако, возможно, что эти

различия минимальны. В данном случае русским соответствием является ССП с противительным (или соединительным) союзом и частицей во второй части предложения, то есть наблюдается структурная эквивалентность между языками.

Авторы *Eesti keele grammatika* (ЕКГ), рассматривая противительные конструкции, выделяют особый тип противительного соединения частей предложения — противительно-уступительный [ЕКГ 1993: 279]. В качестве примеров приводятся конструкции, в которых во вторую часть противительного предложения вводится уступительная частица, ср. (7), (8). Иными словами, уступительные по сути конструкции квалифицируются как подтип противительных. По нашему мнению, такое определение обусловлено тем, что ЕКГ понимает собственно уступительные отношения слишком узко, исходя лишь из формального показателя, а именно наличия подчинительного союза. В то же время сам языковой материал подсказывает, что под уступительными следует понимать более широкий круг предложений.

Прагматически сложносочиненные УСК близки к прототипическим, в которых зависимая часть стоит в постпозиции относительно главной. И в тех и в других в фокусе внимания оказывается линейно вторая часть предложения. Об аномалии сосуществования двух ситуаций сигнализирует в одном случае уступительный союз, в другом — уступительная частица. Вероятно, прагматически более сильными следует все же считать сложноподчиненные предложения, принимая во внимание то, что выражение уступительности является их основной функцией. Однако с точки зрения прагматического эффекта сложносочиненные предложения к ним достаточно близки.

Далее остановимся на типе сложносочиненных УСК, который в русском языке не представлен, а в эстонском не описан. Это конструкции, в первой части которых содержится уступительная частица *küll*, вторая вводится противительным союзом *kuid* или *aga*, реже *ent* ‘а, но, однако’.

- (9) *Washingtonis on küll aastaid arutatud, kuidas USA peaks end kriiside eest kaitsma, kuid nüüd, kui häda käes, selgub, et kaitset ei ole, on olnud vaid palju sõnu.*
В Вашингтоне, правда, в течение многих лет обсуждалось, как США должны защищаться от кризисных ситуаций, однако теперь, когда беда наступила, выясняется, что никакой защиты нет, было лишь много слов.
- (10) *Haiguste ennetamise riiklik programm nõuab küll imikute vaksineerimist B-hepatiidi vastu, ometi ei leia Eesti riik järgmiseks aastaks nelja miljonit krooni, et vaksineerida kõiki Eestis sündivaid lapsi.*
Хотя государственная программа профилактики болезней и требует вакцинации новорожденных от гепатита В, однако эстонское государство не может найти на следующий год 4 миллиона крон, чтобы сделать прививки всем рождающимся в Эстонии детям.

Уступительное значение рассматриваемому типу конструкций придает сочетание частицы и противительного союза.

В русском языке предложения такого типа строятся либо с помощью прототипической УСК с союзом *хотя*, либо с союзом *правда*. В принципе при выборе эквивалента можно использовать оба варианта. Нам не удалось выявить правила, которое могло бы помочь предпочесть один вариант другому; оба представляются правомерными.

Обратимся к сходствам и различиям между сложносочиненными УСК, в которых союз и частица расположены во второй части предложения, и УСК, в которых частица расположена в первой, а союз во второй части конструкции. Первое и самое большое сходство между ними заключается в типе связи между частями предложения, а также в очевидном на первый взгляд обстоятельстве, что в обоих типах УСК функционируют союз и уступительная частица. Однако есть и существенные различия. Во-первых, как уже было показано, в случае если и противительный союз, и уступительная частица расположены во второй части конструкции, противительный союз может без ущерба для общего смысла предложения быть заменен соединительным, так как прагматический потенциал частицы настолько высок, что она не нуждается

в прагма-семантической поддержке союза. Во-вторых, если мы имеем дело с предложением, в котором частица и союз располагаются по разные стороны от запятой, то противительный союз соединительным заменить невозможно. Предложение либо становится некорректным, ср. допустимое (11) и ненормативное (11a), либо полностью утрачивается уступительная семантика, см. (9a). Последняя возможность связана с полифункциональностью частицы *küll*, которая может иметь также усилительное значение.

- (9a) ? *Washingtonis on küll aastaid arutatud, kuidas USA peaks end kriiside eest kaitsma, ja nüüd, kui häda käes, selgub, et kaitset ei ole, on olnud vaid palju sõnu.*

Возможен приблизительно следующий перевод:

Да, действительно, в Вашингтоне в течение многих лет обсуждалось, как США должны защищаться от кризисных ситуаций, и теперь, когда беда наступила, оказывается, что защиты нет, было лишь много слов.

- (11) *Ta näib küll ohtlik, aga inimesi ei ründa.*
Он, правда, кажется опасным, но людей не атакует.
- (11a) **Ta näib küll ohtlik, ja inimesi ei ründa.*
 **Он, правда, кажется опасным, и людей не атакует.*

Наши наблюдения позволяют предположить, что во втором из рассмотренных случаев мы имеем дело не с простой комбинацией частицы и союза, а с самостоятельным двухместным уступительным союзом, который в эстонской грамматике не описан. Конструкции рассматриваемого типа достаточно регулярно встречаются в текстах. Причем они равным образом функционируют как в разговорной речи, так и в газетно-публицистическом стиле. Кроме того, они встречались в официально-деловых и научных текстах, хотя реже. Это дает основание предполагать, что УСК с союзом *küll...kuid* (*küll ... aga*) стилистически нейтральны и регулярны.

В пользу предположения, что *küll...kuid* (*küll...aga*) является уступительным союзом, свидетельствует еще одно наблюдение. В эстонском языке возможно сочетание частицы *küll* с союзом *aga* или *kuid* во второй части сложносочиненного

предложения. Причем сочетание *küll aga* всегда имеет контактное, а сочетание *küll...kuid* дистантное расположение. Примечательно то, что в обоих случаях предложение не является уступительным, частица *küll* выступает тут в усилительной функции, следовательно, в данном случае уместно говорить именно о сочетании союза и частицы, а не о составном союзе — (12), (13).

- (12) *Kogenud riigikogulaste Sergei Ivanovi ja Viktor Andrejevi algatatud seaduseelnõudest ei teata midagi, küll aga seda, et mehed on raskelt riius.*

Об инициированных опытными парламентариями Сергеем Ивановым и Виктором Андреевым законопроектах ничего не известно, известно же то, что они между собой не в ладах.

- (13) *Muidugi on selge, et meie olud, võimalused ja elatustase ei ole samad mis Euroopas, kuid samasuguste standardite poole oleme teel küll.*

Конечно, ясно, что наши условия, возможности и уровень жизни не такие, как в Европе, но к подобным стандартам мы движемся.

Прагматически конструкции с союзом *küll...kuid* (*küll...aga*) сближаются с прототипическими УСК с препозитивной придаточной частью. На наш взгляд, это связано с линейным расположением уступительных элементов: чем раньше адресат слышит (или видит) «сигнал» уступительности, тем лучше он оказывается подготовленным к тому, что в предложении пойдет речь о несовместимости двух ситуаций. Когда уступительный союз вводит вторую часть предложения, адресат вынужден определенным образом переосмыслить услышанную (или прочитанную) ранее информацию. Если же уступительный союз находится в абсолютном начале предложения, то адресат с самого начала воспринимает всю конструкцию «правильно», т.е. он с самого начала готов к тому, что речь пойдет о некоей аномалии или парадоксе. Поэтому мы полагаем, что эстонские УСК с союзом *küll...kuid* (*küll...aga*) в прагматическом плане находятся между прототипическими УСК с препозитивной и постпозитивной придаточной частью.

Рассмотрим кратко еще один тип сложносочиненных УСК, формально несколько отличающийся от предыдущих. В данном случае мы также имеем дело с функционированием в рамках одного предложения противительного союза и частицы, которые разделены запятой. В первой части предложения выступает частица *ju* 'же', во второй — один из противительных союзов, см. (14), (15).

(14) *Seadustes on ju kõik kirjas, aga nad ei toimi.*

В законах же все написано, однако они не действуют.

(15) *Kallasele võib ju ette heita ühe või teise kahtlasevõitu ettevõtmise lubamist poliitilistel kaalutlustel, kuid mitte rahva raha jagamist koalitsioonikaaslastele poliitilisteks pististeks.*

Калласу можно, правда, инкриминировать разрешение того или иного подозрительного предприятия по политическим мотивам, но не раздачу народных денег членам коалиции в качестве политической взятки.

В данном случае уместно говорить именно о комбинации союза и частицы, создающей определенное значение. Вместе с тем отнесение этого типа конструкций к УСК следует считать дискуссионным, они находятся на грани уступительных и противительных отношений. Об отсутствии уступительного элемента значения, как в случаях (12), (13), говорить нельзя, однако следует признать, что уступительность в последних двух примерах имеет редуцированный характер. Скорее здесь можно говорить об осложнении противительного компонента значения уступительным.

В русском языке может функционировать частица *же*, *правда*, но не *хотя*.

Все рассмотренные ССП характеризуются фиксированным порядком следования частей. Противительный элемент всегда расположен линейно во второй части предложения вне зависимости от использования других средств.

Уступительные конструкции, выражаемые бессоюзным сложным предложением

УСК, выражаемые бессоюзным сложным предложением, являются периферийными. Хотя ЕКГ не выделяет бессоюзные предложения в отдельный тип, относя их к сложносочиненным, мы рассматриваем их отдельно от ССП. Это обусловлено тем, что в бессоюзных сложных предложениях средства выражения уступительности сходны со средствами, представленными в простых или формально самостоятельных предложениях и отличаются от средств, функционирующих в ССП. В бессоюзном сложном предложении уступительность выражается перечисленными в начале статьи частицами (см. с. 51), но не ограничивается ими. Так, кроме перечисленных выше, в бессоюзном сложном предложении уступительное значение может создаваться энклитической частицей *-gi/-ki* или частицей *kas või* 'хоть, хоть бы, хотя бы', сфера функционирования которой ограничивается бессоюзными сложными и простыми предложениями. Обратимся к примерам.

- (16) *Olin temaga ammu kohtumise kokku leppinud, ta jättis siiski tulemata.*
Я давно договорился с ним о встрече, но тем не менее он не пришел.
- (17) *Suuga teeb suure linna, käega ei kärbsepesagi.*
На словах большой город выстроит, на деле и мушиного гнезда не сделает (поговорка).
- (18) *See oli ka minu enda tahtmine, maksku see kas või elu.*
Это было и мое собственное желание, пусть оно будет стоить жизни / хотя бы оно стоило жизни.
- (19) *Kätte me nad saame, kulugu selleks või aastaid.*
Мы их поймем, пусть на это уйдут годы / хотя бы на это ушли годы.

Как видно из примеров, и здесь нет единого бесспорного эквивалента, допустимы варианты.

С точки зрения смысла последние два примера могут иметь двойное толкование: либо как уступительная, либо как потенциальная условно-уступительная конструкция. Неоднозначная трактовка данной конструкции связана с тем, что она, будучи

периферийной, содержит такую комбинацию средств выражения уступительности, которая может быть осмыслена по-разному. Ее явной смысловой особенностью является отнесенность зависимой части к семантическому плану будущего, локализация главной части одним временным планом не ограничена. А поскольку будущее по своей природе является нефактивным, то мы не можем с уверенностью сказать, имеет ли говорящий в виду, что события зависимой части непременно осуществляются, либо он предусматривает лишь такую возможность. Поэтому данный тип УСК можно отнести к периферии между собственно- и условно-уступительными конструкциями.

С точки зрения прагматики бессоюзные сложные предложения характеризуются ослаблением уступительности, по сравнению с рассмотренными выше случаями. Прагматически они ближе к осложненным и простым предложениям.

Уступительные конструкции, выражаемые простым предложением

И, наконец, рассмотрим кратко один тип УСК, выраженный простым предложением. Мы включили эти УСК в данную статью по двум причинам. Во-первых, они, как и все рассматриваемые нами случаи, не квалифицируются эстонской грамматикой как уступительные и средства выражения в них уступительной семантики в эстонском языке не изучены и даже специально не выделяются. Во-вторых, с точки зрения функционирования языковых средств они сближаются с бессоюзными сложными предложениями. Это конструкции с частицей *kas või* 'хоть, хоть бы, хотя бы' или наречием *vähemalt* 'по крайней мере'.

Конструкции с частицами *хоть, хоть бы, хотя бы, по крайней мере* в русском языке хорошо описаны (см., напр., [Апресян 2000]), а аналогичные эстонские не описаны вообще. Поскольку названные русские и эстонские частицы семантически достаточно близки, мы отчасти воспользуемся имеющимися разработками и посмотрим, насколько они применимы к эстонскому языку.

Частица *kas või* может в эстонском языке иметь значение минимума или максимума. В минимальном, собственно-уступительном значении, она сближается с наречием *vähemalt* и энклитической частицей *-gi/-ki*. Приведем их толкование: «понимая, что иметь желаемое невозможно, субъект (часто сам говорящий) хочет или готов иметь меньшее Р, обладание которым более вероятно» [Апресян 2000: 271]. Иными словами, рассматриваемые предложения описывают некоторый компромисс, на который говорящий готов пойти ради обладания частью желаемого.

Предложениям, в которых функционируют частицы *kas või*, *-gi/-ki* или наречие *vähemalt*, можно дать количественную характеристику ситуации Р, на которую согласен субъект. Обратимся к примерам.

- (20) *Anna mulle klaas vetki.*
Дай мне хоть стакан воды.

Это предложение описывает ситуацию, когда говорящий готов идти на максимальные уступки, удовлетворившись абсолютным минимумом, который в действительности не соответствует его потребностям. По сути это просьба. Говорящий готов к тому, что даже этого минимума он может не получить.

- (20a) *Anna mulle kas või klaas vett.*
Дай мне хотя бы стакан воды.

Это предложение можно было бы продолжить следующим образом: «...если ничего большего ты дать не можешь (не хочешь)». Аналогично предыдущему случаю, это просьба, однако такая, которая, по мнению говорящего, скорее всего будет исполнена. Произнося такое предложение говорящий дает понять, что обладание чем-то большим удовлетворило бы его в большей степени.

- (20b) *Anna mulle vähemalt klaas vett.*
Дай мне по крайней мере стакан воды.

Информация, имплицитно содержащаяся в этом предложении, такова: ни на что меньшее я не согласен. В данном случае мы

имеем дело скорее с требованием. Говорящий предполагает, что оно не останется невыполненным. (Ср. [Апресян 2000]).

Соотношение эстонских и русских соответствий нуждается в дальнейшем изучении. Так, в частности, мы не рассматривали сейчас случаи, когда названные уступительные элементы комбинируются друг с другом в рамках одного предложения. Напр.,

(21) *Räägi sellest vähemalt emalegi.*

Расскажи об этом хотя бы (по крайней мере?) маме.

Такие случаи нуждаются в дополнительном изучении.

Если частица *kas või* имеет значение максимума, то предложение не является уступительным, см. (22), (23). Утрата уступительного значения объяснима в сопоставлении с семантическими особенностями, присущими предложениям, в которых данная частица имеет значение минимума. Если субъект согласен обладать чем-то меньшим, чем он на самом деле хотел бы обладать, он идет на уступки, соглашается на компромисс. В случае с максимумом о компромиссе речи быть не может, поскольку больше, чем максимум, получить нельзя. Следовательно, не надо идти на компромиссы, а значит, значение уступки нивелируется, так как получение желаемого не представляет трудностей.

(22) *Võta kas või kõik korraga.*

Бери хоть все сразу!

(23) *Selline kaunistus võib ehtida välisust kas või aastaringi.*

Такое украшение может висеть перед входной дверью хоть круглый год.

В настоящей статье мы рассмотрели некоторые до сих пор не исследованные в эстонской грамматике типы уступительных предложений, попытались дать их семантическую и прагматическую характеристику и выявить возможные русские эквиваленты. Русские соответствия рассмотренным нами случаям могут быть разными в том смысле, что одному эстонскому предложению могут соответствовать разные русские, допус-

тимых вариантов соответствия может быть больше одного. Такая же неоднозначность при выборе эквивалента наблюдается и в том случае, когда в качестве исходного языка исследования выбран русский. Это, очевидно, обусловлено тем, что русский и эстонский языки по-разному членят сферу уступительных отношений со всем множеством ее семантических оттенков и прагматических нюансов. По-видимому, лишь в немногих случаях мы можем с уверенностью говорить об однозначном соответствии эквивалентов, не допускающем вариантов.

Если выстраивать шкалу «силы прагматического эффекта» уступительности по степени убывания, то в абсолютном начале будут расположены сложноподчиненные предложения с препозитивной придаточной частью. К ним примыкает тип конструкций, в русском языке не представленный, — сложносочиненные предложения, в которых уступительная частица содержится в первой, а противительный союз во второй части. За ними следуют сложноподчиненные предложения с постпозитивной придаточной частью, к которым очень близки сложносочиненные предложения с уступительными частицами и бессоюзные предложения. Далее — сложноподчиненные предложения с интерпозитивной придаточной частью, имеющей эффект добавочного, неосновного сообщения. Затем осложненные простые предложения и простые предложения с обстоятельством уступки, в которых уступительный компонент значения представлен в свернутом, редуцированном виде.

ЛИТЕРАТУРА

- Апресян В. Ю. 2000 — Словарная статья «по крайней мере 2». *Новый объяснительный словарь синонимов русского языка*. Второй выпуск. М. 271–275.
- EKG — Eesti keele grammatika. Tallinn, 1993.

К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СОЧИНИТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ

Е. И. КОСТАНДИ

Говоря о толковании функции в языкознании, в качестве основных его составляющих М. А. Шелякин отмечает, во-первых, «способность языковых элементов (конструкций, группировок элементов и др.) или языковой системы в целом к выполнению того или иного назначения», что, собственно, и является их функцией, и, во-вторых, наличие «среды, в которой реализуется функция и во взаимодействии с которой она создается вместе с носителем» [Шелякин 2001: 10]. Учет этих составляющих при анализе языковых единиц позволяет существенно расширить традиционные представления, при этом, как правило, не опровергая их, а именно дополняя, уточняя. Именно такой подход лежит в основе ряда работ, в которых нами была предпринята попытка функционального описания синтаксических связей, в частности, сочинительной связи слов [Костанди 1999а, б]. Основным аспектом, на котором было сконцентрировано внимание, являлся коммуникативно-прагматический, поскольку именно здесь функциональные свойства языковых единиц проявляются, как представляется, в наибольшей степени. Такой анализ с обязательным учетом «среды», т.е. контекста и конситуации, позволил описать ряд дополнительных функций сочинительной связи: текстовую функцию, реализующуюся, в частности, как отсылка к предыдущему и последующему контекстам, соотносительность с определенной пресуппозицией, косвенную отсылку к добавочным пропозициям, моделирование языковой действительности, участие в актуальном членении предложения. При этом отме-

чалось, что в каждом конкретном тексте эти инвариантные функции могут проявляться в тех или иных вариантах и, кроме того, могут появляться более частные контекстуальные функциональные особенности. Настоящая статья посвящена анализу сочинительной связи слов в рамках целого текста, ее роли в реализации авторской установки, в формировании конкретного текста. Материалом для анализа послужил рассказ И. С. Тургенева «Дневник лишнего человека», в котором были выявлены все случаи сочинительной связи слов и части предложений с «элементами» (см. ниже) сочинения, на основе чего и осуществлялся функциональный анализ.

Прежде всего следует остановиться на количественной характеристике собранного материала. Из более чем 1000 конструкций (оперировать точными цифрами не представляется возможным, так как отнесение целого ряда конструкций к сочинительной связи представляется спорным, в этих случаях можно условно говорить о некоторых «элементах» сочинения, что будет специально рассматриваться ниже) примерно две трети с сочинительной связью между предикатами. Таким образом, в рассказе И. С. Тургенева явно прослеживается общая закономерность, характерная для художественных текстов, а именно — высокая частотность однородных сказуемых, посредством чего акцентируются акциональность текста, сюжетность. Кроме того, «Дневник лишнего человека» — это в основном повествование главного героя о своей жизни, о сменявшихся друг друга событиях, действиях, что тоже предопределяет высокую частотность глаголов в сочинительных конструкциях. Таким образом, и стилистическая отнесенность текста, и частные его признаки в значительной степени предопределяют количественное и, соответственно, качественное доминирование сочинительных конструкций с однородными сказуемыми. В этой связи следует остановиться на таком **спорном понятии, как однородность сказуемых.**

Как известно, единства в квалификации предложений с несколькими сказуемыми при одном подлежащем не существует, поскольку такие предложения могут быть определены либо

как простые с однородными членами, либо как сложные, так как им присуща полипредикативность — основной признак сложного предложения. В русистике такие предложения традиционно квалифицируются как простые, однако далеко не все видные синтаксисты разделяли и разделяют в настоящее время эту точку зрения. Как «сложное целое» определял предложения с однородными сказуемыми А. М. Пешковский [Пешковский 1956: 424]. По словам Э. И. Коротяевой, неоднозначно трактуются такие предложения в архивных материалах А. А. Шахматова [Коротяева 1948]. Разногласия по этому поводу существуют и между современными исследователями. Анализ функционирования таких предложений позволяет определить их скорее как сложные, поскольку они зачастую представляют собой своего рода свернутый текст, целый рассказ, со своим минисюжетом, с разными модальными и временными планами (последнее в анализируемом рассказе встречается реже, так как он представляет собой рассказ главного героя о прошлых событиях своей жизни, что изначально задает единый временной план прошедшего для всего повествования), как, например, в следующих случаях:

- (1) *Тогда-то поднималась внутри меня страшная тревога. Я разбирал самого себя до последней ниточки, сравнивал себя с другими, припоминал малейшие взгляды, улыбки, слова людей, перед которыми хотел было развернуться, толковал все в дурную сторону, язвительно смеялся над своим притязанием «быть как все», — и вдруг, среди смеха, печально опускался весь, впадал в нелепое уныние, а там опять принимался за прежнее, — словом, вертелся как белка в колесе. Целые дни проходили в этой мучительной, бесплодной работе.*
- (2) *Он не дал даже времени слуге моему доложить о себе, так и ворвался в мою комнату, крепко стиснул мою руку; тысячу раз извинился передо мной, назвал меня образцом великодушия и смелости, расписал князя самыми черными красками, не пощадил стариков Ожоговых, которых, по его мнению, судьба наказала поделом; мимоходом задел и Лизу и убеждал, поцеловавши меня в плечо.*

В приведенных примерах, а аналогичных им в рассматриваемом рассказе множество, за каждым сказуемым стоит достаточно автономное событие, что можно увидеть, обратившись к пропозиционному составу предложений. Это подтверждается и тем, что к отдельным сказуемым или зависящим от них второстепенным членам предложения могут присоединяться придаточные предложения или осложняющие элементы, обладающие полупредикативностью (*поцеловавши меня в плечо*) и представляющие собой также свернутые события. Отчасти и пунктуация (во втором примере точка с запятой) может являться дополнительным аргументом в пользу того, что перед нами сложное предложение. Комплексность языкового события, моделируемого подобными предложениями, позволяет трактовать их как сложные. Однако признак полипредикативности и другие отмеченные выше свойства предложений с однородными сказуемыми становятся менее явными в том случае, если однородными являются присвяточные части составных именных сказуемых, ср.:

- (3) *Люди бывают злые, добрые, умные, глупые, приятные и неприятные; но лишние ... нет.*
- (4) *Она была очень мило одета и очень хороша собой в тот вечер.*

Возможно, следует согласиться с точкой зрения, распространенной в чешской лингвистике, согласно которой предложения с несколькими глагольными сказуемыми являются сложными, с несколькими именными — простыми. Если принимать во внимание роль таких предложений в анализируемом тексте, то следует отметить, что предложения с глагольными сказуемыми играют существенную роль в организации, в продвижении сюжета, в повествовании, которое ведет главный герой. Предложениям с именными сказуемыми в силу их меньшей акциональности и большей описательности эта роль присуща в значительно меньшей степени. Можно говорить и о некоторой соотнесенности типа сказуемого и авторской позиции: составное именное сказуемое в большей степени приспособлено для передачи авторских размышлений, оценок,

способлено для передачи авторских размышлений, оценок, что при наличии сочинительного ряда таких сказуемых еще более акцентируется, напр.:

- (5) *Я был мнителен, застенчив, раздражителен, как все больные; притом, вероятно по причине излишнего самолюбия или вообще вследствие неудачного устройства моей особы, между моими чувствами и мыслями — и выражением этих чувств и мыслей — находилось какое-то бессмысленное, непонятное и непреодолимое препятствие; и когда я решался насильно победить это препятствие, сломить эту преграду — мои движения, выражение моего лица, все мое существо принимало вид мучительного напряжения: я не только казался — я действительно становился неестественным и натянутым.*

В целом же предложения со сказуемыми, соединенными сочинительной связью, реализуют свое функциональное назначение, позволяя автору моделировать языковую и художественную действительность одновременно как компактную, сжатую и в то же время насыщенную событиями, подчеркивать те или иные аспекты этой действительности.

Следующими по частотности являются сочинительные ряды, компоненты которых — это однородные обстоятельства и прежде всего обстоятельства образа действия, являющиеся приглагольными членами предложения, характеризующими собственно действие. Одно из регулярных средств их выражения — деепричастия и деепричастные обороты, дополняющие сложно организованную языковую и художественную действительность, формируемую с помощью однородных сказуемых. При использовании других средств выражения однородных обстоятельств образа действия автор, отмечая разные стороны, признаки действия, усложняет его структуру, поскольку дублирование синтаксической позиции приглагольного члена предложения предполагает потенциальную возможность дублирования и самого глагола, ср.:

- (6) *Рос я дурно и невесело. / Рос я дурно, рос невесело.*

- (7) *Мать моя, напротив, обращалась со мной всегда одинаково, ласково, но холодно. / Мать моя, напротив, обращалась со мной всегда одинаково, обращалась ласково, но холодно.*

Таким образом, однородные сказуемые и обстоятельства образа действия взаимодополняют друг друга в моделировании художественной действительности, языкового события как «многослойного», в рамках которого выделяется множество относительно самостоятельных компонентов, соотносящихся с также относительно самостоятельными пропозициями, и сочинительная связь дает возможность такого моделирования. С количественной точки зрения другие члены предложения, соединенные сочинительной связью употребляются примерно в одинаковой степени.

Разного рода конструкции с сочинительной связью в тексте распределяются явно неравномерно. При собственно повествовании наблюдается отмеченное выше преобладание однородных сказуемых и обстоятельств, в тех частях, где действие «замедляется», дается некоторая картина, наблюдаемая героем, возрастает количество разных по составу сочинительных рядов, что создает возможности более полного, детализированного описания, как, напр., в следующем фрагменте:

- (8) *Были у меня гувернеры и учителя, как водится; особенно памятным остался мне один худосочный и слезливый немец, Рикман, необыкновенно печальное и судьбою пришибленное существо, бесплодно сгоравшее томительной тоской по далекой родине. Бывало, возле печки, в страшной духоте тесной передней, насквозь пропитанной кислым запахом старого кваса, сидит небритый мой дядька Василий, по прозвищу Гусыня, в вековечном своем казачине из синей дерюги, — сидит и играет в свои козыри с кучером Потапом, только что обновившем белый, как кипень, овчинный тулуп и несокрушимые смазные сапоги, — а Рикман за перегородкой поет.*

В данном фрагменте присутствует множество самых разных сочинительных конструкций. Таким образом, не только стилистическая отнесенность и характер текста, но и тип ре-

чи (повествование и описание) значимы с точки зрения особенностей функционирования сочинительных конструкций.

Остановимся далее на некоторых отдельных аспектах проявления в рассматриваемом тексте сочинительной связи, значимых, как представляется, с функциональной точки зрения.

Обращает на себя внимание использование однородных и неоднородных определений — явления, не имеющего также однозначного толкования. Как известно, традиционно однородные и неоднородные определения разграничиваются на основе семантического признака, что нельзя считать строгим критерием. В то же время и в традиционной грамматике используется следующая характеристика: «Неоднородными являются определения, характеризующие предмет или явление с различных сторон...» [Русский язык 1979: 173], при этом «различные стороны» можно понимать, напр., как разные по семантике признаки, что обычно и имеется в виду, либо как разные точки зрения на предмет. Как критерий разграничения однородных и неоднородных определений рассматривается и характер отношений между компонентами. Так, Б. М. Гаспаров отмечал, что «различие же между последними <однородными и неоднородными определениями. — Е. К> состоит в том, что в одном случае мы имеем сочинительную связь, а в другом — аппозицию, т.е. (в соответствии с общим определением) взаимное подчинение тождественных по форме слов» [Гаспаров 1971: 116]. На характер отношений между компонентами предложений указывает и М. А. Шелякин: «Однородные члены предложения непосредственно относятся к одному общему члену предложения, чем отличаются от неоднородных членов, которые сочетаются бессоюзной связью и относятся к общему члену опосредованно, через последующий член» [Шелякин 2001: 228]. Авторы «Коммуникативной грамматики русского языка», рассматривая имя прилагательное в системе признаков слов, вводят ряд критериев для характеристики разного рода признаков, таких, напр., как значение признака, субъектная ориентированность, коммуникативный регистр [Золотова, Онипенко, Сидорова 1998: 81–101],

что, думается, может быть использовано и для разграничения однородных и неоднородных определений. Наличие разных толкований понятий однородности/неоднородности свидетельствует о сложности самого явления, которое совершенно однозначного определения, очевидно, и не может иметь. Наблюдение над функционированием конструкций с однородными и неоднородными определениями в тексте дает возможность отметить некоторые особенности этого функционирования.

Помимо отмеченных выше критериев разграничения однородных и неоднородных определений в тексте значимым оказывается и такой показатель, как точка зрения, позиция автора (рассказчика). Это может быть и позиция с точки зрения пространственной локализации, то есть позиция субъекта-наблюдателя, который «видит, слышит, ощущает» и т.п., или отстраненного субъекта, который «знает» что-либо [Золотова, Онипенко, Сидорова 1998], и конкретная точка зрения субъекта, что-либо оценивающего. При единстве позиции или точки зрения даже явно неоднородные по семантике признаки могут быть представлены как однородные, что отражается и соответствующей пунктуацией. Обратимся к примерам:

- (9) *Помнится, однажды ехал я из Москвы в дилижансе. Дорога была хороша, а ямщик к четверке рядом припег еще пристяжную. Эта несчастная, пятая, вовсе бесполезная лошадь, кое-как привязанная к передку толстой короткой веревкой, которая немилосердно режет ей ляжку, трет хвост, заставляет ее бежать самым неестественным образом и придает всему ее телу вид запятой, всегда возбуждает мое глубокое сожаление.*

Признаки *несчастливая, пятая, бесполезная* могли бы считаться неоднородными, однако они связаны друг с другом единством авторской оценки: рассказчик оценивает лошадь как лишнюю, сравнивая далее себя с ней, соответственно, она, будучи *лишней, несчастная*, она *лишняя*, потому что *пятая*, наконец, она, будучи *лишней, бесполезная*. Единство более общей оценки, точки зрения придает однородность разным по семантике при-

знакам. Подобная же «однородность» характерна и для следующих примеров:

- (10) *Нас было четверо: старуха Ожогина, Лиза, я и некто Бизьменков, мелкий чиновник города О..., белокуренький, добренький и смиреннький человек.*
- (11) *Однажды — дело было утром, часу в двенадцатом — не успел я войти в переднюю г. Ожогина, как незнакомый, звонкий голос раздался в зале ...*

В примере (10) различные признаки (*белокуренький, добренький, смиреннький*) объединены авторской оценкой, в примере (11) — авторской позицией: находясь в определенном месте, герой слышит голос, признаки которого для него сливаются в одно целое, становятся однородными. Этот же фактор — единство авторской позиции, точки зрения или его отсутствие — играет, как правило, свою роль и в предложениях с более «обычными» однородными или неоднородными определениями. Сравним с этой точки зрения следующие примеры:

- (12) *Я, помнится, долго рассматривал его взъерошенное, удалое, беззаботное и доброе лицо.*
- (13) *...но я не намерен позволять какому-нибудь пустому петербургскому выскочке ...*

Для предложения (12) характерно единство восприятия героя — он видит предмет (лицо) и одновременно и его признаки. Признаки предмета в предложении (13) требуют от героя наличия разных знаний, разных точек зрения, позиций: *какой-нибудь пустой* — оценочно-эмоциональная характеристика, обусловленная происходящими событиями, участником которых герой является, *петербургский* — информативная характеристика, обусловленная знаниями героя о том, откуда приехал человек, к которому он обращается. Таким образом, неоднородные определения соотносятся в данном случае с внутренней субъективной оценкой и внешними объективными знаниями. Разумеется, соотнесенность характера определений в сочинительной конструкции и позиции субъекта не является всегда строго заданной, однако она может считаться доста-

точно явной тенденцией, которая становится более выраженной именно в контексте. Неоднородные определения делают контекст более сложным, содержат отсылки к разным позициям и, тем самым, к добавочным знаниям. Соответственно, и связь между неоднородными определениями является более неоднозначной, чем обычное сочинение.

Следует подчеркнуть, что и в целом сочинительная связь, как правило, требует опоры на контекст, учета более широкого контекста, нежели только формально выделяемый сочинительный ряд, как в следующих предложениях:

- (14) *Жили мы большей частью в деревне, иногда приезжали в Москву.*
- (15) *Сперва это меня сильно огорчило, потом как будто тронуло, а наконец взбесило.*

В приведенных примерах смысловые отношения между компонентами (*жили, приезжали; огорчило, тронуло, взбесило*) без учета контекста и с его учетом совершенно разные, что свидетельствует о том, что в орбиту сочинительной связи «втягиваются» не только отдельные слова, но и целые фрагменты предложений, можно условно говорить о наличии «элементов» сочинения между этими фрагментами. Очевидно, такая взаимозависимость между сочинительной связью и контекстом, текстовым уровнем обусловлена такой функциональной направленностью, которую М. А. Шелякин, говоря об однородных членах предложения, то есть компонентах, соединенных сочинительной связью, определяет следующим образом: «Общая функция однородных членов предложения состоит в том, что они служат для объединения разных событий, состоящих из функционально однородных компонентов, в одно собирательное целое» [Шелякин 2001: 228]. Именно то, что за сочинительным рядом стоят «разные события» говорит о его потенциальной полипредикативности и, следовательно, о возможности развертывания на основе сочинительного ряда целого фрагмента текста.

Наконец, рассматривая особенности функционирования сочинительных конструкций в конкретном тексте, следует обратить внимание на характерные для тургеневского рассказа конструкции с повтором лексем. Рассматриваться как обычное сочинение они, разумеется, не могут, однако некоторые формальные признаки сочинительной связи в них присутствуют. В анализируемом тексте это явление достаточно частотно, например:

- (16) *Да, я скоро, очень скоро умру.*
 (17) *Да, хорошо, хорошо отделаться наконец от томящего сознания жизни, от неотвязного и беспокойного чувства существования!*
 (18) *Весна, весна идет!*
 (19) *Лишний, лишний ... Отличное это я придумал слово.*

В определенной степени любой повтор — члена предложения или лексемы — акцентирует ту часть предложения, в которой он присутствует. В большинстве случаев сочинительный ряд может быть заменен обобщающим словом, напр.:

- (20) *В течение пятидесяти лет своей жизни она ни разу не отдохнула, не сложила рук; она вечно копошилась и возилась, как муравей, — и без всякой пользы, чего нельзя сказать о муравье. / ... она постоянно работала...*

При такой замене, разумеется, менее полной будет семантика, изменится и авторское отношение, так как расчленение чего-либо на составляющие требует от автора дополнительных усилий и производится, как правило, в случае значимости для автора данной части описываемого события и, следовательно, части предложения. Это приводит к изменениям актуального членения предложения, вносит разного рода стилистические, семантические, прагматические коннотации. В случае же повтора лексемы отмеченные свойства становятся более явными, что и наблюдается в рассказе И. С. Тургенева. Наиболее частотен такой повтор в частях текста, содержащих авторские рассуждения, оценки, что дополнительно свидетельствует о со-

отнесенности подобных конструкций с признаком субъективности.

Таким образом, мы видим, что сочинительная связь оказывается значимой для текста в целом. Она соотносится со стилем (художественный текст), с признаками конкретного текста (рассказ героя о своей жизни), с типом речи (повествование, описание, рассуждение), с позицией субъекта и с коммуникативным регистром (изобразительный и информативный регистры), с авторской оценкой, с актуальным членением. Все это, наряду с другими языковыми средствами, формирует целостный связный текст, реализующий определенную авторскую установку. Очевидно, отмеченные свойства сочинительных конструкций обусловлены, как отмечалось выше, их функциональной сущностью — объединением разных событий, потенциальной полипредикативностью и, тем самым, соотнесенностью с текстовым уровнем.

ЛИТЕРАТУРА

- Гаспаров Б. М. 1971 — *Из курса лекций по синтаксису современного русского языка*. Тарту.
- Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. 1998 — *Коммуникативная грамматика русского языка*. М.
- Коротаева Э. И. 1948 — Академик А. А. Шахматов о предложении с однородными членами и о сложном предложении. Материалы архива АН СССР. *Доклады и сообщения Института русского языка АН СССР*. М.—Л.
- Костанди Е. 1999а — Коммуникативно-прагматическая направленность сочинительной связи (на материале художественного текста). *Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Новая серия II. Прагматический аспект исследования языка*. Тарту.
- Костанди Е. 1999б — Коммуникативно-прагматический аспект сочинительной связи. *Humanitārās fakultātes VIII zinātniskie lasījumi*. Daugavpils.
- Пешковский А. М. 1956 — *Русский синтаксис в научном освещении*. М.
- Русский язык ... 1979 — *Русский язык. Энциклопедия*. М.
- Шелякин М. А. 2001 — *Функциональная грамматика русского языка*. М.

НАПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ В ЗНАЧЕНИИ ПЕРФОРМАТИВОВ

Й. КРЕКИЧ

1. Юбиляр М. А. Шелякин¹ и его коллега И. Кюльмоя, подчеркивая значение исследования перформативных высказываний, отмечают, что с каждым годом увеличивается интерес к данной проблематике, что связано с особенностями развития современного языкознания, поставившего в центр внимания изучение языка и речи в аспекте их отношения к человеку, к его социальному поведению и деятельности [Кюльмоя, Шелякин 2000: 213].

2. Определение значения перформативов немислимо без понимания темпоральной теории Эрвина Кошмидера о направительной отнесенности действия в значении глаголов СВ и НСВ. Эрвин Кошмидер уже в 1930-м году опубликовал статью [Koschmieder 1930], в которой он первым раскрыл сущность перформативности (у него «коинциденции»). В ней идет речь о перформативном (у него коинцидентном) настоящем, находящемся в точке пересечения временной и видовой систем. Теорию Кошмидера о направительной отнесенности (“Zeitrichtungsbezug”, “Richtungsbezug”) действия отвергали либо потому, что ее не поняли, либо потому, что по каким-то идеологическим причинам подозревали в ней субъективно-идеалистические научные взгляды. По нашему мнению, ошибки

¹ Статья посвящается профессору Михаилу Алексеевичу Шелякину, выдающемуся русисту и известнейшему лингвисту-аспектологу, отличному менеджеру в науке, прекрасному человеку и другу в знак признательности и глубокого уважения в честь его юбилея.

Дж. Л. Остина проистекают из того, что он не знал учения Э. Кошмидера о славянском виде, его теории коинциденции.

2.1. Э. Кошмидер уже с самого начала своей научной деятельности осознал, что время не существует независимо от мышления человека: оно складывается в нашем сознании [Koschmieder 1930]. Г. В. Ф. Гегель называет время «созерцаемым бытием», а созерцать бытие — значит представлять время мысленно, т.е. проникать умом, мыслью в отвлеченное понятие времени [Hegel 1979: 52].

2.2. Темпоральная теория Э. Кошмидера логична и имеет объяснительную силу. Хочу подчеркнуть, что эта теория о направительной отнесенности носит *грамматический характер*, она проистекает из оппозиции перфективных и имперфективных глаголов. Э. Кошмидер имеет в виду видовременную систему: категория вида выражает направительную отнесенность действия, а категория времени — темпоральную отнесенность времен, по словам Э. Кошмидера: “Der Aspekt dient dem Ausdruck des Richtungsbezuges, das Tempus dem Zeitstufenbezuges” [Koschmieder 1930: 341].

2.3. В понятии времени труднее всего мысленно определить его направление. Во второй половине XX-го века в философии появились взгляды на направление времени, напоминающие теорию Э. Кошмидера. А. Грюнбаум использует понятие анизотропии², которое не предполагает движения времени в одном направлении. Он полагает, что развитие времени асимметрично [Grünbaum 1969]. Л. Витгенштейн в своей известной книге отмечает, что если нет никакой асимметрии, то из двух событий совершенно невозможно описать одно без другого [Wittgenstein 1989: 85]. Близки по смыслу к теории Э. Кошмидера о грамматической направительной отнесенности действия (“Richtungsbezug”) и взгляды М. Хайдеггера. Что касается направительной отнесенности из прошлого в будущее, М. Хайдеггер опирается на взгляды Г. В. Ф. Гегеля, по определению которого ни прошлое, ни будущее не делимы

² Анизотропия означает, что некоторые свойства, качества ведут себя по-разному в разных направлениях.

от конкретного (по-иному: актуального) настоящего, потому что «конкретное настоящее — это результат прошлого, оно (т.е. конкретное настоящее) чревато будущим» [Hegel 1979: 57, Heidegger 1989: 682].

2.4. Что же касается направительной отнесенности факта из будущего в прошлое, взгляды философа М. Хайдеггера не противоречат теории Э. Кошмидера. М. Хайдеггер отдает предпочтение будущему времени, когда утверждает, что «прошлое в некотором смысле происходит из будущего» [Heidegger 1989: 536–537], что «будущее не позднее, чем Прошлое» [там же: 570]. В другом месте он же подчеркивает, что понимание времени «первично основывается на будущем, а применение первично осуществляется в прошлом» [там же: 557].

2.5. Прагматическая концепция времени у Э. Кошмидера основывается на факторе относительного движения времени. Он характеризует действия «в зависимости от направительной отнесенности, вытекающей из двойственного восприятия относительного движения» времени [Koschmieder 1934: 38; Кошмидер 1962: 136]. Здесь проявляется прагматический подход к грамматическому значению времени: как рассматривает говорящий (или субъект) развитие времени действия глаголов НСВ и СВ в зависимости от ситуации, от направительной отнесенности действия. Под относительным движением времени Э. Кошмидер понимает движение времени глаголов НСВ, устанавливаемое в сравнении с направлением движения времени глаголов СВ, поскольку виды выражают отношение говорящего (или действующего лица) к направительной отнесенности действия, опирающейся на сравнение временного направления.

3. По мнению Э. Кошмидера, наш ответ на вопрос *Co tam robisz?* ‘Что это ты сейчас делаешь?’ означает, что мы сейчас (в момент речи) находимся в процессе осуществления действия: мы констатируем, что мы именно как раз были заняты действием, что мы именно сейчас заняты осуществлением действия и что мы и в дальнейшем будем заняты этим действием. Речь идет о единичном, конкретном и актуальном действии. Точкой отсчета, соотносимым моментом (“*Bezugsmoment*” — термин М. А. Шелякина и Х. Шлегеля) актуального настоящего является *момент речи*. Такая ситуация переда-

настоящего является *момент речи*. Такая ситуация передается формой настоящего времени глагола НСВ [Scheljakin, Schlegel 1970: 65–70]. Говорящий (или действующее лицо) мысленно ставит себя в середину процесса, представляющую собой момент речи. Говорящий (или действующее лицо) движется — мысленно — вместе с этим моментом прямолинейно от прошлого через настоящее в будущее. То, что на линии времени перед моментом речи (МР) находилось, представляет прошлое, а то, что следует после момента речи, означает будущее; между ними осуществляется постоянное движение момента речи от прошлого через настоящее по направлению к будущему. Подчеркнем, что в процессном актуальном настоящем протекающее действие неопределенно: нельзя зафиксировать ни начало, ни конец действия (ср. у Э. Кошмидера: “Der Sachverhalt ist im Wahren” [Koschmieder 1930: 353]). Высказывание, в котором глагол НСВ фиксирует ситуацию в процессном актуальном настоящем, может передаваться в русском языке следующими вариантами:

- (1) *Сейчас я пишу письмо брату.*
- (2) *В данный момент (я) пишу письмо брату.*
- (3) *Сейчас именно (я) пишу письмо брату.*

В актуальном настоящем, как показывают примеры, кроме формы настоящего времени (т.е. кроме главного индикатора) могут еще фигурировать и временные индикаторы *сейчас, сейчас именно, в данный момент*, которые указывают на срединный момент речи (МР) в действии, движемся от прошлого через настоящее к будущему, и при этом соотносимый момент (“Bezugsmoment”) действия (СМ) и момент речи (МР) совпадают (СМ = МР). Подчеркнем, что направление времени в актуальном несовершенном настоящем прямолинейно, включает в себе направительную отнесенность из прошлого в будущее. Границы такого действия стираются, поэтому такое актуальное несовершенное настоящее можно называть и *открытым настоящим*, в противоположность перформативному (коинцидентному) настоящему, которое мы рассматриваем как *закрытое настоящее* [Крекич 2002: 48].

Актуальное (или открытое) настоящее, заключающее в себе направительную отнесенность из прошлого в будущее, можно изобразить следующим образом:

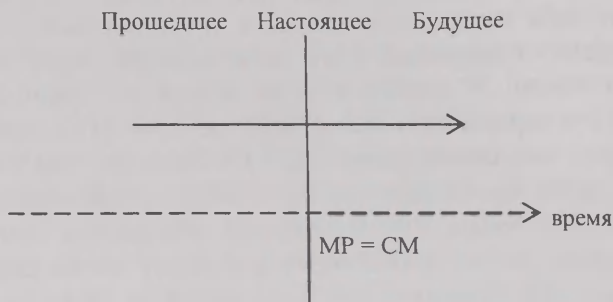


Схема 1

Момент речи в актуальном настоящем совпадает с соотносимым моментом действия (см. об этом подробнее: [Scheljakin, Schlegel 1970: 68]). В момент речи говорящий (или субъект) своим движением связывает прошлое с будущим, расширяя этим действие, стремящееся к будущему. Поскольку направительная отнесенность (“Richtungsbezug”) действия устремлена из прошлого в будущее, имперфективные глаголы можно называть и проспективными глаголами. Время — подчеркивает Э. Кошмидер — воспринимается нами в движении: темпоральную систему мы рассматриваем как подвижную систему координат [Koschmieder 1934: 34].

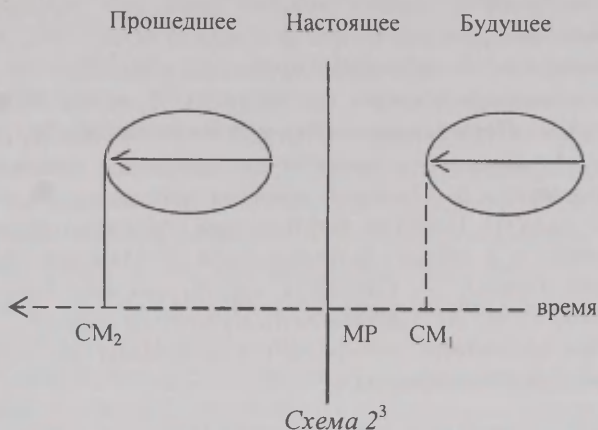
4. Что касается перфективных глаголов, Э. Кошмидер рассматривает их действие ретроспективно: в оппозицию к глаголам НСВ он присваивает глаголам СВ противоположную направительную отнесенность, направительную отнесенность из будущего в прошлое. Если в 8 часов вечера я говорю:

- (4) *Ещё сегодня вечером прочитаю рассказ Василия Шукшина «Змеиный яд»,*

тогда в 10 часов вечера уже могу сказать:

- (5) *Я прочитал рассказ Василия Шукшина «Змеиный яд».*

Схему направительной отнесенности из будущего в прошлое (4), (5) можно было бы изобразить примерно следующим образом:



Условные знаки:

СМ₁ = 8 часов вечера

СМ₂ = 10 часов вечера

СМ = Соотносимый момент

MP = Момент речи

Направительная отнесенность из будущего (Б) в прошлое (П):

Б → П.

Направление времени ←-----

Перфективы можно называть и ретроспективными глаголами. Они никогда не способны передавать актуальное настоящее. Но некоторые из них (*попросить, потребовать, предложить, посоветовать* и *пожелать*) способны передавать перформативное настоящее. Нас заинтересовал вопрос, чем объяснить тот факт, что в русском, польском, словенском и даже в венгерском перформативы могут быть выражены обеими видовыми формами, формами НСВ и СВ. По нашему мнению, без асимметрического рассмотрения перформативов трудно по-

³ Наглядные знаки схем взяты у М. А. Шелякина и Х. Шлегеля [Scheljakin, Schlegel 1970].

нять различие между актуальным (1), (2), (3) и перформативным настоящим (6):

- (6) *Шапшнев (читает). Я, нижеподписавшаяся, сим удостоверяю, что мной в уплату личного долга дан управдому Шапшневу выигрышный билет за номером пять нулей, единица, серия «А», в чем никаких претензий к вышеозначенному управдому предъявлять не стану (А. Толстой. Чудеса в решете). — Настоящим я обязуюсь взять на себя все расходы. — А сейчас я вам советую (ср. посоветую, советовал бы, посоветовал бы) бросить навсегда это логово и следовать за мной (Н. Погодин. Неутомимый строитель). Вентура. А пока (= а сейчас) попрошу кофе (Г. Мдивани. День рождения Терезы). — Сознанию, кругом виноват, что не слушал вас, когда вы советовали остерегаться всякого ... — И теперь посоветую: остерегаться не мешает (И. Гончаров. Обыкновенная история).*

Вместо наречий *настоящим, сим*, соответствующих немецкому *hiermit*, в русском языке можно употреблять и дополнительный перформативный индикатор типа *а сейчас*. От дескриптивного индикатора, указывающего в примерах (1), (2), (3) на актуальное настоящее (*сейчас, в данный момент, сейчас именно*), формально он почти не отличается, а семантически — значительно. Перформативные индикаторы (*сим, настоящим, а сейчас, а пока, и теперь*) указывают на наступление речевого акта (6), а дескриптивные индикаторы в (1), (2), (3) — на момент речи, на середину процесса.

4.1. Со времен Дж. Л. Остина [Austin 1962] многие говорят о перформативах, многие стараются определить их значение. Определяются лишь специфические и синтаксические значения (“*differentia specifica*”), но не определяется их инвариантное значение (“*genus proximum*”). Недоразумения объясняются именно тем, что инвариантное значение перформативов еще не определено и недостаточно изучено.

4.2. Анизотропическое истолкование Э. Кошмидера помогает нам провести грань между актуальным и перформативным настоящим. По мнению Э. Кошмидера, коинциденция (или перформативность) — это типично перфективное явление, при

котором перформативное высказывание рассматривается нами в своей целостности от начала до конца своего местоположения во времени (“Dieser Koinzidenzfall ist typisch perfektiv, er faßt den betr. Ausspruch in seiner Totalität von Anfang bis zum Ende seines Zeitstellenwerts” [Koschmieder 1930: 352]).

Выясняется, что высказывание (“Ausspruch”) совпадает с действием, обозначенным перформативным глаголом: например, речевой акт просьбы совершается лишь произнесением всего высказывания. Значение перформативного глагола распространяется на целое высказывание. В перформативных высказываниях внимание говорящего обращено не на момент речи (MP), а на продолжительность речи (ПП) (Dauer der Rede), на определенное внутреннее время речевого акта, на целостную ситуацию настоящего. «Время перформативного высказывания, и следовательно выполняемого тем самым действия, — подчеркивает Ю. Д. Апресян, — это период, а не момент» [Апресян 1988: 78]. Перформативное настоящее продолжается до завершения речевого акта: перформативный глагол фиксирует целостное, тотальное действие, начало и конец которого говорящему известны (7):

- (7) *Евгения Дмитриевна. Я прошу вас разменять эту квартиру на трехкомнатную и однокомнатную отдельно, если это не очень сложно ...* (Г. Мдивани. Большая мама).

— *Послушайте, Юра! Я категорически требую, чтобы вы прекратили ваши преследования* (Е. Габрилович. Странная женщина). *Шарыкин. Приказываю вам вынести знамя полка из боя и доставить в штаб дивизии!* (С. Михалков. Забытый блиндаж).

Итак, выявляется, что форма перформативного настоящего сигнализирует не процесс, а наступление (“Eintritt”) действия в аспектуальной позиции актуального факта: она передает определенное во времени единичное, конкретное и целостное (т.е. имплицитно перфективное) действие, приуроченное к одному соотносимому отрезку или моменту времени [Крекич 1993: 19–20].

4.3. Уже Э. Кошмидер заметил, что в ситуации коинциденции (перформативности) можно точно установить начало и конец действия. Различие между актуальным и перформативным настоящим он объясняет синтаксическими средствами, противопоставлением индикаторов, указывающих либо на дескриптивное проявление действия, либо на перформативное: *soeben* ↔ *hiermit* (которым в русском языке соответствуют следующие дескриптивные: *в данный момент, сейчас, сейчас именно* — и перформативные индикаторы: *сим, настоящим, а сейчас, и теперь, а пока = а сейчас*) [Крекич 2002: 47].

4.3.1. Э. Кошмидер прав, когда он утверждает, что в ситуации коинциденции (перформативности) надлежит ожидать употребления глагола СВ (“Wir hatten oben gesehen, daß theoretisch in der Koinzidenz der perfektive Aspekt zu erwarten ist” [Koschmieder 1930: 356]). Подчеркнем, что выяснение инвариантного временного значения перформативных глаголов немислимо без анизотропической теории Э. Кошмидера о временном направлении (“Zeitrichtungsbezug”), о направительной отнесенности глагольного действия.

4.3.2. Еще раз подчеркнем, что ретроспективное восприятие времени обладает объяснительной силой: при коинциденции (т.е. при идентичности слова и действия) нами рассматривается не момент речи (МР), а продолжительность речи (ПР) (Dauer der Rede), т.е. целостная ситуация, имеющая местоположение от начала до конца действия. Действие перформатива распространяется на целое высказывание; после наступления оно продолжается до конца речевого акта. Перформативный глагол в ситуации коинциденции фиксирует целостное действие; нам известны его начало, продолжение и конец. Это *определенное* (однокоренное со словом *предел*) во времени перформативное действие можно изобразить следующим образом:

5. Занимаясь перформативами русского языка, я всё более и более убеждался в том, что теория Э. Кошмидера о временном направлении поможет нам лучше понять сущность перформативности глагольного действия, поможет нам установить различие между актуальным и перформативным настоящим. Выяснение инвариантного значения перформативных глаголов немислимо без анизотропической теории Э. Кошмидера о направительной отнесенности глагольного действия.

5.1. Встает вопрос, как выяснить причину того факта, что в ситуации, теоретически предполагающей употребление формы глагола СВ, используют форму НСВ. Известно, что в славянских языках семантически маркированной формой видовых пар (*советовать/посоветовать*) является форма СВ. Форма СВ со знаком (+) противостоит форме НСВ со знаком (\pm), которая в некоторых темпоральных позициях (в историческом настоящем, в форме *praesens propheticum*, *praesens scenicum*, в том числе и в перформативном настоящем) способна передавать имплицитно и перфективное значение со знаком (+).

5.2. С прагматической точки зрения можно утверждать, что обе формы перформативного глагола (*прошу — попрошу, советую — посоветую* и т.п.) передают *возникновение новой ситуации*. Форма совершенного вида (*потребую*) указывает на более сильное иллокутивное воздействие говорящего на адресата. Объясняется это проявлением «ингерентной экспрессивности» форм совершенного вида: “Bei Aspektkonkurrenz ist der vo. Aspekt in der Regel stilistisch bildhafter, expressiver und dynamischer als der unvo. Aspekt” [Scheljakin 1969: 120].

5.3. В русском, польском и словенском языках в перформативной ситуации используются как имперфективные, так и перфективные глаголы (перфективные реже). То же самое наблюдается, например, в венгерском языке, в котором кроме глаголов несовершенной аспектуальности (НСА) часто фигурируют и глаголы совершенной аспектуальности (СА). В венгерском языке нет видовой системы, поэтому используем термины «совершенная аспектуальность» (СА) и «несовершенная аспектуальность» (НСА). На причины этого явления указал

сам Э. Кошмидер, утверждая, что здесь речь идет о коллизии видовой и временной категории. Преобладает либо временная категория на уровне формы, либо видовая категория на уровне содержания [Кошмидер 1962: 167].

5.4. В зависимости от направления времени, *от направительной отнесенности из прошлого в будущее* актуальное настоящее содержит в себе, кроме момента речи, и прошлое, и будущее.

5.5. В зависимости от направления времени, от направительной отнесенности *из настоящего в прошлое* перформативное настоящее не содержит в себе ни прошлого, ни будущего. Перформативное действие начинается в настоящем и заканчивается в настоящем, на грани настоящего и прошлого.

5.6. Нами рассмотрено направление времени с точки зрения отношения говорящего (или субъекта) к развитию времени, что все более и более убеждает нас в том, что «вид» представляет собой не только семантическую, но и прагматическую категорию.

ЛИТЕРАТУРА

- Апресян Ю. Д. 1988 — Глаголы моментального действия и перформативы в русском языке. *Русистика сегодня*. М. 57–78.
- Кошмидер Э. 1962 — Очерк науки о видах польского глагола. Опыт синтеза. *Вопросы глагольного вида*. М. 105–167.
- Крекич Й. 1993 — *Побудительные перформативные высказывания*. Szeged.
- Крекич Й. 2002 — Семантика и прагматика перформативных глаголов. *Коммуникативно-смысловые параметры грамматики и текста*. (К юбилею Г. А. Золотовой) М. 42–51.
- Кюльмоя И., Шелякин М. 2000 — К проблеме изучения перформативных высказываний. *Nyelv, aspektus, irodalom, Szeged*. 213–219.
- Падучева Е. В. 1996 — *Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива*. М.
- Austin J. L. 1962 — *How to do Things with Words*. Oxford–New York.
- Grünbaum A. 1969 — *Philosophical Problems of Space and Time*. New York.

- Hegel G. W. F. 1979 — *A természetfilozófia. Enciklopedia II. (Философия природы. Энциклопедия II)*. Budapest.
- Heidegger M. 1989 — *Lét és idő (Бытие и время)*. Budapest.
- Koschmieder E. 1930 — Durchkreuzungen von Aspekt- und Tempussystem im Präsens. *Zeitschrift für slavische Philologie*. 341–358.
- Koschmieder E. 1934 — Nauka o aspektach czasownika polskiego w zarysie. Proba syntezy. *Rozprawy i materiały wydziału i towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie*. Tom V, z. 2. Wilno.
- Scheljakin M. A., Schlegel H. 1970 — *Der Gebrauch des russischen Verbalaspekts*. Teil I. Theoretische Grundlagen. Potsdam.
- Scheljakin M. A. 1969 — Der Gebrauch der Aspekt- und Tempusformen des Indikativs in der russischen Sprache. *Fremdsprachenunterricht*. Berlin. 108–120.
- Wittgenstein L. W. 1989 — *Tractatus logico-philosophicus*. Budapest.

К МЕТОДИКЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ФОНЕТИКЕ

Ю. С. КУДРЯВЦЕВ

Древние рукописи предоставляют историку-фонетисту богатый материал, позволяющий произвести углубленное исследование звуковых процессов в диахронии (см. [Колесов 1982: 7–44]). В ряде случаев этот материал является уникальным, если следы древнего явления не сохранились в современном состоянии языка. Напр., прояснение конечного редуцированного ряда глагольных форм перед утраченной ныне формой винительного падежа указательного местоимения **ъь*: *хотати и, алы и* практически не отражается в современных восточнославянских языках и их говорах. Между тем для древнерусского языка, как отмечали И. В. Ягич, А. А. Шахматов, А. И. Соболевский, данная звуковая особенность является важной изоглоссой, помогающей устанавливать диалектное членение этого языка (см. подробнее [Кудрявцев 1977]). Изучение и даже сама фиксация данной фонетической черты возможны только на материале письменных памятников.

Но и в том случае, когда звуковое изменение отражается в особенностях современной литературной или диалектной фонетической системы, оно обычно представлено в синхронии в суммарном, обобщенном виде, затушевывающем многие важные детали исторического процесса. Фенотип никогда не равен генотипу, хотя между ними и наличествует существенное сходство.

Основываясь лишь на данных современных народных говоров и литературного языка, нельзя было бы установить причинную связь падения редуцированных гласных с фонологи-

заций вокалических эпентез [Марков 1964]; охарактеризовать первую стадию падения, объясненную И. А. Фалевым [Фалев 1927] и теоретически обоснованную В. В. Колесовым [Колесов 1965]; установить особый характер рефлексации редуцированных в древненовгородском говоре [Зализняк 1984: 45–63; Кудрявцев 1993: 16–20].

Рукописный памятник дает представление об определенном синхронном срезе истории данного языка. Однако отражение языковой реальности в рукописи не является непосредственным, поскольку писец не ставит перед собой лингвистические задачи. Он отражает современное ему состояние языка невольно, благодаря самому факту использования языкового письма. Разные системы письменности по-разному отражают факты живого языка. Напр., иероглифическая письменность полностью игнорирует его фонетическую сторону. Существует и такая система письма, которая вообще не содержит данных о языке (идеография). В истории русского языка нам известны только факты фонетической графики, что значительно облегчает построение исторической фонетики русского языка.

К сожалению, не всегда осознается тот факт, казалось бы очевидный, что звуковое письмо также отражает фонетическую данность опосредованно. Прямая связь между буквой и звуком отсутствует; за примерами их несоответствия ходить недалеко. Исследователи современного русского текста без знания живого языка не смогли бы установить наличие аканья, оглушения звонких согласных на конце слова, корреляции согласных по твердости/мягкости. Точнее говоря, выявление этих особенностей потребовало бы специального анализа орфографических ошибок и дистрибуции графем в нормативных текстах. При этом не обошлось бы без контроверз типа: «В русском языке XX в. проявляется определенная тенденция к замене [o] на [a] в безударном положении, особенно в морфологически изолированной позиции» versus «в южнорусском наречии в XX в. полностью проведено аканье, тогда как в литературном языке отступления от окающего произношения обусловлены влиянием южных говоров». На самом деле, как мы знаем, окающая норма произношения сохранилась в русском

изводе церковнославянского языка и не действует в русском литературном.

Еще меньшую информацию несет современный русский текст об аллофонном варьировании в устной речи.

В любом звуковом письме отношения между буквой и звуком опосредованы: а) фонематической системой языка; б) наличным составом графических средств; в) системой орфографии, или, точнее, правописным навыком пишущего; г) орфоэпией, характерной для литературного языка на данном этапе его существования. Вследствие этих обстоятельств фонетическое исследование памятников представляет собой всегда своеобразную реконструкцию (см. [Колесов 1982: 51–97]) — ее называют филологической реконструкцией — древних языковых фактов на основе, с одной стороны, графической данности памятника, с другой стороны, наших знаний о тех последующих звеньях, на роль которых было указано выше. В этом отношении историко-фонетическое изучение рукописей отличается от аналогичного изучения современных диалектов по материалу, но не по приему.

Между тем в русской (и шире — славянской) исторической фонетике еще в начале XX в. установление прямой связи между буквой и звуком было широко распространенным исследовательским приемом. Даже лучшие работы этого периода (Б. М. Ляпунов, С. П. Обнорский, А. А. Шахматов, А. И. Соболевский) грешат подобными вещами. Издержки такой методики, сделавшись очевидными, оказали определенное влияние, наряду с политической обстановкой, на направление историко-фонетических исследований 20-х и последующих годов. Наметился обратный крен: недоверие к прямолинейной интерпретации графических данных привело к сомнениям в ценности рукописных источников для исторической фонетики вообще. На целые десятилетия основная работа сосредоточилась в области историко-диалектологических изучений. Материал, предоставляемый памятниками, использовался в основном как иллюстративный. Во вновь открытых рукописях вскрывались только те явления, которые уже были известны по диалектологическим разысканиям. Забытыми оказались

даже те работы предшествующего периода, в которых намечался сознательный подход к памятнику как графической реальности, фонетическая интерпретация которой невозможна без учета правописных навыков писца (это относится прежде всего к ряду исследований Л. Л. Васильева).

Реабилитация метода филологической реконструкции как незаменимого средства разработки исторической фонетики русского языка невозможна без установления принципов такой реконструкции.

Прежде всего следует учитывать, что на письме редко отражаются факты аллофонного варьирования. Носитель языка, с одной стороны, осознает в своей речи только функциональные различия; полностью обусловленные позицией вариации фонем возникают автоматически и поэтому остаются вне поля сознания говорящего и слушающего. С другой стороны, нет никакой необходимости передавать в обычном письме эти автоматические колебания звучания, поскольку они никогда самостоятельно не служат для различения значимых единиц языка. Аллофонное варьирование невольно отражается в письменной речи лишь тогда, когда графическая система не поспевает за звуковым изменением, преобразующим какой-либо дифференциальный признак в нефонологический. Напр., в истории русского языка ДП ряда у гласных утратил фонологический статус, став признаком аллофонного варьирования. Графика же русского языка сохранила различие букв **а-я**, **у-ю**, **и-ы**, введя по этому образцу также пары **е-э** и **о-ё**. Таким образом, возникло графическое отражение обусловленной мены гласных звуков в пределах одной фонемы. Такие случаи редки. В основном же на письме отражаются не аллофоны, а фонемы, и именно они бывают обычно конечным результатом филологической реконструкции. Осознание этого факта подрывает доверие к ряду реконструкций А. А. Шахматова. Наличие в памятниках графических колебаний (в одной и той же морфеме, в одном и том же слове употребляется то одна, то другая буква) также не свидетельствует об образовании неких «промежуточных» звуков. В системе любого языка или диалекта каждый звук относится к определенной фонеме; проме-

жуточных звуков не бывает вообще. Только наличие объективной двойственности фонологической системы (латентная перефонологизация) ведет писца к колебаниям в фонемной оценке тех или иных звучаний. Хороший пример этого представляет собой оценка неорганических глухих писцом Пуятиной минеи (см. [Марков 1964: 170]). Но во всех подобных случаях речь может идти только об отражении функциональных (хотя бы и противоречивых), а не аллофонных свойств конкретного звука. Разумеется, графическое колебание может объясняться и нефонетическими причинами (влияние традиции, оригинала и т.д.). Таким образом, употребление термина «звук» при филологической реконструкции является чаще всего условным; за этим термином чаще всего скрывается в историко-фонетическом исследовании другая единица — а именно фонема.

Что касается аллофонного варьирования, то его реконструкция вряд ли осуществима и сравнительно-историческим методом [Крупаткин 1969]. Основным подспорьем в деле такой реконструкции являются, по нашему мнению, типологические данные о закономерностях этого процесса в современных, непосредственно наблюдаемых языках.

Напр., наблюдения Н. С. Трубецкого [Трубецкой 1960: 153–154] показывают, что в одной фонологической системе не могут сосуществовать корреляция палатализации и палатальный ряд. В. Н. Чекман [Чекман 1979: 52] обнаружил только одно исключение из этой универсалии (пограничный диалект румынского языка). Отсюда малая вероятность того, что «полумягкие» в праславянском языке были палатализованными. В диалектах, легших в основу южнославянских языков, они, видимо, ничем не отличались от твердых, что и привело к совпадению — в позиции после тех и других согласных — гласных переднего/непереднего ряда. Но в северных славянских языках такого совпадения не происходило. Отсюда большая вероятность того, что на севере Славии твердые реализовались отлично от полумягких — как (лабио)велярные. Косвенным подтверждением такой реконструкции служит тот факт, что

именно в этих языках осуществлялся переход /e > o/, причинно обусловленный лабиовелярностью последующего согласного.

Свидетельством неразвитости метода филологической реконструкции является постоянное неразличение в работах по истории языка таких связанных, но нетождественных понятий, как графика и орфография. Под графикой мы понимаем набор средств, актуальных и потенциальных, с помощью которых писец осознанно или невольно передает на письме фонематический облик слова. Особенно важны для историко-фонетических исследований потенциальные графические средства (заимствованные и изобретенные буквы, диакритики), которые могут быть использованы писцом для передачи новых, оригинальных звуковых явлений. В то же время звуковые значения актуальных средств графики тоже допускают варьирование как в диахроническом, так и в синхронном (по диалектам) плане. В этом случае фонетическая интерпретация особенно затруднена. Как показано выше, при некоторых условиях устаревшая графика может отражать аллофонное варьирование фонем. Консервация подобных систем графических средств происходит тогда, когда их отдельные элементы переосмысляются в своем значении и приобретают новую функциональность. Один из факторов консервации разобран в известной работе [Яковлев 1970]. Следует иметь в виду, что выражение на письме аллофона во всех случаях является побочным, невольным следствием функционирования графического знака, основной задачей которого является передача фонологических единиц. Так, *ъ* в дореволюционной русской орфографии обозначал диэрему (конец слова), а значение гласного пазвука было для него побочным.

Смешение графики и орфографии часто дает себя знать в неправильной оценке регулярного употребления или неупотребления писцом определенных графических средств. Но и в тех случаях, когда графемы беспорядочно смешиваются, не всегда следует говорить о недостаточном усвоении писцом правил графики. Такое неустойчивое написание может отражать переходный графический этап. Дальнейшая стабилизация проявляет фонетическую реальность, стоявшую за беспо-

рядочным смещением букв. Напр., новгородские берестяные грамоты XIV в., не знающие вовсе букв ъ и ь (№№ 406, 407, 409, 414, 416, 430, 436, 437, 442, 443, 483, 489, 497 и др.), указывают на то, что безразличная мена ъ/о, ь/е предшествующего периода отражала реальное звуковое своеобразие падения редуцированных в новгородском говоре. Написания типа поколоно, горигори, сестори, солова, ѡсотавили (№ 497) с буквой о в тех случаях, когда постановка гласной буквы не поддерживалась орфографической традицией, могут означать только прояснение редуцированных (в данных примерах — неорганических) в слабой позиции. Такое же значение имеют и обратные факты (пасын-ке № 415, свобод-не, грив-нь № 421) отсутствия гласных букв на месте редуцированных в сильной позиции.

Метод филологической реконструкции не только не допускает смещения графики и орфографии, но и настоятельно требует введения нового понятия, как бы третьего члена этого противопоставления. «Орфография» означает «правильное написание». Что, однако, считать правильным в историческом плане — неясно. Кодификация нормы на протяжении большей части древнерусского периода отсутствовала. Поэтому часто говорят об орфографическом навыке или орфографической школе писца, подразумевая большую или меньшую последовательность написания в пределах одного почерка. Но такая последовательность — не обязательно результат выучки; она может быть продуктом личного творчества писца. Вопреки этимологии исследователь рукописи вынужден говорить здесь об «индивидуальной орфографии». Ощущается лакуна в терминологической системе: отсутствие термина, позволяющего различать, с одной стороны, последовательное и непоследовательное («описка») написание, с другой стороны, общеобязательное орфографическое правило и индивидуальный навык пишущего. Именно этот последний, выраженный в регулярности определенного написания, и является средним членом противопоставления, на полюсах которого расположены графика и орфография. За неимением термина мы употребляем в данном значении по-прежнему слово «орфография».

Таким образом, орфографией мы называем условно всякое правило употребления графического знака, независимо от того, характеризует ли оно один почерк или распространяется на целую группу рукописей, объединенных общностью времени и места создания («скрипторий»). При этом отступления от орфографии (регулярности применения знака) и ее отсутствие (беспорядочное употребление знака) могут быть не менее показательными при установлении фонетических особенностей идиолекта писца, чем наличие последовательно проведенных написаний. В каждом случае необходима квалификация орфографического правила: является ли оно фонетическим, морфологическим, традиционным, историческим или дифференцирующим.

Обычно исследователи древнерусских рукописей преувеличивают значение фонетического и традиционного принципов в ущерб морфологическому, стремясь за каждым написанием видеть либо прямое отражение звуковой реальности, либо соблюдение традиции, обычно толкуемое как простой перенос в рукопись написаний оригинала. Для опровержения последнего заблуждения много сделал Н. Н. Дурново, впервые рассмотревший регулярные отличия древнерусских памятников от южнославянских как проявление особой орфографической школы [Дурново 1933]. Впрочем, Дурново также видел в этой системе лишь сумму применения двух орфографических принципов: фонетического и традиционного.

Престиж традиционного написания в средневековой орфографии бесспорно был очень высок. Это вытекает из общих особенностей тогдашнего мировоззрения, в котором всякое изменение и развитие рассматривались как порча первоначального, истинного облика предмета. Если учесть к тому же, что письменность преимущественно носила сакральный характер, стремление грамотного средневекового человека писать так, как писали предки, будет вполне понятно. Однако нельзя забывать, что фонетическая эволюция делает претворение в жизнь этого стремления задачей чрезвычайно сложной. Не будем преувеличивать знание писцом всех орфографических деталей, вытекающих из принципа традиционности. Если

бы такое знание являлось абсолютным, мы никогда бы не обнаружили в рукописях фонетических написаний, проливающих свет на живое произношение писца (как современная письменность грамотного англичанина не дает сведений о звуковых изменениях, происходивших в английском языке за последние 300 лет). Между тем фонетические орфограммы постоянно выступают в древнерусских рукописях; написание замедленно, но достаточно послушно следовало за произношением. Из этого вытекает, что орфографическая традиция поддерживалась не только и не столько механической выучкой, сколько более или менее сознательным применением специальных правил, носивших по существу морфологический характер.

В общем виде: фонетические изменения часто ведут к образованию чередований; это и является почвой для применения морфологического принципа в орфографии, на службе у более общего, мировоззренческого принципа традиционности.

Говоря о соотношении различных орфографических принципов в диахронии, можно наметить следующий типичный порядок их эволюции: фонетическое написание в результате звукового изменения становится морфологическим, а после утраты чередованием фонетического характера — историческим; на этом же этапе появляются традиционные в узком смысле написания (типа **ча, ща; чу, щу**); последней стадией является замена нефонетического написания новым фонетическим. Такой порядок изменения заставляет орфографию постоянно отставать от живого произношения.

Для вопроса о судьбах метода филологической реконструкции важна проблема соотношения исторического и традиционного принципов орфографии. Отсутствие у того или иного орфографического факта фонетической значимости для эпохи, современной созданию рукописи, совсем не означает, что этот факт вообще не несет никакой историко-фонетической информации. Наоборот, как правило, он имеет фонетическую значимость для какой-либо из предшествующих эпох. Так, написания типа *город, норв* при произношении [горът], [норъф] указывают на наличие звонких согласных и безударного [о] в этих

словах в русском литературном языке свыше полутысячелетия назад. Исключения из этого правила редки, как редки чисто традиционные написания, не имеющие исторического обоснования. Консервативность орфографии не должна приводить в уныние исследователя древних рукописей. Регулярность написания почти всегда имеет звуковое значение; важно лишь правильно хронологизовать его.

Кроме фонематики, графики и орфографии, опосредующим звеном между звучанием и письмом может являться также орфоэпия. Вопрос о древнерусской орфоэпической системе поставлен Н. Н. Дурново [Дурново 1969: 36–42]. Большинство конкретных утверждений Дурново нуждается в пересмотре. Напр., рассматривая новгородские написания типа *дъжгъ*, *пригвожгенъ*, автор высказывает предположение (со ссылкой на А. М. Селищева), что такие написания могли передавать «искусственное церковное произношение с *žg'*, вызванное тем, что русские воспринимали ю.-сл. краепалатальное *d'* в сочетании *žd'* как *g'*». Но в примечании к данной странице говорится: «...возможно и то, что написанием *жг* сев.-р. писцы передавали произношение, существовавшее в их живом говоре» [Дурново 1969: 37]. В настоящее время вопрос сильно осложнился в связи со спецификой отражения заднеязычных согласных в новгородских берестяных грамотах. Другой пример. «В памятниках... буквы *о* и *е* нередко пишутся не только на месте *ъ* и *ь* сильных, но и на месте *ъ* и *ь* слабых, что, вероятно, объясняется тем, что буквы *ъ* и *ь* в азбуке, а также и при диктовке читались, как *о* и *е*. К таким памятникам принадлежит между прочим Смоленская грамота 1229 г. в списке А» [Дурново 1969: 39]. Исследовав правописание данного списка, В. В. Колесов установил следующее графическое распределение: *ь/о*, *ь/е* заменяют друг друга не бессистемно, а подчиняясь определенному правилу: «Написание *ъ*, *ь* вм. *о*, *е* преобладает в положении после сонорных и *в*, написание *о*, *е* вм. *ъ*, *ь* — в положении после шумных» [Колесов 1975: 4–5]. Такое распределение носит ярко выраженный фонетический, а не орфоэпический характер, и Колесов справедливо констатирует: «В смоленской грамоте 1229 г. отражено перераспределение слоговой

длительности между гласным и согласным в тот момент, когда происходит утрата редуцированных» [там же: 5]. В то же время справедливость общих утверждений Дурново не вызывает сомнений. Отметим лишь, что, на наш взгляд, Дурново несколько преувеличил значение этого фактора для формирования особенностей памятников русского письма. Соотношение между орфоэпией и живым, непринужденным произношением такое же, как между орфографией в узком смысле слова и индивидуальным навыком писца. Хорошо известно, как подвижны и изменчивы от рукописи к рукописи эти навыки в древнерусской письменности. Тем более трудно ожидать постоянства и обязательности орфоэпических навыков.

Как видим, фонетическая интерпретация данных древних памятников представляет собой сложную задачу, решение которой требует учета различных обстоятельств и представляет собой в буквальном смысле слова р е к о н с т р у к ц и ю гипотетических фактов по фактам сохранившимся. Здесь невозможно простое чтение источника.

ЛИТЕРАТУРА

- Дурново Н. Н. 1933 — Славянское правописание X–XII вв. *Slavia*, XII, № 1–2. 45–82.
- Дурново Н. Н. 1969 — *Введение в историю русского языка*. М.
- Зализняк А. А. 1984 — Наблюдения над берестяными грамотами. *История русского языка в древнейший период*. М. 36–153.
- Колесов В. В. 1965 — О некоторых особенностях фонологической модели, развивающей аканье. *Вопросы языкознания*. № 4. 66–79.
- Колесов В. В. 1975 — Позиционное смещение букв О, Е ~ Ъ, Ь в древнерусских рукописях XII–XIII вв. *Исследования и материалы по русской и древнеславянской языковой истории*. Вып. I. Горький. 3–12.
- Колесов В. В. 1982 — *Введение в историческую фонологию*. Л.
- Крупаткин Я. Б. 1969 — Об аллофонических реконструкциях. *Вопросы языкознания*. № 4. 35–44.
- Кудрявцев Ю. С. 1977 — Отражение напряженных редуцированных гласных в Успенском сборнике. *Ученые записки ТГУ*. Вып. 425. 136–142.

- Кудрявцев Ю. С. 1993 — Две заметки по поводу падения редуцированных. *Русский язык донационального периода*. СПб. 13–20.
- Марков В. М. 1964 — *К истории редуцированных гласных в древнерусском языке*. Казань.
- Трубецкой Н. С. 1960 — *Основы фонологии*. М.
- Фалев И. А. 1927 — О редуцированных гласных в древнерусском языке. *Язык и литература*. II, вып. I. Л. 111–122.
- Чекман В. Н. 1979 — *Исследования по исторической фонетике праславянского языка*. Минск.
- Яковлев Н. Ф. 1970 — Математическая формула построения алфавита. *Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии*. М. 123–148.

ЗАЛОГ И ЕРЕСЬ (об одной форме в «Написании о правой вере» Константина-Философа)

А. М. КУЗНЕЦОВ

*Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя.*

А. С. Пушкин

В своей последней книге Е. М. Верещагин [Верещагин 2001: 15–77] совместно с А. И. Юрченко, используя новый билинеарно-спатический метод издания перевода и оригинала (т.е. в 2 параллельные строки с указанием места в них каждой пары слов-соответствий), опубликовал 1) славянский текст «Написания о правой вере» Константина-Кирилла по болгарской рукописи 1348 г. и 2) принадлежащий константинопольскому патриарху Никифору (ок. 758–829 гг.) греческий текст исповедания веры, который, как установил диакон Андрей Юрченко в 1985 г., на деле является оригиналом для славянского. В подробных комментариях к славянскому переводу Е. М. Верещагин обратил внимание также и на причастие действительного залога в следующем отрывке: и кѡплѣшь сѧ отъ стѣго|| дѣха. и отъ прѣстыжѣ и славныѣ кѡ истинѣ бѣжѣ и присиодкы мариа. и дѣшѣ| и пльть прѣдбочишьшѣ дѣхомъ.| лл. 96а–б (строки 129–132). Именно о нем и пойдет речь в настоящей статье*. Поскольку рукопись болгарская, следует

* Статья написана в рамках исполнения проекта № 00-04-00313а «Историческая грамматика древнерусского языка. Местоимение. Прилагательное. Числительное», поддержанного грантом РГНФ.

принять во внимание мену юсов л—ж в формах Р. п., русский перевод отрывка звучит так: «...он воплотился от Святого Духа и Пресвятой и воистину славной Богородицы и Приснодевы Марии, заранее Духом *очистившей* и душу, и тело».

В связи с этой формой публикаторы обращаются к работе 1969 г. Войтеха Ткадльчика, который еще до открытия греческого оригинала рассматривал славянский текст как переводный и высказал сомнения относительно правильности — с точки зрения богословия — перевода приведенного места при помощи причастия действительного залога: **невозможно сказать, что Дева Мария заранее (до рождения Иисуса) сама себя очистила Духом Святым** [Верещагин 2001: 52–54]. В. Ткадльчик также указал на то, что этот отрывок является цитатой из слова «На Богоявление или на Рождество Спасителя» св. Григория Назианзина: *κυθηεις μὲν ἐκ τῆς παρθένου, καὶ ψυχὴν καὶ σάρκα προκαθαρθείσης τῷ πνεύματι* — с формой страдательного причастия. Это выражение, кстати, еще раз встречается у Григория в слове «На Святую Пасху».

По мнению чешского ученого, переводчик или плохо владел греческим языком и принял пассивное причастие за активное, поскольку оно управляет В. п. — *ψυχὴν* и *σάρκα*, или же при переписке была утрачена частица *εα* в составе возвратного причастия *прѣдзочищша εа*. Однако такой способ выражения в славянском синтаксисе невозможен, и была предложена конъектура: и дшеѣж и плзтиѣж прѣдзочищензи дхомь. Открытие греческого текста Никифора в качестве оригинала «Написания о правой вере», казалось бы, подтверждает правильность основных выводов В. Ткадльчика, ибо и у Никифора также находим страдательное причастие: *Καὶ σαρκωθεῖς ἐκ πνεύματος ἁγίου, καὶ ἐκ τῆς παναγίας ἐνδόξου καὶ ἀληθοῦς θεοτόκου ἀειπαρθένου Μαρίας, καὶ ψυχὴν καὶ σάρκα προκαθαρθείσης τῷ πνεύματι*.

Замечу при этом, что в этом отрывке из Никифора стоящее первым страдательное причастие *σαρκωθεῖς* переведено на славянский возвратным причастием *кзплщѣ εа* — двусмыс-

ленным в плане залоговых отношений: его можно понять и как активное, и как пассивное. Замечание мое не случайно. Необходимо принять во внимание контекст сочинения Григория Богослова «На Богоявление или на Рождество Спасителя», из которого взята интересующая нас цитата. Речь идет о второй ипостаси Бога — Сыне, его активности как Бога и пассивности как человека: «О новое смешение! О чудное растворение! Сушций начинает бытие, Несозданный создается, Необъемлемый объемлется через разумную душу, посредствующую между Божеством и грубой плотью <...> Правда, что Он был послан, но как человек <...>; а если послан и как Бог, что из этого? Под посольством понимай благоволение Отца, к Которому Он относит дела Свои, чтобы почтить бестелесное начало и не показаться противником Богу. О Нем говорится, что предан (Рим. 4, 25); но написано также, что и Сам Себя предал (Еф. 5, 2.25). Говорится, что Он воскрешен Отцом и вознесен (Деян. 3, 15; Деян. 1, 11), но написано также, что Он Сам Себя воскресил и восшел опять на небо (1 Сол. 1, 14; Еф. 4, 10), — первое по благоволению, второе по власти» [Григорий Богослов 2000: 641–642].

К счастью для нас, сохранился древнейший славянский перевод этого слова Григория в древнерусской рукописи XI века, имеющей следы транслитерации с глаголицы. Вот как звучит последняя часть только что процитированного текста: *Понѣже н прѣданъ | вѣстоу глѣтъ сѧ | н самъ сѧ прѣдавъ | ѡно кѣтъ · н кѣстѧ | кѣшѧ оцѣмъ н кѣ | знесенѧ · нъ н самъ | сѧ кѣстѧвѣшѧ | н | кѣзнесенѧ сѧ па | кѣ ГБ XI, 159а. Переводчик употребил действительное причастие *кѣстѧвѣшѧ* в том месте, где по смыслу требуется страдательный залог, и только Т. п. *оцѣмъ* и следующее за ним страдательное причастие *кѣзнесенѧ* помогают правильно понять мысль Григория. Но ведь от глагола *кѣстѧти* невозможно образовать страдательное причастие! Точно так же, как невозможно образовать возвратную форму *сѧ кѣстѧвѣшѧ*, которую находим далее в тексте. Что здесь — неопытность переводчика или, наоборот, грамматический изыск, заключающийся в игре залоговых значений?*

Если учесть, что в западнославянских языках глаголу $k\check{a}skr\check{e}sniti$ может соответствовать $k\check{a}stakn\check{t}i$, а глаголу $k\check{a}skr\check{e}sn\check{t}i$ — $k\check{a}stati$ [ССЯ 1994: 152, 155] (ср. в польском *zmartwychwstanie* ‘воскресение’), то прежде всего напрашивается мысль о западнославянском происхождении переводчика (сохранение в некоторых местах рукописи глаголических букв подтверждает это). Возможно, что восточнославянский переписчик не понял форму переходного глагола $sa\ k\check{a}stak(\lambda)sha$ без *l-epentheticum* и принял ее за форму непереходного глагола $sa\ k\check{a}stav\check{a}sha$, а предшествующую форму $k\check{a}stak(\lambda)en\check{a}$ по ошибке, сбившись со строки, заменил активной.

Теперь пора рассмотреть непосредственно перевод той цитаты из Григория Богослова, на которую указал В. Ткадльчик. В рукописи XI века она имеется и в слове «На Рождество», и в слове «На Пасху»:

- 1) Рождѣнѣ же вѣкѣ о|тѣ дѣвѣи· н дшѣ н| пѣтъ прѣже
оун|цаши дхѡмъ ГВ XI, 157а;
- 2) роднкѣ же сѣ ѡ|тѣ дѣвнцѣ н доу|шѣ н пѣтъ прѣ|жде
оунстнкѣ|ши доухомъ, 334β-γ.

Во-первых, страдательное причастие $ku\theta\eta\acute{\iota}s$ переведено сначала страдательным $рождѣнѣ$, а затем возвратным $роднкѣ$ сѣ. Выделяя особо среди глаголов с собственно-возвратным значением группу глаголов типа $kr\check{a}stn\check{t}i$ сѣ, $postri\check{c}n\check{t}i$ сѣ, В. Н. Данков указал, что в конструкциях с ними «предмет является лишь объектом внешнего воздействия (его или ее родили, крестили, постригли, распяли), но представлен он в качестве субъекта, творящего действие. Последнее рассматривается здесь как акт личной воли предмета, от него исходящая и на него направленная инициатива, что и придает возвратной личной форме, при отсутствии внешнего деятеля, собственно-возвратное значение» [Данков 1981: 70]. Однако собственно-возвратные глаголы могут иметь значение страдательное: «репрезентантом страдательности служит комплекс переменных лексических и морфолого-синтаксических средств. Наиболее важным в этом комплексе является наличие лексически выра-

женного указания на реальный производитель действия» [Данков 1981: 87]. Ср. в нашем тексте наличие слов *отъ дѣкъи*.

Но, кстати, ни тот, ни другой перевод, т.е. ни *рожденъ*, ни *роднѣ сѧ*, не передает точно значения греческого глагола: точнее бы его передавала форма *зачуатъ*, если бы с ней в славянских языках не было связано синтагматически упоминание о мужском начале, а ведь в этом тексте речь идет только о Богородице. Поэтому древний переводчик (или переводчики) заменил в пассивной конструкции глагол *зачуати* на *родити*, а современный переводчик превратил конструкцию в активную: «Хотя *чревоносит* Дева, в которой душа и тело предочищены Духом...» (в слове «На Пасху» вместо *предочищены* просто — *очищены*) [Григорий Богослов 2000: 641–642, 810].

Во-вторых (и для нашей темы это самое главное), в обоих случаях мы находим действительные причастия *оучишии* и *оучитнѣшии* по отношению к Богородице — вопреки греческому оригиналу и правильным богословским рассуждениям В. Ткадльчика и публикаторов «Написания о правой вере». (Что касается окончания причастия, то возможно несколько интерпретаций: это или «дательный самостоятельный», или уже несклоняемая форма древнерусского языка, или синкретическая форма Р.–Д. пп., известная в новгородском диалекте [Кузнецов 2002].)

По крайней мере, теперь уже три примера, два из которых — древние, XI века, не позволяют считать, что появление действительного причастия в этом контексте является ошибкой переписчика. Почему же страдательное причастие оригинала переведено действительным причастием?

Предположение о пропуске в процессе переписки местоимения *сѧ* вслед за В. Ткадльчиком мы должны признать несостоятельным. Правда, при некоторых глаголах с *сѧ* в древних памятниках письменности В. п. объекта мог сохраняться [Крысько 1995: 482, 490–491]: *тоанко сѧоухъ наслажающоу сѧ* СБВ к. XII, 154; *акзи законноу женоу прикланжтн сѧ хоташе* СБУ XII/XIII, 258 в. Но это были глаголы с косвенно-

возвратным значением, а конструкций типа н дшѣ н лавѣтъ прѣже оуишѣша сѣ дхѣомѣ с собственно-возвратным глаголом не отмечается.

Вероятно, так же как формы рожденѣ и роднѣ сѣ, формы оуишѣ и оуишнѣ сѣ могут рассматриваться в принципе как синонимичные. Надо заметить, что глаголы, выражающие нравственное, духовное воздействие на те или иные стороны личности субъекта, в большей мере, чем глаголы, называющие физическое действие или ритуальное, способны приобретать страдательное значение. Очищения не может быть без воли человека, но не может быть в конечном итоге без Бога. Ср. формы в Покаянном 50-м псалме: Наипаче ѡмый мѣ ѡ беззаконїѣ моегѡ, и ѡ грѣхѣ моегѡ ѡчисти мѣ: <...> ѡкропиши мѣ ѡсѡпомѣ, и ѡчиши сѣ, ѡмыеши мѣ, и паче снѣга ѡбѣлю сѣ. В сочетании оуиштнѣ сѣ местоимение сѣ легко заменяется на существительные доушѣ и тѣло без искажения смысла, страдательное же значение при этом не исчезает, оно сохраняется согласно христианскому пониманию, несмотря на форму действительного залога.

Упоминание в словах Григория об очищении Богородицы Духом Святым возвращает читателя к событиям, происшедшим во время Введения Богородицы во храм. В рассказах об этих событиях особо подчеркивается воля самой Богородицы: «Вот поставили праведные родители пренепорочную отроковицу на первой ступени. Она тотчас весьма скоро пошла сама собою по прочимъ ступенямъ, никѣмъ не ведомая и не поддерживаемая; поднявшись на самую верхнюю ступень, Она стала, укрьпляемая невидимою силою Божїею. <...> Отроковица, веселясь и весьма радуясь, шла въ домъ Господень, как въ чертогъ, ибо хотя и была мала возрастомъ, всего только трехъ лѣтъ, но была совершенна по благодати Божїей, как предъзнанная и предъизбранная Богомъ прежде сложенїя міра» [Житїя 1905: 592].

Это соединение воли родителей, воли Господа и воли самой Богородицы подчеркивается и в другом тексте — во вто-

ром седальне в служебных минеях на 21 ноября, оно выражается в преобладании возвратных и действительных форм глаголов: *Преже зачатнѣ уста ѡстн сѧ вѣн н рожаши сѧ на землн дарѧ прннесе сѧ ѡмоу исплнѧющн ѡускоѡ ѡбѣщаннѣ вѣсткнѣї црквн ѡко вѣсткѧнѧ вѧ истинноу цркви нз мла||да устѧю сѧ свѣщамн свѣтавимн Ѡдана вѣкѧши ѡвн сѧ прнѧтнѧнце непрнстоупѧго вѣсткѧнѧго сѣѣта Мин 1097, 1186–119а, — на весь текст только одно страдательное причастие.*

Таким образом, славянские переводчики сочинений Григория имели право изменить страдательный залог греческого оригинала на действительный в сочетании с Т. п. дѣомь, не погрешая против богословских истин.

ИСТОЧНИКИ

ГБ XI — А. Будиловичь. *XIII словъ Григорія Богослова въ древнеславянскомъ переводѣ по рукописи Императорской Публичной бібліотеки XI вѣка*. СПб., 1875.

Мин 1097 — И. В. Ягичь. *Служебныя минеи за СЕНТАБЕРЬ, ОКТАБЕРЬ и НОАБЕРЬ. Въ церковнославянскомъ переводѣ по русскимъ рукописямъ 1095–1097 г.* СПб., 1886.

СБВ к. XII — *Выголексинский сборник* / Изд. подгот. В. Ф. Дубровина, Р. В. Бахтурина, В. С. Голышенко. М., 1977.

СБУ XII/XIII — *Успенский сборник XII–XIII вв.* / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971.

ЛИТЕРАТУРА

Верещагин Е. М. 2001 — *Церковнославянская книжность на Руси. Лингвотекстологические разыскания*. М.

Григорий Богослов 2000 — *Собрание творений. Том I*. Минск–М.

Данков В. Н. 1981 — *Историческая грамматика русского языка. Выражение залоговых отношений у глагола*. М.

- Житія 1905 — *Житія святихъ, на русскомъ языкѣ изложенныя по руководству Четьихъ-миней св. Димитрія Ростовскаго. Книга третья. (Ноябрь)*. М. [Репринт.]
- Крысько В. Б. 1995 — Залоговые отношения. *Древнерусская грамматика XII–XIII вв.* М. 465–506.
- Кузнецов А. М. 2002 — Инновации в парадигме членных прилагательных по данным древнерусской письменности XI века. *Russian Linguistics*. 3 (в печати).
- ССЯ 1994 — *Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков)*. М.

БЕЗГЛАГОЛЬНЫЕ КРАТНО-СООТНОСИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

И. П. КЮЛЬМОЯ

Кратно-соотносительным конструкциям различных типов уделяется внимание в ряде работ [Маслов 1954, Шелякин 1983, Кюльмоя 1983, 1985], однако вне специального рассмотрения остались конструкции, в которых глагол содержится лишь в одной их части. А. В. Бондарко касается конструкций названного типа в связи с выражением в них таксисных отношений, а также с некоторыми особенностями функционирования временных форм совершенного вида (далее — СВ) [Бондарко 1971]. Такие конструкции, казалось бы, противоречат самому их определению, в соответствии с которым в любой кратко-соотносительной конструкции, напр.:

- (1) *Домой придешь — сердце радуется. Включишь телевизор, постановку какую-нибудь посмотришь* (В. Шукшин) —

всегда отражается ситуация, состоящая по крайней мере из **двух** взаимосвязанных действий, одно из которых обуславливает другое/другие. Данный комплекс действий (т.е. вся ситуация) повторяется неограниченное количество раз. Свообразие этих конструкций, обусловленное самими структурными особенностями, было впервые отмечено И. В. Киреевским: «В предложении “*Всякий день проходил у нас однообразно: я подойду к его двери, стукну два раза; он откроет...*” ...если бы это был не ряд действий или по крайней мере не два действия, взаимно относящиеся одно к другому, а только одно действие, то хотя оно и повторялось бы несколько раз, его нельзя было бы выразить формой будущего, т.к. оно совершалось

в прошедшем (нельзя сказать: *бывало, я подойду к его двери и этим кончить*, нужно прибавить другой глагол, с которым *подойду* будет взаимно относиться: *я подойду, он откроит* и тому подобное). Следовательно, такого рода будущие зависят от словечка *бывало*, также они не относятся ко времени, о котором идет речь, но выражают **только порядок, в котором одно действие относится к другому**» [Киреевский 1861: 105–106]. Прототипические кратко-соотносительные конструкции (КСК), действительно, содержат по крайней мере две глагольные формы, передающие соотносительные действия, которые составляют одно сложное повторяющееся событие. Такое сложное событие, однако, может состоять и из двух простых, одно из которых выражено глагольным предикатом, а второе отобразено частью сложного предложения, непосредственно не содержащей глагольной формы. Рассмотрим такие КСК.

Некоторые из них представлены в сложном предложении, одну из частей которого можно считать неполным предложением. По определению М. А. Шелякина, неполными являются предложения с опущенными из состава полных предложений языковыми компонентами. Это прежде всего предложения с опущенным глаголом-связкой в форме настоящего времени или глагольным предикатом в форме прошедшего времени, которые однозначно не указывают на определенный субъект [Шелякин 2001: 180]. На нашем материале такими оказались КСК с несколькими однородными второстепенными членами предложения при одном предикате:

- (2) *Запахи тянулись за ним: то ударит в ноздри душиной полыню, то листьями бодана, то повет ветер высохшей мятой или увядшими цветами* (Е. Мальцев).
- (3) *Весенняя земля кажется теплой, но все еще холодит отвыкшие за зиму босые ноги... Бегом пронесешься вдоль всего села, потом в обратную сторону, потом вокруг ограды и все никак не остановишься, такая легкость и свобода обуют в первое время* (В. Солоухин).

К неполным относятся также предложения с предикативным наречием (*холодно, жаль, приятно*), при котором нет указания на конкретное лицо:

- (4) *И куда, на какую чужбину ни закинь судьба русского человека, хоть в самые теплые заморские края, где и зимы не бывает, а все холодно и неуютно на душе без тебя, береза* (Ф. Абрамков).
- (5) *Как тонет — топор сулит, а вытацишь — и топорщица жаль* (В. Даль).
- (6) *Когда похвалят — приятно, а когда бранят, то потом два дня чувствуешь себя не в духе* (А. Чехов).

Однако преобладающее большинство безглагольных КСК не содержит неполных предложений. Безглагольной в них, кроме предложений с *нет-нет* (да) и, является вторая часть, которая может быть формально независимой, если она представлена в бессоюзном предложении.

- (7) *Тетя Паша Женьку о чем-нибудь спросит — он с удовольствием делает. Его похвалят — он и рад и старается сделать как можно лучше* (В. Панова).

В то же время событие, выражаемое в ней, как правило, обусловлено событием первой части предложения. Как отмечалось в [Кюльмоя 1985], наиболее характерный тип отношений между частями КСК — отношения обусловленности (условные, уступительные), условно-временные и сопоставительные. В КСК с глагольными компонентами преобладают первые два типа отношений, в безглагольных — повышается количество предложений с сопоставительными отношениями. Тем не менее, взаимосвязь двух событий в КСК сохраняется, несмотря на отсутствие глагола. При этом возрастает роль глагола в первой части, который здесь всегда представлен одной из временных форм совершенного вида, что является характерной чертой прототипических КСК. Необходимо отметить, что КСК в целом характеризуются как специфический тип аспектуального контекста, допускающий употребление формы СВ будущего-настоящего времени. КСК с одним безглагольным компонентом демонстрируют преимущественное употребление СВ особенно ярко.

Такие КСК представлены в различных сложных предложениях — сложноподчиненных (8), сложносочиненных (9) и бессоюзных сочетаниях (10).

- (8) *И куда кругом ни глянь, все лед да лед* (Б. Житков).
- (9) *И Прасковья Ивановна не только на работе, но и всюду была покойной, рассудительной женщиной. Кажется, ничего и не поделала, а в доме уже порядок, и ни соринки не найти и дети во всем чистом, зачинном* (В. Солоухин).
- (10) *Городничий — хозяин города. Что бы ни было, отвечай; казначейство обокрадут — виноват; церковь сгорела — виноват, пьяных много на улице — виноват* (А. Герцен).

Сам тип сложного предложения, в котором могут быть КСК, определяется семантикой отношений между частями — временными, обусловленности, условно-временными, а также сопоставительными или разделительными. Это несколько сужает возможный круг предложений. Так, из сложносочиненных допустимы лишь предложения с неоднозначно характеризующими союзами *и*, *а*, *да* и разделительными повторяющимися *то...то...*, *ли... ли*; из сложноподчиненных — все, выражающие временную семантику или семантику обусловленности. Часть, не содержащая глагола, у таких конструкций различна и зависит от типа выражаемого события, которое может быть статичным или динамичным.

Если обуславливаемое событие можно отнести к **статичным, констатирующим некоторое состояние**, не предполагающее развития, то безглагольные компоненты КСК представлены бытийными предложениями или предложениями, непосредственно описывающими состояние, испытываемое субъектом и, как правило, содержащее предикативные наречия (категорию состояния).

КСК с безглагольной частью — бытийным предложением:

- (11) *А в рай твой, Алексей Федорович, я не хочу... да порядочно человеку оно даже в рай-то твой и неприлично, если даже там и есть он. По-моему, заснул и не проснулся, и нет ничего, поминайте меня, коли хотите... Вот моя философия* (Ф. Достоевский).

Сама КСК в (11) представлена в сложносочиненном предложении с союзом *и* с несобственно соединительным значением, передается воображаемая ситуация, соотносимая с планом будущего, в то же время из контекста вытекает возможность осмысления ситуации в обобщенном плане настоящего. Вторую часть предложения (*и нет ничего*), не содержащую глагола, можно отнести к бытийным предложениям с имплицитным пространственным локализатором *весь мир* [Арутюнова, Ширяев 1983].

- (12) *И уж выкидывал же он колена — утешение вспомнить! Утонул ли кто в реке, с колокольни ли упал и расшился — все это его рука* (М. Салтыков-Щедрин).

В сложносочиненном предложении с повторяющимся союзом *ли...ли* выражается ряд действий в качестве того или иного варианта повторяющейся ситуации. А. В. Бондарко не считает данный пример парной КСК [Бондарко 1971: 216], думается, однако, что это сочетание нескольких кратко-парных конструкций, объединенных одной заключительной частью, которую в таком случае нет необходимости повторять (*утонул ли в реке — его рука, с колокольни упал — его рука, расшился — его рука*).

- (13) *А нынешние как выйдут замуж, так никакого удовольствия от них нет* (Л. Леонов).
(14) *Мужчина-то куда захотел, туда и пошел, а девушке одна дорога* (Д. Мамин-Сибиряк).
(15) *Утром откроешь окошко, а он уже за работой* (Ф. Абрамов).

К бытийным предложениям можно отнести и вторую часть КСК (16), хотя она и осложнена отношениями тождества:

- (16) *А Обломов лишь проснется утром, первый образ в воображении — образ Ольги, во весь рост, с веткой сирени в руках* (И. Гончаров).

Во всех случаях в глагольной части употребляется та или иная временная форма СВ. А. В. Бондарко указывает, что контраст формы СВ будущего-настоящего и безглагольной части под-

черкивает выражение предшествования [Бондарко 1971: 202]. По-видимому, такую же функцию выполняет и соотношение «форма СВ прошедшего — безглагольная часть», тем более, что «Функционирование форм прошедшего времени близко к употреблению форм настоящего-будущего совершенного в плане абстрактного настоящего. Функции этих форм в данных условиях отчасти сходны. Почти всегда существует возможность замены форм на -л в контексте формами настоящего-будущего СВ» [там же: 139]. Обычным является совместное употребление сопоставляемых нами форм в одном контексте, в сходных условиях, см. (10).

КСК с предикативными наречиями для обозначения состояния:

- (17) *Грустно мне, когда вздумая, что время нашего возвращения так далеко* (С. Аксаков).

А. В. Бондарко отмечает, что когда форма СВ будущего-настоящего выступает в качестве 2-го члена конструкции, значение предшествования перестает быть подчеркнутым, как бы отодвигается на задний план [там же: 203].

- (18) *Когда на память мне неволью Придет взушенный ими стих, Я так и вспыхну, сердцу больно, Мне стыдно идиолов моих* (А. Пушкин).

Более разнообразны средства выражения **динамичного, развивающегося события**. Динамичность может передаваться рядом следующих средств:

а) междометиями, в том числе и отглагольными:

- (19) *Эта полячка, бывало, даже руку на него поднимала: сделает, бывало, истерику, да мах его рукою по очкам* (Н. Лесков).
- (20) *Висела тут картинка про медведей. Походили они на сусликов. Сидишь, бывало, закладываешь, и на них посматриваешь. Как заметишь, что суслики закувыркались, — стоп. Добрал* (В. Лаврентьев).
- (21) *И только, бывало, это самое задумая про кинематограф, и все у меня выходит ладно и чинно... Вдруг **трах!** На сцену является артиллерист* (А. Куприн).

б) опущенным, но при этом восстанавливаемым из контекста (относительно однозначно или с небольшими вариациями) глаголом:

- (22) *И правда, зверь начал ложиться через каждые сто шагов. Не успеет прилечь — **шаги и голоса** (В. Солоухин).*

Временное сложноподчиненное предложение, представляющее собой фразеологизированную конструкцию с опущенным союзом *как* и глаголом (*слышатся, раздаются*) в зависимой части.

- (23) *Прежде, бывало, чуть прислуга не угодит или что, как вскочит и — «**Двадцать пять горячих! Розог!**» (А.Чехов) — **(за)кричит, воскликнет**.*
- (24) *Вьельет ему, бывало, Круковский несколько кувшинов на голову, он пофыркает, вытрется мохнатым полотенцем и **сейчас же за карты, за книги, за чертежи** (А. Куприн) — **примется, сядет**.*
- (25) *Брак? Я не против брака, если муж глуп, богат и доверчив. Но если с первого же дня вы не сели верхом на муженька — **прочь брачные узы!** (А.Толстой) — **отбросьте, отриньте, отметите**.*
- (26) *Есть такие — **стащит что попало да в кабак** (А.Эртель) — **несет, но и идет**.*

в) компрессивно-вмещающими анафорическими компонентами *опять, снова*, указывающими на повтор события в том же виде, с той же внутренней последовательностью действий.

- (27) *[Я] взял собачонку на руки и стал **опять** кричать. Обессилю, потеряю голос, замолчу, **а потом опять** (А. Серафимович).*
- (28) *Кот ходил-ходил и набрел на избушку, в которой лесник жил; залез на чердак и полеживает себе, **а захочет есть — пойдет по лесу птичек да мышей ловить, наестся досыта и опять на чердак** — и горя ему мало (А. Афанасьев).*
- (29) *Любят, **а друг другу** несколько не уступают. **То сойдутся, то снова врозь...** (В. Лаврентьев).*

Соотношение особого типа наблюдается в КСК с компонентом *нет-нет (да, а) и...*, где фактически имеется соотношение не двух событий, а события и его отсутствия, точнее «отсутст-

вие действия — один акт его осуществления, наглядно представляющий несколько подобных актов, разделенных паузами» [Бондарко 1971: 212–213]. Если по поводу КСК отмечается, что в них создается «фикция единичности» события, когда фактически повторяющееся событие рассматривается на примере одного случая, то КСК с *нет-нет (да) и...* можно назвать фикцией соотносительности событий, когда одним из соотносящихся событий является отсутствие события как такового.

- (30) *Каждому писателю нет-нет да и захочется написать рассказ совершенно вольно, не думая ни о каких «железных» правилах и «золотых» законах, записанных в учебниках литературы* (К. Паустовский).
- (31) *У самых талантливых из них... нет-нет а и промелькнет вдруг нечто высокомерное...* (Ф. Достоевский).
- (32) *Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет да и взглянет на меня* (М. Шолохов).

Такой оборот может включать в себя настоящее или прошедшее НСВ:

- (33) *Одеваясь, он бормочет что-то, и, нет-нет, на губах его взрывается дудниковское имя* (Л. Леонов).
- (34) *Нет-нет и всплывала надежда* (И. Соколов-Микитов).

Однако эти формы, в отличие от формы настоящего-будущего СВ, не выделяют один акт действия, а обозначают его повторяемость как неопределенное множество нерасчлененных актов.

Во всех КСК с безглагольным компонентом, как и в прототипических конструкциях, следует отметить особую роль формы будущего-настоящего СВ. Ведь именно на примере таких конструкций К. С. Аксаков приходит к выводу: «так называемые будущие формы глагола независимы от времени. Следовательно, в русском глаголе нет формы будущего времени» [Аксаков 1875: 413]. Именно они послужили Н. П. Некрасову [Некрасов 1865] основой для утверждения об отсутствии у русского глагола категории времени. А. А. Потебня полемизировал с Н. П. Некрасовым, доказывая наличие времен в русском языке тоже на примере кратно-соотносительных конструкций. Он

указывал, что меткость в рассматриваемых выражениях «состоит вовсе не в том, что значение будущего времени в них теряется, а в том, что обычность действия обозначена будущим совершенным. [Потебня 1977: 125]. Обычность, кратность действия в русском языке, разумеется, может передаваться формами НСВ, более того, во всех описанных случаях формы СВ могут быть заменены на НСВ. Синонимичное употребление видовых форм — одна из особенностей КСК, однако именно СВ создает своеобразие этих построений в русском языке как в прототипических, так и в рассмотренных маргинальных типах КСК.

ЛИТЕРАТУРА

- Аксаков К. С. 1875 — О русских глаголах. *Полное собрание сочинений*. М. Т. 2, 407–438.
- Арутюнова Н. Д., Ширяев Е. Н. 1983 — *Русское предложение. Бытийный тип*. М.
- Бондарко А. В. 1971 — *Вид и время русского глагола*. М.
- Киреевский И. В. 1861 — Письмо к К. С. Аксакову. *Полное собрание сочинений*. М. Т. 1, 105–106.
- Кюльмоя И. П. 1983 — О понятии кратно-соотносительных конструкций и их признаках. *Ученые записки Тартуского университета*. Вып. 651, 58–69.
- Кюльмоя И. П. 1985 — *Структура и функционирование кратно-соотносительных конструкций в современном русском языке*. АКД. Л.
- Маслов Ю. С. 1954 — Имперфект глаголов совершенного вида в славянских языках. *Вопросы славянского языкознания*. Вып. 1. М. 68–138.
- Некрасов Н. П. 1865 — О значении форм русского глагола. СПб.
- Потебня А. А. 1977 — *Из записок по русской грамматике*. Т. IV. Вып. II. Глагол. М.
- Шелякин М. А. 1983 — *Категория вида и способы действия русского глагола*. Таллин.
- Шелякин М. А. 2001 — *Функциональная грамматика русского языка*. М.: Русский язык.

РОЛИ АКТАНТОВ В РАМКАХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СИНТАКСИСА

А. МУСТАЙОКИ

В предисловии к своей недавно вышедшей книге «Функциональная грамматика русского языка» М. А. Шелякин отмечает: «В настоящем пособии акцентируется внимание на подходе к функциональному описанию грамматики русского языка по принципу ‘от формы выражения (средства) к функции’, который, несмотря на длительную традицию в изучении языка, далеко не исчерпал себя и является необходимым этапом для осуществления другого принципа функционального описания языка — ‘от функций к форме выражения’» [Шелякин 2001: 3]. Поскольку подходом, используемым в настоящей статье, является как раз отмеченный М. А. Шелякиным противоположный принцип, иногда называемый также ономазиологическим или активным, для начала целесообразно показать на конкретных примерах два основных различия между этими подходами.

В разделе своей книги, в котором рассматриваются базовые модели утвердительных повествовательных предложений, М. А. Шелякин [Шелякин 2001: 202–224] приводит, между прочим, следующие схематические модели и примеры (С = субъект, П = предикат, О = объект):

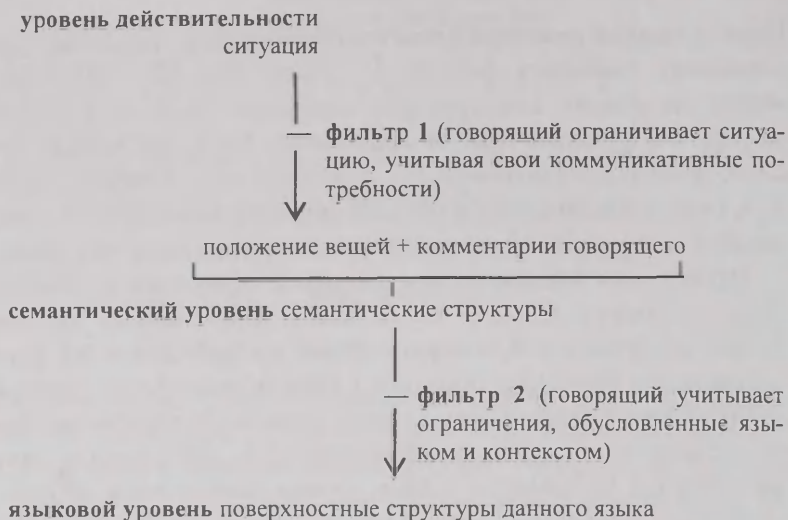
- (1) С (им. п.) + П: *Мальчик спит.*
- (2) С (им. п.) + П + О (твор. п.): *Он болеет гриппом.*
- (3) О (род. п. с предлогом у) + П (бытийный) + С (им. п.) *У меня озноб / грипп / боли в спине.*
- (4) С (дат. п. со значением лица) + П (связка + предикативное наречие): *Мне холодно.*
- (5) О (вин. п. со значением лица) + П (безличные глаголы со значением состояния): *Меня знобит.*

Первое важное различие касается организации описания, представления языковых фактов. В грамматике М. А. Шелякина вышеотмеченные конструкции описываются в пяти разных местах, а в функциональной грамматике (или синтаксисе) русского языка, составленной по принципу «от значения к форме», они (и некоторые другие конструкции) помещены в одном разделе под рубрикой «физиологическое состояние человека».

Второе основополагающее различие относится к понятийному аппарату работы. У М. А. Шелякина основные термины входят в формальный, поверхностный, уровень языка, а в функциональном описании обратного типа используется терминология семантического, смыслового уровня. Это целиком меняет схематическое представление структур. Например, в предложении (2) на семантическом уровне только один актант, и понятия субъекта и объекта (или их эквивалентов) получают совсем иные толкования.

Теоретической базой этой статьи служит модель функционального синтаксиса (далее — ФС), под которым имеется в виду разрабатываемая на кафедре русского языка Хельсинкского университета концепция, основывающаяся на принципе «от значения к форме», или точнее «от семантических структур к языковым средствам». Ее основные принципы и то, чем она отличается от других соответствующих концепций, изложены, например, в работах [Mustajoki 1993; Мустайоки 1997, 1999; Chesterman 1998]. Далее, готовится к печати книга «Теория функционального синтаксиса: от семантических категорий к языковым средствам». Таким образом, здесь мы можем ограничиться самым сжатым описанием ФС.

Основную идею ФС можно представить в виде схемы:



Сделаем некоторые уточнения к схеме:

1. Именно положение вещей, являющееся ограничиваемым и интерпретируемым говорящим фрагментом действительности, представляет собой то, о чем говорящий хочет что-то сказать. Положение вещей, как правило, намного беднее соответствующей ситуации (ср., напр., [Серебренников 1988: 79]).

2. Хотя исходным пунктом описания языка в рамках ФС является «доречевой», смысловой уровень существования языка, ФС никак не претендует на описание того, что действительно происходит в сознании человека при порождении речи. Этим вопросом занимаются психолингвисты, и пока без больших успехов (ср. [Мельчук 1974/1999: 13]). Семантический уровень ФС является конструктом лингвиста, описывающего язык по принципу «от значения к форме».

3. Семантические структуры не строятся на каком-либо определенном языке. Их универсальность, однако, относительна, поскольку нет гарантии, что на их основе можно описать все языки мира.

4. У лингвиста нет прямого доступа к семантическим структурам, а смысл, который ждет своего словесного выражения, находится в «черном ящике» вне наблюдения исследовате-

ля (ср. [Мельчук 1974/1999: 10]). Несмотря на это, мы должны постараться определить семантические категории как можно более подробно.

5. В отличие от генеративных моделей описания языка, переход от семантического уровня к выражению на уровне поверхностных структур не приводится в виде четких стадий, определяемых правилами перехода. Соответствия между этими двумя уровнями устанавливаются интуитивным способом: та или иная языковая структура является репрезентантом рассматриваемой семантической категории, если с ее помощью можно выражать данное значение.

6. Языковые структуры, репрезентирующие одну и ту же семантическую категорию, имеют общее денотативное значение, но разные презентативные значения, создаваемые конкретными формами выражения. Ср., напр.: [Адамец 1978: 33].

Рассмотрим сначала предложения (6)–(8).

- (6) *Нина дала последний кусок мяса собаке.*
- (7) *Собака получила (от Нины) последний кусок мяса.*
- (8) *Последний кусок мяса был дан собаке Ниной.*

Спорный вопрос о синонимичности пар предложений, отличающихся друг от друга только залогом (диатезой) — (6) и (8), снимается тем, что сказано выше в пункте 6: у них одинаковое денотативное (инвариантное) значение, но разные презентативные (поверхностные) значения.

Сопоставление смыслов, представленных в предложениях (6) и (7), ведет нас к более интересному вопросу о том, как нужно истолковать конверсивные предложения: представляют ли они а) одну и ту же ситуацию; б) одно и то же положение вещей? Очевидно, все предложения указывают на один и тот же отрезок действительности. Таким образом, ответ на первый вопрос будет положительным. Отвечая на второй вопрос, мы должны иметь в виду, что положение вещей отражает то, что говорящий хочет сказать. Кажется, в его интенции входит выражение того, что данная ситуация видится или с точки зрения Нины, или с точки зрения собаки. Следовательно, предложения (6) и (7) представляют разные углы зрения говорящего и

тем самым разные положения вещей. Отметим уже сейчас, что роли Нины и собаки в ситуации не меняются. Независимо от выбранной поверхностной структуры, Нина остается активным, действующим лицом в ситуации, а собака — получателем/реципиентом¹.

Итак, мы готовы более подробно рассмотреть некоторые ключевые вопросы семантического уровня ФС. Как указано в приведенной схеме, основным понятием является СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА. Поскольку в этой статье не обращается внимание на разные «компликаторы» (Каузация, Фаза действия, Модальная фаза и др.), «комментаторы» (Речевые функции, Авторизация) и «спецификаторы» (Время, Аспектуальность и др.), мы можем сосредоточиться на ЯДРЕ семантической структуры, которое является схематическим представлением положения вещей.

Ядро семантической структуры состоит из (некоего глубинного) предиката и из одного или нескольких актантов. В принципе нет необходимости давать актантам названия, характеризующие их роли; они могли бы называться просто актант₁, актант₂, актант₃ и т.д., как это делает, например, П. Адамец (1978). Но на практике целесообразно приписывать им определенные роли, иллюстрирующие их отношения к предикату.

Вопросу о составе и названиях актантов (семантических ролей, глубинных падежей) посвящено огромное количество научных публикаций. В книге М. В. Всеволодовой [Всеволодова 2000: 133–153] приводится еще одна, весьма подробная классификация «денотативных ролей», основывающаяся на синтезе разных трактовок. Здесь нет возможности углубиться в историю вопроса. Зато нам хотелось бы показать, как выглядит в общих чертах ролевой состав актантов в рамках ФС. Мы постараемся

¹ Если представить себе реальную ситуацию, в которой собака получает кусок мяса, степень активности участников ситуации может варьироваться даже постольку, поскольку собака активнее Нины, но это не меняет их типовые роли в процессе передачи куска мяса. В рамках любой грамматики, в том числе и в ФС, рассматриваются не отдельные речевые ситуации, а их схематические свойства.

провести анализ на как можно более конкретном уровне, но мы никак не претендуем на окончательность принятых решений.

Сначала необходимо подчеркнуть, что речь идет не о поверхностных структурах, а о семантических. Поэтому если искать эквивалент в теории валентности, то это скорее семантическая (логическая) валентность. В этой связи важны систематические различия между семантическим и поверхностным уровнями². Например, мы предполагаем, что в семантической структуре предложения (9) есть, кроме читающего человека, и эксплицитно не выраженный объект, ср. (9а). Поскольку анекдот всегда рассказывается кому-то, в семантической структуре предложения (10) необходимо это отметить. В предложении (11) есть инкорпорированный в глаголе инструмент-орудие, который может быть выражен и эксплицитно (11а). При выражении состояния погоды или природы на семантическом уровне предполагается один локативный актант (12), а слова *погода*, *дождь* и *гроза* не имеют своего репрезентанта в актантном составе, а сливаются в предикате.

- (9) *Вечером Виктор читает в постели.*
- (9а) *Вечером Виктор читает что-то в постели.*
- (10) *Игорь рассказал отличный анекдот.*
- (11) *Нина пилит дрова.*
- (11а) *Нина пилит дрова новой электропилой.*
- (12) *Завтра будет хорошая погода/дождь/гроза.*

В примерах, приведенных выше, на поверхностном уровне меньше членов предложения, чем в актантном составе семантической структуры, но возможно и обратное. Один тип случаев мы уже рассмотрели при обсуждении примеров (1)–(3). Широко распространены в русском языке аналитические выражения (*вести переговоры*, *положить начало*, *сделать покупки*), в которых семантически пустой глагол и дополнение вместе выражают предикат семантической структуры. Своего рода метаязыком

² Я. Г. Тестелец [Тестелец 2001: 156 и сл.], описывая систематические различия между семантическим и синтаксическим уровнями, прибегает и к разным терминам: ситуации имеют *партиципиантов*, а предикаты — *актантов*.

являются предложения (13)–(14), в которых о ролевом составе или других элементах семантической структуры упоминается отдельно.

(13) ... *В этом деле мы использовали наш новый топор.*

(14) ... *Это произошло поздно вечером.*

Нужно также упомянуть о так называемых объектах содержания (15), являющихся не объектами действия, а репрезентантами того же понятия, что и глагол. Подобные случаи легко допускают трактовку, в соответствии с которой с предикатом на семантическом уровне связан не объект, а элемент, отвечающий на вопрос *как*.

(15) **Малыш спит сном.*

(15а) *Малыш спит крепким сном.*

Перед тем как начать развязывать пучок актантов разного рода, отметим еще их ингерентные свойства. Актанты, способные контролировать свои действия или испытывать различные чувства, составляют категорию А³. Кроме того, различаются актанты предметные (В), вещественные (С) и отвлеченные (D).

Речь идет не о каких-либо постоянных свойствах разных сущностей действительности, а о том, какие характеристики говорящий дает им в данной ситуации. Так, например, в предложении (16), взятом из сказки, слово *молот* употреблено как слово, указывающее на одушевленное существо. Соответственно можно истолковать метонимическое употребление слова *университет* в предложениях (17) и (18).

(16) *Молот заплакал, услышав о смерти пилы.*

(17) *Университет удовлетворяет требованиям времени.*

(18) *Весь университет радуется новому ректору.*

³ Понятие одушевленности тесно связано с понятием агентивности, которое рассматривается в особенности в теоретических исследованиях по грамматике падежей. В общем-то одушевленность по-разному проявляется в зависимости от типа положения вещей. Передвижение и некоторые физиологические состояния легко ассоциируются с существами «более низких категорий». Эмоциональные состояния могут испытывать, очевидно, млекопитающие; действия же, связанные с работой мозга, обычно ассоциируются лишь с человеком.

При определении актантов или семантических ролей (падежей) принимаются разные стратегии. Одни ученые соблюдают минималистский принцип и удовлетворяются наименьшим числом разных ролей, а другие стремятся к как можно подробному их исчислению. Рекордом первого типа можно считать локалистическую модель Дж. Андерсона [Anderson 1971] с четырьмя глубинными падежами. Другой конец шкалы представляет, очевидно, М. В. Всеволодова [Всеволодова 2000], выделяющая больше 50 денотативных ролей. М. В. Всеволодова [Всеволодова 2000: 134] группирует их в пять классов: роли 1) субъектного, 2) объектного, 3) адресатного, 4) инструментного и 5) ситуативного типов. При дальнейшем рассмотрении мы будем опираться отчасти на эту классификацию.

Денотативным ролям (18) субъектного типа М. В. Всеволодова дает, вслед за А. Е. Кибриком (1992), название *протагонист*. Мы будем говорить о разных СУБЪЕКТАХ (S). Прототипичным субъектом можно считать актант со значением производителя (автора) действия или поступка (19). При таком положении вещей кто-то действительно что-то делает. Назовем данную роль СУБЪЕКТОМ-АГЕНТОМ (S-A). В предложении (20) S-A не выражен эксплицитно, но входит в семантическую структуру. К этому типу актантов целесообразно подключить и такие субъекты, которые контролируют (актуальное или неактуальное) состояние (21). S-A всегда относится к категории А.

Субъект-Агент

- (19) *Нетя убегает от злой собаки*⁴.

Посуда опять была вымыта Виктором.

Игорь думал, как всегда, о своих вещах.

По теннисному корту ползет червь.

- (20) *Репорт был плохо написан.*

- (21) *Нина долго стояла около дверей, мечтая об Игоре.*

Собака неподвижно лежала у камина.

⁴ Здесь (как и во многих других местах) мы используем поверхностные предложения для описания семантических структур. Это должно быть прочитано так, что данные поверхностные предложения являются репрезентантами определенного типа семантических структур и ролей актантов в них.

К примерам (21) близки случаи, в которых речь идет о владении каким-то имуществом. В них актант в принципе контролирует положение вещей, но, с другой стороны, его роль напоминает и ту, которая существует у Субъекта существования. Назовем эти актанты СУБЪЕКТОМ-ПОСЕССОРОМ (С-П).

Субъект-Посессор

- (22) У **Ивановых** новый Мерседес.
Свои деньги **Нина** хранит в сейфе.

В общую терминологию лингвистики вошло понятие экспериенсера. Под ним обычно подразумевают единственный актант эмоционального или физиологического состояния (23). Если выражено и конкретное место боли, его можно считать частью СУБЪЕКТА-ЭКСПЕРИЕНСЕРА (S-E) (24). В случаях реляционного эмоционального отношения можно также выделить S-E, «носителя» данного чувства (25). В роли S-E выступают только актанты категории А.

Субъект-Экспериенсер

- (23) У **матери** **Нины** рак / ангины / воспаление легких.
Мне было холодно / скучно.
Игорь был пьян / в хорошем настроении.
Боксер потерял терпение / сознание.
Меня тошнит / рвет.
- (24) У **меня** болит голова / рука / спина.
- (25) **Игорь** не может терпеть **Виктора**.
Нина любит **Игоря**.

Рассмотрим некоторые периферийные случаи, толкование которых не однозначно. Иногда к чувствам относится оттенок активной деятельности. Как правило, он, однако, носит второстепенный характер, и, таким образом, при положении вещей, представленном в предложениях (26), наличествует не S-A, а S-E. В предложениях (27)–(29) описываются ситуации, в которых актант категории А становится «жертвой» неожиданного или неконтролируемого события. В (27) существование S-E очевидно. На наш взгляд, так можно истолковать и примеры (28), хотя в них присутствие агентивности чувствуется сильнее. В примерах (29) тоже что-то происходит с актантом категории А,

однако мы договорились выше о том, что в конверсивных конструкциях состав ролей одинаков. Таким образом, *кошка* и *защитник* здесь — объектные актанты. Пример (30) мы интерпретируем так, что Виктор в нем не S-E, а Субъект-Посессор.

- (26) *Игорь восхищается спортивными машинами.*
Его поведение удивляет меня.
- (27) *С бабушкой обморок.*
- (28) *Нина громко чихнула.*
Игорь поскользнулся и упал на асфальт.
- (29) *Кошка попала под машину.*
(Машина наехала на кошку.)
Защитник получил клюшкой по рукам.
(Защитника ударили клюшкой по рукам.)
- (30) *Виктор потерял свой бумажник.*

Кроме вышеупомянутых случаев, в функции подлежащего поверхностных предложений часто выступают и актанты, которые ничего не делают и ничего не чувствуют (или, по крайней мере, об этом не рассказывается). Среди них есть актанты всех категорий (A-D). Такие случаи разделяются на актуальные (локализованные во времени, ситуативные) (31) и неактуальные (нелокализованные во времени, аситуативные) варианты положения вещей (32). Относительно последней группы можно только условно говорить о «ситуации» действительности. Предикаты этих вариантов положения вещей обозначают существование, характеристику или идентификацию актанта. Роль актанта в них — это своего рода антироль: он, собственно, не «участвует» в ситуации, а о нем просто что-то рассказывают. Из-за этого мы называем эту роль СУБЪЕКТОМ-НЕЙТРАЛОМ (S-N).

- Субъект-Нейтрал
- (31) *Цветы стояли в вазе.*
Мои руки / все бумаги были совсем грязными.
Воздушный шарик лопнул.
- (32) *Гномов / синих лимонов не существует.*
Студентка / машина / идея хорошая.
Урсула — немка / левша / школьница.

Перейдем к рассмотрению объектных актантов. М. В. Всеволодова [Всеволодова 2000: 144–145] применяет к ним общее на-

звание «пациенс»; он имеет 11 вариантов. Как и при рассмотрении разных видов субъекта, мы стараемся ограничиться меньшим количеством разных типов объекта. Ключевыми вопросами являются: нужно ли 1) отличать результативные объекты (результативы, креативы, элиминативы) (33) от таких, при которых мы не имеем дела с их существованием (34), 2) учитывать ингredientные категории актантов (33)–(34).

- (33) *Он приготовил прекрасный суп / хороший доклад.
Она уничтожила нас / документ / план.*
- (34) *Нина коснулась Игоря / стола / воды / важного вопроса.
Виктор привез с собой Петю / компьютер / хорошие новости.*

На первый вопрос мы можем ответить утвердительно. Если вообще различать подтипы объектов, то результативные объекты образуют в понятийном плане, безусловно, особый класс, несмотря на то, что существует немало неясных промежуточных случаев, в которых создание чего-либо нового, ранее не существовавшего, не очевидно (35)⁵. Таким образом, в семантических структурах примеров (33) и (35)–(36) существует ОБЪЕКТ-РЕЗУЛЬТАТИВ (O-R) (ср. [Богданов 1977: 55]). Решение выделить O-R как особый класс объектов подтверждается тем, что в одном и том же предложении / положении вещей может встречаться и объект другого класса (37) — факт, который часто считают одним из критериев определения семантических ролей.

Объект-Результатив

- (35) *Мы создали новую классификацию актантов.*
- (36) *Русские коллеги организовали отличный симпозиум.
Нина написала диссертацию.
Виктор связал себе свитер.*
- (37) *Мы построили сауну из сухостойных бревен.
Ср. Мы обработали сухостойные бревна и сделали из них сауну.*

⁵ При некоторых глаголах возможен как результативный, так и «нормальный» объект (*Нина копала яму / землю*). Вполне возможно, что наивный носитель языка не чувствует различия между ними.

В отличие от этого мы не видим основания различать объекты на основе того, в какую ингерентную категорию они входят. В принципе возможно было бы выделить, напр., Объект-Экспериенсер, но свойство объекта испытывать чувства редко играет существенную роль. Таким образом, выделим для актантов примеров (38) одну роль ОБЪЕКТА-ДИРЕКТИВА (O-Dr). Как показывают примеры, в русском языке (и во многих других европейских языках) встречается один и тот же глагол и структура предложения, независимо от категории актанта. При необходимости название объекта может быть снабжено индексом, подсказывающим категорию актанта. На основе примеров можно легко сделать вывод, что сами ситуации и Актанты-Объекты в них сильно отличаются друг от друга по конкретности.

Объект-Директив

- (38) *Петя подарил Урсуле книгу.*
Оля хлопала собаку по спине.
Виктор наградил детей шоколадом.
Государство сократило свои расходы.
Мы перенесли стол в зал / собрание на вторник.
Игорь ненавидит Игоря / спорт / свою родину.

Мы должны выделить, по крайней мере, еще один тип объектов, ОБЪЕКТ-ДЕЛИБЕРАТИВ, понятие довольно известное. Здесь мы имеем дело с положением вещей, в котором Субъект-Агент совершает интеллектуальные или речевые действия (39)⁶. Иногда выражается эксплицитно также O-Dr (40) или O-R (41).

Объект-Делибератив

- (39) *Нина долго рассказывала о своей поездке.*
 (40) *Нина рассказала хорошую шутку (= O-Dr) о шведах.*
 (41) *Группа психологов написала книгу (= O-R) о том, как приобрести друзей при помощи хорошего владения языками.*

В различных ситуациях передачи информации или предметов присутствуют, кроме Объекта, два актанта категории А: Субъ-

⁶ O-D почти всегда указывает на целостное положение вещей (P); ср. *Нина рассказала шутку о шведах* = *Нина рассказала шутку о том, каковы шведы.*

ект-Агент и РЕЦИПИЕНТ (R). Реципиенты бывают разные. Их рассмотрение позволяет нам затронуть и более общие вопросы, связанные с соотношением поверхностных и семантических структур.

Реципиент

- (42) *Петя дал Урсуле книгу.*
- (43) *Петя рассказал Урсуле новости.*
- (44) *Петя купил Урсуле книгу.*
- (44a) *Петя купил Урсуле книгу, но забыл дать ее ей.*
- (45) *Петя собирал для Урсулы цветы.*
- (45a) *Петя собирал для Урсулы цветы, но подарил их Оле.*
- (46) *Петя написал Урсуле письмо.*
- (47) *Петя связал Урсуле свитер.*

Приведенные выше примеры отличаются друг от друга тем, как тесно Реципиент связан с самой основной ситуацией. В (42) Реципиент является неотъемлемой частью ситуации (передача чего-нибудь предполагает существование получателя; если Петя дал Урсуле книгу, то та не могла ее не получить). В случае передачи информации (43) слушающий также является участником ситуации, но он может и не слышать или не слушать сообщаемое. В принципе примеры (44) и (45) допускают трактовку, согласно которой они указывают на два отдельных положения вещей (на покупку/собираание и передачу); ср. (44a) и (45a). Таким образом, данные поверхностные предложения можно было бы истолковать как результат конденсации (см. особенно [Мартынов 1982: 156–161]). То же самое касается примеров (46) и (47), в которых Реципиент находится еще «дальше» от основной ситуации. Однако, как нам представляется, во всех названных выше случаях говорящий видит лишь одно положение вещей, о чем свидетельствуют как раз предложения типа (44a) и (45a): подразумевается, что названный актанта является Реципиентом; если это не так, об этом нужно отдельно сказать.

Итак, согласно нашей трактовке, предложения (42)–(46) указывают на семантическую структуру, где лишь одно ядро, но они различаются по актуальным ролям Реципиента. В (42) и (43) присутствует непосредственный Реципиент, а именно ПОЛУЧАТЕЛЬ (42) или СЛУШАЮЩИЙ (адресат информации) (43), между

тем как в (44)–(47) присутствует потенциальный Реципиент, которого можно назвать ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ. Кроме того, следует выделить БЕНЕФИЦИАНТА, который — как видно из (48) — ничего не получает и не выслушивает, но в пользу которого или за которого совершается действие. Таким образом, выделяется четыре класса Реципиентов⁷.

(48) *Виктор завязал шнурки малышу.*

В семантических структурах вместе с Субъектом-Агентом нередко выступает и ИНСТРУМЕНТ — орудие или средство в широком понимании этих слов. При выделении разных Инструментов удобно использовать их ингерентные категории. Так, существуют инструменты предметные (I_B, 49), вещественные (I_C, 50) и отвлеченные (I_D, 51). Следует еще выделить довольно распространенный тип Инструмента — инклюзивный инструмент, являющийся частью Субъекта-Агента (52).

Инструмент

(49) *Нина открыла бутылку новым штопором.*

Я полил цветы из лейки.

Мы ехали на рынок на велосипеде.

(50) *Я полил цветы теплой водой.*

Лекарь-самоучка излечил меня каким-то чудодейственным лекарством.

(51) *Виктор утешал детей ласковыми словами.*

(52) *Игорь открыл дверь левой рукой.*

Инструмент — самый сложный из актантов с точки зрения того, нужно ли предполагать его существование на семантическом уровне. Дело в том, что Инструмент выражается эксплицитно, как правило, только в рематической позиции, т.е. в том случае, когда он содержит важную новую информацию. В конкретных же ситуациях действительности Субъект-Агент всегда использует какой-либо инструмент (инклюзивный или экс-

⁷ М. В. Всеволодова [Всеволодова 2000: 145–146] тоже выделяет четыре типа Реципиентов (адресатных ролей), однако внутренние классы не совпадают.

клюзивный). Мы едим *ложкой* или *вилкой*, мы режем *ножом* или *ножницами*, мы киваем и думаем *головой*.

Здесь возможны два обоснованных решения: 1) поскольку говорящий вообще выбирает из реальной ситуации только маленькую ее часть, можно истолковать это так, что в фильтре между действительностью и семантическим уровнем отсеиваются Инструменты, не существенные для информации; 2) Инструмент нельзя отсеять, поскольку он является неотделимой частью такого положения вещей, при котором Субъект-Агент делает что-то, напр., когда мы говорим *Он ест борщ*, мы не имеем в виду, что он ест его без ложки.

Мы склонны принять второе толкование. Заметим, что этот вопрос имеет, скорее всего, философское значение, поскольку его решение мало влияет на то, как языковые факты представлены в ФС.

Необходимо еще коротко затронуть вопрос о ролях странственных выражений. Очевидно, нужно выделить три случая: 1) Субъект-Локатив (53), который может быть не выражен (54); 2) Локатив, актант семантической структуры (55); и 3) Место-спецификатор, который может быть добавлен ко всем актуальным положениям вещей (56).

- (53) *На улице* дождь / *сильный ветер* / *туман*.
Погода в Англии была лучше, чем мы ожидали.
- (54) *Сегодня* холодно / *солнечно* / *туманно*.
- (55) *Дом* расположен / *находится на берегу озера*.
Из Екатеринбурга приехали гости.
- (56) *Игорь* иногда поет в *сауне*.

Мы не могли рассмотреть в рамках этой статьи все спорные вопросы определения семантической структуры и актантов в них. Интересны, напр., случаи, в которых позицию актанта в семантической структуре занимает просто положение вещей (57)⁸. Особого внимания требуют некоторые отвлеченные существительные, актуальное значение которых сильно привязано к кон-

⁸ Классификация предикатных актантов предложена В. Б. Касевичем и В. С. Храковским [Касевич, Храковский 1983]. Ср. также [Арутюнова 1988: 3-я глава].

тексту (58), ср. [Богданов 1977: 34]. Некоторые уточнения нужно сделать и в толкованиях роли природных «субъектов» (Элементив, Стихия, Сила, Force), широко дискутируемых в теории падежной грамматики (59).

- (57) *Бездельничанье Нины раздражает Виктора.*
Употребление алкоголя женщинами довольно новое явление, не так ли?
- (58) *Наука не способна решить все проблемы человека.*
Наука — достояние всего народа.
Наука стала священной короной современного общества.
Наука — интересная вещь.
- (59) *Дом был подожжен молнией.*

Итак, нами была представлена в общих чертах возможная классификация актантов. Мы не можем доказать, что она лучше других; правда, и обратное вряд ли можно доказать. Вообще в составлении любой классификации, касающейся языка, лингвист должен найти компромисс между строгой систематичностью и тем, что конкретно наличествует в языке (языках). Если соблюдать абсолютную последовательность при определении разных категорий, мы получаем классификацию, плохо отражающую языковую реальность. Если учитывать все повороты и детали, которые можно найти в языке (языках), создается «классификация», которая представляет собой уже не таксономическую систему, а собрание отдельных фактов.

Поскольку нет прямого метода для определения актантных ролей, исследователь старается подойти к этому вопросу с разных сторон. Важным материалом для нас служили факты отдельных языков (особенно русского, английского, немецкого, финского и шведского). Хотя исходным пунктом в ФС являются семантические категории, это не значит, что явления на уровне поверхностных структур нерелевантны; наоборот, они представляют собой важный материал при определении семантических категорий. Здесь, однако, важно все время осознавать, что

семантические категории — не то же самое, что языковые категории⁹.

Другим источником информации для нас служили тесты, в которых студенты-информанты должны были распределить предложения по группам в зависимости от того, какое положение вещей они представляют. К тому же можно использовать разные классификационные принципы, один из которых был назван выше: актанты *x* и *y* относятся к двум разным классам актантов, если они могут оказываться при одном и том же положении вещей одновременно. Это логичный и обоснованный принцип. Но его применение затрудняется тем, что иногда такие случаи трудно отличить от тех, в которых выступают два однотипных актанта (60). Кроме того, придуманные предложения не всегда отличаются естественностью (61), ср. [Сильницкий 1973: 382].

(60) *Я долго ссорился с Ириной.*

(Ср. *Мы с Ириной долго ссорились.*)

(61) *?Он повесил картину на стену молотком и двумя гвоздями.*

ЛИТЕРАТУРА

- Адамец П. 1978 — *Образование предложений из пропозиций в современном русском языке*. Praha.
- Арутюнова Н. Д. 1988 — *Типы языковых значений (оценка, событие, факт)*. М.
- Богданов В. В. 1977 — *Семантико-синтаксическая организация предложения*. Л.
- Всеволодова М. В. 2000 — *Теория функционально-коммуникативного синтаксиса*. М.
- Касевич В. Б., Храковский В. С. 1983 — Конструкции с предикатными актантами. *Категории глагола и структура предложения*. Л. 5–27.

⁹ Особенно трудно быть последовательным при рассмотрении таких категорий, у которых нет явного эквивалента в действительности. Из-за этого часто путают видовые и аспектуальные значения [ср. Мустайоки 1999].

- Кибрик А. Е. 1992 — *Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания*. М.
- Мельчук И. А. 1974/1999 — *Опыт теории лингвистических моделей «смысл ↔ текст»*. М.
- Мартынов В. В. 1982 — *Категории языка: семиологический аспект*. М.
- Мустайоки А. 1997 — Возможна ли грамматика на семантической основе? *Вопросы языкознания*. 3. 15–25.
- Мустайоки А. 1999 — Аспектуальность в теории функционального синтаксиса. *Die grammatischen Korrelationen (Grazer linguistische Slawistentage)*, hrsg. von B. Tošovic. 229–244.
- Сильницкий Г. Г. 1973 — Семантические типы ситуаций и семантические классы глаголов. *Проблемы структурной лингвистики*. 373–392.
- Серебренников Б. А. (отв. ред.) 1988 — *Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира*. М.
- Тестелец Я. Г. 2001 — *Введение в общий синтаксис*. М.
- Шелякин М. А. 2001 — *Функциональная грамматика русского языка*. М.
- Anderson, John M. 1971 — *The Grammar of Case: Towards a Localistic Theory*. London.
- Chesterman, Andrew 1998 — *Contrastive Functional Analysis (= Pragmatics & Beyond, New Series 47)*. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins 1998.
- Mustajoki, Arto 1993 — *Mielestä kieleen: kontrastiivisen funktionaalisen lauseopin teoriaa*. Helsinki.

ЕДИНИЦА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

Л. А. НОВИКОВ

Интерпретация языка как функционирующей системы предполагает, что его единицы входят одновременно в языковой (эмический) и речевой (этический) ряды, представляя собой на каждом уровне, с одной стороны, единство, а, с другой, диалектическое противоречие общего и отдельного (особенного), инвариант и его варианты. Сложившаяся система основных единиц языка лишь на самых нижних его уровнях обнаруживает эмическо-этическую структуру терминов. Речь идет о фонеме и морфеме, терминах, введенных в научный обиход И. А. Бодуэном де Куртенэ, их современной трактовке: фонема: фон(а), морфема: морф(а). Инвариантно-вариантные пропорции других единиц (лексического и грамматического слова, предложения) могут быть представлены только в специальном теоретическом метаописании: фонема: фона = морфема: морфа = лексема: лекса = грамма: грамма = синтаксема: синтакса [синтагема: синтагма] [Новиков 2002].

Семантическим коррелятом формы (звуковой, графической оболочки, знака) всех основных единиц языка, кроме фонемы, является семантема, которая, по словам Ж. Вандриеса, выражает «объективные элементы представлений» [Вандриес 1937: 77]. Она понимается обычно как односторонняя единица плана содержания языка, соотносимая с эмическим планом единиц.

У единиц номинативного типа, напр., слова (лексического, лексемы, и грамматического, граммема) в виде реализаций семантемы выступают семанты (аллосеманты). Так, содержание лексемы *стол* представляет семантема 'предмет мебели/еда, питание/учреждение, отдел', а лексы *стол₁* — семанта 'предмет мебели' и т.д.

Инвариантно-вариантная интерпретация единиц тянет за собой «цепочку» терминов более специфического характера: морфонема, графема, экспрессема, стилема и т.д.

Изучение языка в его эстетической функции как вторичной моделирующей системы также должно опираться на некий инвариант образности, выражаемый эстетической единицей, которая вбирала бы в себя суть поэтического языка и реализовалась бы в вариантах различных ступеней и разного характера.

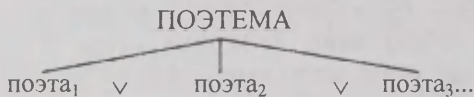
В истории филологии поиск такого обобщения находил отражение в разнообразных систематизациях образных средств языка: видов тропов и фигур, типов ритма, фоники, изобразительных грамматических структур и поэтических приемов композиции.

Язык как выражение [Кроче 1920: 90], словесное искусство применительно к творчеству писателя, литературным школам и направлениям обнаруживает взаимосвязанные уровни, соответствующие трем основным понятиям: язык (целенаправленный отбор речевых средств), стиль (характерные приемы их употребления) и поэтика (идейно-эстетически организованные композиционно-речевые структуры произведений). Эти понятия находятся в отношении последовательного включения: язык \subset стиль \subset поэтика [Новиков 2001: 281–282]. Поэтика оказывается в этой связи иерархически самым высоким понятием: она играет роль своеобразной доминанты в стилевой и структурной организации языковых средств текста, вбирая в себя по закону указанного выше включения все их специфические свойства. Поэтому инвариантную единицу языка как искусства следует соотносить именно с этим уровнем. Назовем ее поэмой.

Говоря о специфике поэмы как единице языка художественной литературы *par excellence*, следует отметить, по крайней мере, две ее особенности. Во-первых, она по сравнению с другими единицами не «закреплена» за каким-то определенным уровнем языка. Ее основу как единицы вторичной моделирующей системы могут образовать звук, морфема, лексема, грамматическая форма или конструкция, которые эстетически трансформируются в ней в осязаемые образы. Поэма интег-

рирует, синтезирует свойства разных единиц первичной моделирующей системы языка. Во-вторых, поэтема обладает двухуровневой структурой: в ней «поэтическая реальность» (2) надстраивается над обычной (1): объект₁ — знак₁ — смысл₁ ≈ объект₂ — знак₂ — смысл₂. Ср. у Н. В. Гоголя: бричка, упряжка в три лошади — *тройка*, ‘скоростной конный экипаж’ [обычная реальность] ≈ «необгонимая тройка», «вытянутые линии, летящие по воздуху» — *птица тройка* — ‘символ движения, Руси’ [поэтическая реальность] [Новиков 2001, II: 58–60]. Поэтема *тройка* как метафора отражает дихотомию «язык — речь»: ее нижний, языковой уровень — основа образа в поэтическом осмыслении на втором уровне. Объектом поэтического изображения является «квазипредмет» поэтической реальности [Шпет 1927: 176] с его «колеблющимся» смыслом [Тынянов 1965: 128] — от конкретного до символического. Подвижный и поэтому ощутимо воспринимаемый смысл поэтемы как языковой единицы объясняется ее необычным, «смещенным» употреблением, отступлением от общепринятого узуса.

Структура поэтемы как эмической единицы изоморфна строению основных языковых единиц. Ее инвариантное и часто неопределенное, «колеблющееся» значение реализуется в тексте в виде взаимоисключающих друг друга в одной и той же позиции поэт:



а л л о п о э т ы

Многосмысленный и многоликий образ пушкинского памятника как поэтема — система метафорических поэт (*памятник нерукотворный, [вознесся] главою непокорной, [душа] в заветной лире*), последовательно сменяющих друг друга в разных позициях и развивающих общую тему в текстовом семантическом поле. «Наплывы» элементарных образов-поэт, фиксируемых кратковременной памятью и дающих намеки на разные ракурсы изображения квазипредмета, не проходят бесследно,

а суммируются в единое подвижное и расчлененное целое в долговременной памяти о произведении в целом. Семанты поэт интегрируются в семантеме поэтемы: 'необычный, невиданный монумент / независимый и свободный великий поэт / бессмертная поэзия'. Для многих текстов поэтема — выражение общего в произведении, реализуемого в отдельных его проявлениях; она может быть образным названием-заглавием целого произведения: «Мертвые души» Н. В. Гоголя, «Гроза» А. Н. Островского, «Идиот» Ф. М. Достоевского, «Человек в футляре» А. П. Чехова, «На дне» М. Горького и т.п. Поэтема может иметь и единственную реализацию.

По своей структуре поэтема может быть разной степени «протяженности» и сложности: от слова и сочетания слов до целого фрагмента и всего текста, но она должна быть как словесный образ «эстетически организованным структурным элементом стиля литературного произведения» [Виноградов 1963: 119].

Теория поэтемы находится в самом начале ее разработки, и очень многое остается здесь неясным и неопределенным. Однако и теперь очевидно, что такие «клеточки» поэтической речи, взаимодействуя друг с другом, создают сложные расчлененные художественные структуры, вовлекая в свою сферу как доминанты и, казалось бы, лишенный эстетической ценности «упаковочный» языковой материал и тем самым способствуя созданию общей образности текста.

Одной из важнейших задач в разработке теории художественной речи является создание общей таксономии поэтем, основанной на раскрытии ее иерархической структуры и обосновании детерминирующего инварианта ее образности. Из множества произведений, в которых поэтемы (аллопоэты) функционируют синтагматически как единицы текста, должно быть выбрано, так сказать, вынесено за скобки то существенно общее, что позволяет представить их и как системы парадигм поэтического языка в отвлечении от конкретных текстов.

В основу детерминанты поэтической образности может быть положен прием о с т р а н н е н и я в словесном искусст-

ве, предложенный В. Б. Шкловским¹. В известной работе «Искусство как прием», опубликованной в сборнике «Поэтика» [Петроград 1919], молодой Шкловский писал, что для того, чтобы «вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи», оживить «стертые», привычно безликие слова, существует искусство: «Целью искусства является дать ощущение вещи как видение, а не как узнавание; приемом искусства является прием “остранения” вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, т.к. воспринимаемый процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен; искусство есть способ пережить деланье веди, а сделанное в искусстве не важно» [Шкловский 1919: 105]. В. Б. Шкловский отмечает, напр., что остраннение у Л. Н. Толстого заключается в том, что он не называет вещь ее привычным именем, а описывает ее, как бы в первый раз увиденную («странную»), «причем он употребляет в описании вещи не те названия ее частей, которые приняты, а называет их так, как называются соответственные части в других вещах» [там же: 106]. Чаще всего это композиционный прием. Так, в «Холстомере» рассказ ведется «от лица лошади, и вещи остранены не нашим, а лошадиным их восприятием» [там же].

Однако в остраннении было бы неправильно видеть только композиционный прием изображения вещей, событий через «непонимание героя», а потому особенное, ярко осязаемое. Интуитивно В. Б. Шкловский чувствовал, что оно распространяется и на язык: «Я лично считаю, что остраннение есть почти везде, где есть образ» [там же: 109]. Развивая эту мысль, можно сказать, что остраннение — не только прием композиции, как обычно считают (изображение через «непонимание», «странное», «необычное», а потому и яркое художественное), но и инвариант языковой поэтической образности. Оно лежит в основе не только необычного

¹ В. Б. Шкловский в последние годы своей жизни и деятельности считал написание этого термина с одним «н» («остранение») ошибочным и стал писать его с двумя «нн» («остраннение»). См. об этом [Новиков 2001: 56, 780].

описания и восприятия вещей и событий [Шкловский 1928], но и языковых словесных образов: тропов и фигур, всех поэтем.

Остраннение как выражение поэтического воззрения человека на мир — необычное сопоставление предметов (предметных рядов) А и В, рождающее в его восприятии в результате их соположения и взаимодействия новое представление с «приращенным» смыслом об обозначаемом и соответствующую эстетически значимую номинацию-поэтему С в виде сочетания слов, предложения и т.п. Нестандартная индивидуально авторская сочетаемость слов является «синтагматической техникой» словесного искусства: «Что такое поэзия? А вот что: союз двух слов, о которых никто не подозревал, что они могут соединиться и что, соединившись, они будут выражать новую тайну всякий раз, как их произнесут», — проникновенно сказал испанский поэт и драматург Ф. Гарсия Лорка.

Остраннение как источник «самодвижения» и инвариант образности уходит глубокими корнями в мифологию, давшую позднее языку поэтические изобразительные средства. Поэтическое толкование действительности органически присуще человеку, как и научное. Благодаря остранненному взгляду на мир оно делает его восприятие необычным, как бы «смещенным», а потому и ярким. «Образ, — отмечал Г. Г. Шпет, — набрасывает на вещь гирлянды слов-названий, сорванных с других вещей» [Шпет 1923: 39].

Признание лингвопоэтического статуса остраннения открывает новый ход мысли в единой систематизации тропов и фигур как поэтем. Необычное («странное» для «практического языка»), соположение и сопоставление предметов А и В при реализации эстетической функции языка дает им новое (обычно составное) название, поэтическую номинацию, или поэтему, — С:

ОСТРАННЕНИЕ
как прием и инвариант образности

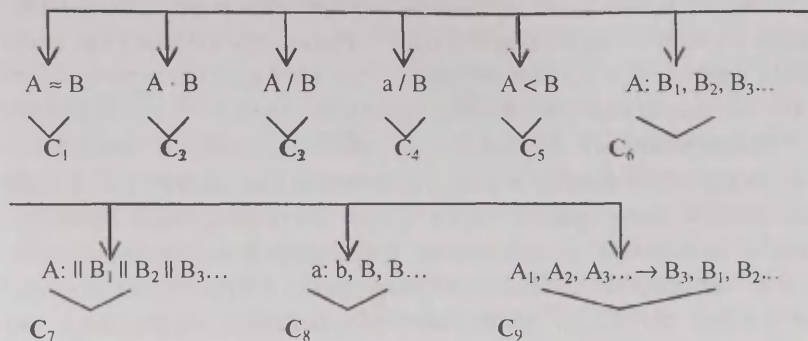


Схема иллюстрирует механизмы остраниения в виде поэтем: пяти тропов, трех фигур и одной композиционной. В каждой из них, содержащей инвариант остраниения, эстетический эффект образности реализуется по-своему.

Обратимся сначала к рассмотрению поэтем-тропов.

1. Сравнение — A (*лед неокрепший*) \approx B (*тающий сахар*) $>$ C_1 (*лед неокрепший словно как тающий сахар*):

Лед неокрепший на речке студеной
Словно как тающий сахар лежит...

(Н. А. Некрасов)

Предметы и их номинации, обычно не соотносимые, сравниваются при помощи союза *словно как*, получая вторичное образное семантическое согласование (основание — хрупкость, белизна, блеск).

Сравнение следует признать исходным тропом, наиболее наглядно и полно воплощающим остраниение как расчлененное сопоставление.

2. Метафора — A (*жизнь*) \cdot B (*мгла*) $>$ C_2 (*жизни мгла*):

Двадцатый век... еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла...

(А. А. Блок)

В отличие от предшествующего тропа метафора — сравнение нерасчлененное, «свернутое»; это как бы итог сравнения, не

частичное уподобление исходных имен предметов ($A = B$), а их умножение, конъюнкция ($A \cdot B$). Во втором компоненте метафорического образа — *мгла* ‘мрак, тьма’ актуализируется и развивается сема ‘непроглядность’ по причинной импликации сходства: → ‘безрадостная, безотрадная’ (ср. *непроглядная жизнь, жить (жизнь) без просвета (просвету)* и т.п.).

3. Метонимия — A (*бокал*) / B (*шипение, пенистый*) > C_3 (*шипенье пенистых бокалов*):

...Шипенье пенистых бокалов...

(А. С. Пушкин)

И здесь мы имеем дело с остранненным, «смещенным» обозначением одного, незадуманного, угадываемого предмета (вино, шампанское) через другой (бокал) благодаря их соположению, смежности как вестимого и вместилища.

4. Синекдоха (как разновидность метонимии, *pars pro toto*) — a (*жилет*) / B (*пригнули головы, остановились, пробежали*) > C_4 (*жилеты пригнули головы, остановились, побежали*):

...раздался оглушительный лопающийся пушечный выстрел, пикейные жилеты пригнули головы, остановились и сейчас же побежали обратно (И. Ильф, Е. Петров).

Здесь прослеживаются те же закономерности остраннения, что и в предыдущем примере, однако в отличие от последнего в этом случае обозначена принадлежность незадуманных субъектов (*жилет* — a), по которой благодаря предикатам (B) они узнаются.

5. Символ — A (*парус*) < B (*одинокий, ищет, кинул; alter ego поэта*) > C_5 (*парус одинокий, ищет, кинул*):

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?

(М. Ю. Лермонтов)

Суть символа как переживаемого образа состоит в выходе за пределы обозначаемого предмета (объекта), в глубинном многозначном смысле, вбирающем в себя все содержание стихо-

творения. Парус — символ одиночества и мятежности. Эта поэтема раскрывается в стихотворении с помощью системы предикатов-поэтем.

Теперь обратимся к анализу некоторых фигур-поэтем.

6. Повтор — А (*перли*): В₁ (*перли*), В₂ (*так перли*), В₃ (*так перли*) > С₆ (*перли, перли, так перли, так перли*):

Уж и перли, и перли в подъездные двери — так перли, так перли! (А. Белый).

Движение, напор толпы изображается остранненно-экспрессивно путем многократного повторения глагола (в двух последних случаях с наречием усилительного значения), хотя по сути действие здесь одно и в «практическом языке» могло бы быть обозначено однократным употреблением этого глагола.

7. Параллелизм — А (*[я не знаю], где граница*): || В₁ (*между Севером и Югом*), || В₂ (*меж товарищем и другом*), || В₃ (*между пламенем и дымом*), || В₄ (*меж подругой и любимой*) > С₇ (*[я не знаю, где] граница между Севером и Югом, меж товарищем и другом, между пламенем и дымом, меж подругой и любимой*):

Я не знаю, где граница
 Между Севером и Югом,
 Я не знаю, где граница
 Меж товарищем и другом...
 ... Я не знаю, где граница
 Между пламенем и дымом,
 Я не знаю, где граница
 Меж подругой и любимой.

(М. А. Светлов)

Противоречивая взаимосвязь между понятиями, отсутствие резких границ между ними передается через, казалось бы, неоднородное («странное» совмещение смыслов параллельных конструкций, выявляющее общность сопоставлений в поэтеме С₇).

8. Градация — а (*ручей*): в (*река*), В (*озеро*), В (*океан*) > С₈ (*ручьи, реки, озера, океаны [слез]*):

При одном предположении подобного случая вы бы должны были ... испустить ручьи... что я говорю! Реки, озера, океаны слез!.. (Ф. М. Достоевский)

Бурное проявление эмоций передается остранненно через предметный ряд как нарастание степени признака состояния.

Наиболее сложными являются поэмы композиционного уровня текста.

9. Сюжет как прием композиции — A_1 (довести мысль до), A_2 (позабыть), A_3 (отлично) → B_3 (отлично), B_1 (довести мысль до), B_2 (позабыть) > C_9 :

Отлично, отлично, отлично.

Теперь самое существенное, это — довести мысль до той степени неопределенности, при которой она совпадает с жужжанием. И затем — позабыть (М. Е. Салтыков-Щедрин).

Так начинается один из разделов «Дворянской хандры» писателя. Привычный фабульный порядок здесь «нарушен» сюжетным — выносом оценочного предиката на первое место: B_3, B_1, B_2 (> C_9). Представители ОПОЯЗа разграничивали понятия фабулы как развития самих событий и сюжета как порядка, способа их художественно-остранненного, необычного изложения. Вспомним сознательное нарушение фабульной линии в композиции (расположении глав) романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» для создания двойной проекции повествования, раскрывающей психологический портрет Печорина, преднамеренную сюжетную «задержку» повествования о детских годах и проделках будущего «приобретателя» Чичикова в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя, представленного только в одиннадцатой главе, перенесение, вклинивание в текст романа главы «Сон Обломова», раскрывающей корни обломовщины у И. А. Гончарова.

Поэтемами могут быть единицы разных уровней языка и различной протяженности.

Это может быть звук:

У! как теперь окружена
Крещенским холодом она!

(А. С. Пушкин)

Так и слышишь чтеца, тянущего, на полстиха вытягивающего это «у», в знак сочувствия онегинскому чувству [Вейдле 1980: 166].

Не говоря уже об образных лексемах, это могут быть индивидуальные авторские словообразовательные структуры, грамматические формы (ср., напр., *свин*, *стрекозел*, *прозаседавшиеся*, *аврорьих (башен сталь)*, *(в мягких) мебелиях* у В. В. Маяковского), заглавия произведений («Парус» М. Ю. Лермонтова, «Буревестник» М. Горького как символы соответственно одиночества, мятежности и грядущей революции), наконец, сами произведения как системы поэт, реализующих сложную расчлененную поэему.

Рассказ А. П. Чехова «Моя “она”» (его заглавие и весь текст) представляет собой развернутую поэему-загадку, «разгадываемую» с помощью развертывающейся системы аллопоэты в основном предикативного характера. Благодаря остранным изображению одной из предосудительных человеческих склонностей как одушевленного существа субъект высказываний или его трансформы получают «колеблющийся» смысл, имплицитно не только собственно текстовое, но и образно-подтекстовое значение соотносительных предикатов или иных характеристик, осознаваемое благодаря «челночнообразному», по выражению Л. Ю. Максимова, восприятию текста в прямом и обратном направлениях. Высказывания выступают как аллопоэты, реализующие общий смысл (семантему) поэемы (курсив, кроме последнего слова, мой. — Л. Н.):

Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, *родилась раньше меня*. Правы они или нет, но я знаю только, что я не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и не чувствовал *над собой ее власти*. Она не покидает меня день и ночь; я тоже не высказываю посползновений *удрать от нее*, — *связь*, стало быть, *крепкая, прочная*... Но не завидуйте, юная читательница!.. Эта *трогательная связь* не приносит мне ничего, кроме несчастий. Во-первых, моя «она», *не отступая от меня* день и ночь, *не дает* мне заниматься делом. Она *мешает* мне читать, писать, гулять, наслаждаться природой... Я пишу эти строки, а она *толкает* меня под локоть и ежесекундно, как древняя Клеопатра не менее древнего Антония, *манит* меня *к ложу*.

Во-вторых, она *разоряет* меня, как французская кокетка. За ее привязанность я пожертвовал ей всем: карьерой, славой, комфортом... По ее милости я хожу раздет, живу в дешевом номере, питаюсь ерундой, пишу бледными чернилами. Всё, всё *пожират* она, *ненасытная!* Я ненавижу ее, презираю... давно бы пора *развестись с ней*, но не развелся я до сих пор не потому, что московские адвокаты берут за развод четыре тысячи... *Детей у нас пока нет...* Хотите знать *ее имя?* Извольте... Оно поэтично и напоминает Лилю, Лелю, Нелли...

Ее зовут — *Лень*.

Ключ к восприятию подтекста миниатюры А. П. Чехова дан уже в первой фразе: [*она*] *родилась раньше меня*. Ср. у В. И. Даля: *Лень прежде нас родилась* [Даль 1905]. Этот брезжащий свет образного смысла становится более ярким в последующих аллопоэтах при ретроспективном восприятии текста от его последней фразы.

Поэтема — единица эстетической коммуникации, искусства, суть которого Л. Н. Толстой определил так:

Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их [Толстой 1983: 80].

Эстетическая словесная коммуникация предполагает не только творчество писателя, но и сотворчество читателя, которое порождает осязаемое поэтическое восприятие изображаемого. Важнейшая особенность поэтем как основных носителей образности — диалектическое противоречие их структуры, семантики, которые кажутся нестандартными, «странными» с точки зрения обычной коммуникации [Новиков 2001: 94–111].

Эстетический эффект восприятия текста возникает у читателя там и тогда, где и когда у него удерживаются в сознании и взаимодействуют два плана изображения — обычный и остранный, происходит творческий процесс «снятия» противоречия, их синтезирование в новое качество — образ. Подвижность смыслов поэтем как обозначений «квазипредметов», зыбкость намеков в их очертаниях («как бы», «как будто») ле-

жат в основе осязаемого восприятия словесных образов литературного произведения.

Сказанное хорошо разъяснит фрагмент стихотворения А. Мариенгофа:

Ночь, как слеза, вытекла из огромного глаза
И на крыши сползла по ресницам.

Противоречия обыденного языка, формальной логики, рассудка воспринимаются разумом (в понимании И. Канта и Г. В. Ф. Гегеля), в языке художественной литературы, диалектике как остранненные образы: *ночь ≠ слеза, вытекла из глаза, сползла по ресницам* → *ночь / слеза вытекла*.

В результате сравнения *ночь ≈ слеза* возникает двойное и подвижное изображение: реальное (*ночь [опустилась] на крыши*) и образное (миф), вызывая у читателя художественный эффект «полуверия» (half-belief), по выражению К. И. Чуковского. Характерные эпитеты существительного *слезы* (*алмазные, блестящие, бриллиантовые, прозрачные, хрустальные, ясные* [Горбачевич, Хабло 1979: 406]), присутствующие в языковом сознании носителей языка, и семантика глагола *сползла* 'медленно, постепенно опустилась' придают картине наступления ночи оттенки прозрачности и плавности.

Исследование структуры, семантики поэтем и разработка их таксономии на основе приема остраннения позволит вскрыть системные закономерности даже в таком, казалось бы, безбрежном океане «языковых отклонений», как поэтический язык.

ЛИТЕРАТУРА

- Вандриес Ж. 1937 — Язык. *Лингвистическое введение в историю*. М.
 Вейдле В. 1980 — *Эмбриология поэзии*. Париж.
 Виноградов В. В. 1963 — *Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика*. М.
 Горбачевич К. С., Хабло Е. П. 1979 — *Словарь эпитетов русского литературного языка*. Л.

- Даль В. И. 1905 — *Толковый словарь живого великорусского языка*. Т. 2, стлб. 721. СПб.—М.
- Кроче Б. 1920 — *Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика*. М.
- Новиков Л. А. 2001 — *Избранные труды*. Т. II. Эстетические аспекты языка. М.
- Новиков Л. А. 2002 — Таксономия языковых единиц. Опыт метаописания. *Филологические науки*. М. № 6.
- Толстой Л. Н. 1965 — Что такое искусство? *Собрание сочинений в двадцати двух томах*. Т. XV. М.
- Шкловский В. 1919 — Искусство как прием. *Поэтика. Сборники по теории поэтического языка*. I, II. Пг.
- Шкловский В. 1928 — *Матерьял и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир»*. М.
- Шпет Г. 1923 — *Эстетические фрагменты*. III. Пб.
- Шпет Г. 1927 — *Внутренняя форма слова*. М.

ГРАММАТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СЛОВАРЕ VS. ЛЕКСИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ГРАММАТИКЕ

Б. Ю. НОРМАН

Каково отношение между лексикой и грамматикой в системе языка и, соответственно, каким оно должно быть в лингвистическом описании? Как известно, словари традиционно дают лишь минимум грамматической информации о слове. Применительно к славянским языкам, это род для существительного, вид для глагола, неполнота или избыточность парадигмы, а также какие-то отклонения (исключения) в словоизменении. Точно так же грамматики дают случайную, неупорядоченную информацию о лексических единицах — без учета их семантической филиации, частотности употребления, связей с другими словами и т.д. Для грамматики лексема — лишь необходимый материал для демонстрации морфологического или синтаксического правила.

К примеру, если в грамматике русского языка говорится о словоизменении существительных, то в качестве примера вполне может быть приведена парадигма слова *дом*: ед. ч. *дом, дома, дому, дом, домом, (о) доме*; мн. ч. *дома́, домов, домам, дома, домами, (о) домах*. При этом грамматику совершенно не интересует то, что в некоторых своих значениях это слово не употребляется во множественном числе (так, в выражениях типа *здесь мой дом, выйти из дома, хлопотать по дому* и т.п. множественное число практически невозможно!).

Точно так же при обучении правилам построения высказывания, т.е. синтаксису, лексика подбирается случайно, хаотично. В частности, даже на самом начальном этапе обучения

русскому языку ребенку предлагаются грамматические образцы, далеко не идеальные с точки зрения используемой в них лексики (частоты употребления слов, их стилистических коннотаций и т.п.). Вот примеры предложений из «Азбуки» 1991 года издания: *Нина у осины. Инна у сосны. У Сани коса. Коси, коса! И у Аси коса. У Нины сок. У Сани и Никиты окуни. Алла стоит около куста. У Иры растут кактусы. Папа варит суп. Барсуک спит в норе.* Вряд ли носителю русского языка придется когда-либо в реальной жизни произносить «Нина у осины» или «Алла стоит около куста». Понятно: это псевдопредложения (по В. А. Звегинцеву), т.е. своего рода «глокие куздры», созданные исключительно в демонстрационных, учебно-грамматических целях, и подбор лексики здесь осуществляется по иным, посторонним (например, фонетическим) признакам.

Таким образом, лексика и грамматика предстают в описании как два самостоятельных (чтобы не сказать — изолированных) раздела языка. На самом же деле — в сознании носителя языка — они проникают и перетекают друг в друга, они внутренне взаимосвязаны и взаимно обусловлены. Потому и описание языка, если мы хотим, чтобы оно было полным и адекватным, должно носить интегральный характер. Попытки интегрального описания лексики и грамматики русского языка уже делались и активно продолжают в наше время. В качестве примеров можно привести работы Ю. Д. Апресяна, И. А. Мельчука и А. К. Жолковского, а также Ю. Н. Караулова, А. А. Зализняка, Д. Н. Шмелева, Г. А. Золотовой и др. Причем интегральное описание языковой системы может идти как в направлении «от лексики к грамматике», так и наоборот — «от грамматики к лексике». Чем детальнее (подробнее, тщательнее) мы будем описывать систему лексических единиц (вплоть до отдельных лексико-семантических вариантов в рамках лексем), тем ближе, непосредственной подходим мы к семантике грамматической. И наоборот, чем полнее мы стремимся описывать грамматическую семантику, тем неизбежнее выходим на лексико-семантическую классификацию, на особенности структуры лексической системы. Фактически вся пробле-

вся проблема будет сводиться к тому, какой способ описания выгоднее, экономнее, доступнее для пользователя (см. обзор в: [Кубрякова 1995]).

Разумеется, особенности лексической семантики можно связать с комбинаторикой и представить их через особенности сочетаемости лексем — о чем свидетельствует многолетний опыт составления словарей сочетаемости, а в последнее время и толково-комбинаторных словарей. Но в языках флективного типа с богатой системой словоизменения (таких, как большинство славянских языков) в качестве критерия и диагностирующего признака лексико-семантических различий удобно принять особенности морфологической парадигмы. В самой этой идее ничего нового нет, однако применение ее на практике, можно сказать, только начинается.

Изучение особенностей морфологической парадигмы может оказать существенную помощь в лексикологической и лексикографической работе. Сошлюсь здесь на одного из уже упоминавшихся исследователей — Ю. Н. Караулова. В своем введении к «Ассоциативной грамматике русского языка» он пишет: «...Грамматика, которая находится в распоряжении стихийного носителя языка, вся сплошь лексикализована, привязана к отдельным лексемам...» [Караулов 1993: 6]). По его же данным, от 44% до 73% всех ответов в ассоциативной статье имеют «грамматикализованный» характер, т.е. направлены на создание словосочетаний и высказываний [там же: 9]. Действительно, как показывают эксперименты, грамматические правила хранятся в сознании носителя языка не в абстрактной, «алгебраической» форме — они привязаны к лексическим прототипам, к характерным, показательным образцам. Это касается как словоизменения, так и синтаксических моделей. Понятно, что, скажем, семантико-синтаксическая функция субъекта легче воплощается в словах типа *Петр, инженер, внучка*, чем в словах типа *мыло, пространство, синева* (и проиллюстрировать ее легче на примере первого ряда слов, чем второго). Именно соблюдение или несоблюдение соответствия между лексической семантикой слова и его синтаксической, т.е., говоря шире, грамматической, функцией рождает проти-

вопоставление так называемых изосемических и неизосемических конструкций (и, по сути дела, всю языковую метафорику) — см.: [Золотова 1992: 533; Dirven, Verspoor 1998: 41–42] и др.

В данном случае я хотел бы на конкретных примерах из русского языка показать, как грамматика «прорастает» в лексику — это значит: как грамматические семы становятся носителями, представителями, «шифрами» лексического значения или хотя бы какой-то его части. Если же избирать путь описания от лексики к грамматике, то задачу можно было бы сформулировать следующим образом: показать, как лексическое значение (в частности, лексико-семантический вариант слова) оказывается связанным определенными грамматическими обязательствами.

Обратимся вначале к грамматической категории числа. Хорошо известно, что на фоне подавляющего большинства существительных, располагающих двумя числовыми значениями и формами — единственного и множественного числа, существует некоторое количество исключений — слов, ограниченных в своем функционировании только множественным либо только единственным числом (именуемых соответственно *pluralia tantum* и *singularia tantum*). Уже с этим общим противопоставлением соотносится выделение важнейших лексико-грамматических разрядов существительных — таких, как имена нарицательные и собственные, конкретные и отвлеченные, а также вещественные и собирательные. В рамках групп существительных *pluralia tantum* и *singularia tantum* возможна более детальная классификация, с выявлением семантических оснований отдельных лексических подгрупп. Например: среди *pluralia tantum* выделяются названия парных предметов (*ножницы, очки, сани* и т.п.), названия ряда веществ (*дрожжи, духи, чернила* и т.п.), названия отходов или остатков (*опилки, помои, выскки* и т.п.), названия повторяющихся или растянутых во времени событий (*каникулы, именины, выборы* и т.п.) и др. И хотя эта семантическая мотивация числового ограничения весьма условна, нельзя сказать, что ее вообще не существует.

Однако, противопоставляя двучисловые существительные существительным одночисловым, лингвисты, во-первых, не

всегда отдают себе отчет в том, как многочисленны, как естественны данные «исключения» в системе языка. Что касается *singularia tantum*, в свое время А. А. Зализняк обратил внимание на то, что потенциально (при необходимости) эти существительные могут иметь множественное число — даже такие отвлеченные или вещественные как *гордость* или *масло* [Зализняк 1967: 57–59]. Именно по данной причине, как считают некоторые лингвисты, имена, ограниченные единственным числом, как правило, не фиксируются специально в словарях [Ilola, Mustajoki 1989: 22]. Вместе с тем, нельзя не заметить, что, принимая форму и значение множественного числа, существительные отвлеченные, вещественные, собственные, относящиеся к разряду *singularia tantum*, регулярно изменяют свое лексическое значение, ср.: *красота* и *красоты*, *масло* и *масла*, *Иванов* и *Ивановы* и т.п. По-видимому, справедливо заключение, что образование формы множественного числа от этих разрядов слов «служит для передачи более сложных смысловых отношений, нежели простое указание на множественность предметов» [Касаткин 2001: 531].

Во-вторых, граница между «нормальными» двучисловыми существительными и «нарушителями порядка» в лице *singularia tantum* и *pluralia tantum* размывается не только за счет условности первой из упомянутых групп (ср. только что описанные случаи типа *масло* — *масла*), но и за счет нестрогости второй группы. Имеется в виду, что классические примеры типа *ножницы* или *каникулы* — это только абсолютный полюс на оси полноты/неполноты числовой парадигмы. А далее по этой оси располагается множество двучисловых существительных, для которых, однако, форма и значение множественного числа значительно более естественны, чем числа единственного. Для русского языка это, например, *близнецы* (ср. *близнец*), *гастроли* (ср. *гастроль*), *инициалы* (ср. *инициал*), *кавычки* (ср. *кавычки*), *надолбы* (ср. *надолба*), *ноздри* (ср. *ноздря*), *припасы* (ср. *припас*), *скобки* (ср. *скобка*), *слезы* (ср. *слеза*), *спички* (ср. *спичка*) и т.п. Строго говоря, назвать их существительными *pluralia tantum* нельзя: форма и значение единственного числа у них в принципе существуют. Однако по объек-

тивными причинами они стремятся как бы связать свою судьбу с граммемой множественного числа.

Системный характер этих «ближайших кандидатов» в *pluralia tantum* вытекает уже из того факта, что большинство из них практически укладывается в те же лексико-семантические разряды, что и «классические» представители этой категории. И если мы приходим к пониманию *singularia tantum* как существительных, у которых «крайне редко употребляются формы множественного числа» [Зализняк 1967: 59], то с тем же основанием следует относить к *pluralia tantum* слова, редко употребляемые в единственном числе.

Словари же поступают по отношению к данным словам по-разному: какие-то из них приводятся, как обычные двучисловые существительные, в форме единственного числа, а каким-то в качестве исходной приписывается именно форма множественного числа. Например, в словаре С. И. Ожегова [Ожегов 1988] в качестве исходных даются формы единственного числа *надолба, ноздря, скобка, слеза...* и, тут же, формы множественного числа *близнецы, инициалы, кавычки, припасы...* Случаен ли этот лексикографический разнобой или он как-то оправдан? Нет, скорее всего составитель словаря опирается на свои интуитивные ощущения, да еще на существующую лексикографическую традицию. А вообще-то кавычкам как знаку препинания вряд ли свойственно восприниматься более «в комплексе», чем скобкам...

Вместе с тем, если бы учитывать реальную (речевую) употребительность форм единственного и множественного числа, то наше представление о многих лексемах наверняка бы изменилось. Скажем, по данным Словаря языка Пушкина (1956–1961), только около 6% от всех употреблений слова *слеза* (281) дают формы единственного числа (17); основная же масса (264) — приходится на формы множественного! Спрашивается, так какое слово есть в русском языке: *слеза* или *слезы*? Впрочем, по данным того же словаря, множественное число превалирует над единственным также у многих других лексем, таких как *сапог* (соответственно 13 и 2 словоупотреблений) и *туфля* (10 и 1), *забава* (60 и 24) и *затея* (30 и 6), *гора* (158 и

97) и *вершина* (60 и 24) и др. И это при том, что в среднем формы множественного числа составляют в русских текстах не более четвертой части от общего количества словоупотреблений существительных! [Йоссельсон 1966: 120–121]. Конечно, на сегодняшний день конкретные соотношения для указанных лексем могли измениться, но нет сомнения, что есть масса других слов, стремящихся ограничить свой речевой узуз граммемой одного числа.

Любопытны в этом отношении названия различных народов и их представителей (в плане их лексикографической фиксации). В том же словаре [Ожегов 1988] все названия национальностей, и древних, и современных, последовательно приводятся в форме множественного числа — как названия народов и народностей (*немцы, англичане, испанцы, французы..., гунны, славяне, скифы, хазары, норманны, варяги* и т.д.), хотя способ их толкования может заметно различаться («народ германской языковой группы...», «народ, составляющий основное население...», «степные племена...», «древняя народность...» и т.п.). Форма же единственного числа приводится при этих лексемах в качестве вторичной, производной: *немец, англичанин, испанец..., гунн, славянин, скиф, хазарин, норманн...* По-видимому, это отражает сложившееся в массовом сознании представление о соотношении общества (народа) и личности. В текстах это представление закрепляется в превосходстве формы множественного числа над формой единственного, и составитель словаря не мог этого не заметить. Вместе с тем, тот же [Ожегов 1988] дает существительные типа *язычник, кочевник, рыцарь, завоеватель*, даже *викинг* в исходной форме единственного числа (ср. в словаре: *варяги* «выходцы из Скандинавии», но *викинг-ф* «древнескандинавский воин!»).

К «застыванию» в форме одного числа — единственного или множественного — может стремиться не только все слово, но также какой-то из его лексико-семантических вариантов. К примеру, у двучислового существительного *средство* одно из значений — ‘деньги, капитал’ — ограничивается множественным числом. Слово *капля* в значении ‘маленькая отдельная частица жидкости округлой формы’ — обычное двучисловое

существительное; в значении 'самое малое количество чего-нибудь' — *singularia tantum*, в значении 'жидкое лекарство, принимаемое по счету капель' — *pluralia tantum*... Аналогичная лексикализация одной из числовых форм происходит в рамках многих других слов: *время/времена*, *обстоятельство/обстоятельства*, *грудь/груди*, *осадок/осадки*, *лисичка/лисички*, *шашка/шашки*, *городок/городки* и т.п. Понятно, что все эти слова — кандидаты в омонимические пары, и хотя они находятся на разных стадиях процесса омонимизации, их грамматико-семантическая (числовая) дивергенция на это с очевидностью указывает. Скажем, слово *лисичка* как название маленькой лисы — действительно двучисловое существительное; но у слова *лисичка* как названия гриба множественное число явно превалирует над единственным. Словари и в данном случае поступают непоследовательно. Скажем, в указанном словаре [Ожегов 1988] *лисичка*₁ и *лисичка*₂ приводятся в рамках одной вокабулы, как значения одного слова. Название игры *шашки* приводится как одно из значений слова *шашка*, в то время как *коньки* или *городки* — как самостоятельные слова, омонимичные в части своих форм с (соответственно) *конек* и *городок*.

Не подлежит сомнению, что мы имеем здесь дело с живым, постоянно развивающимся процессом, и в том, что словари с опозданием фиксируют его результаты, нет ничего удивительного. Однако наиболее интересно наблюдать зачатки этого процесса — когда внутри слова происходит едва заметное расщепление его значения и, чтобы закрепиться, оно опирается на грамматические семы — в частности, сему числа.

Так, возвращаясь к уже приведенному примеру, можно утверждать, что деление, происходящее в рамках значения слова *дом*, стремится опереться на оппозицию «двучисловость/одночисловость»: *дом*₁ как 'здание, постройка' обладает полной, двучисловой парадигмой; *дом*₂ как 'семья, семейный очаг' в значительной степени «привязывается» к граммеме единственного числа (отсюда и невозможность **хлопотать по домам*). Ср. еще: *Сын помогает матери по дому* (= по хозяйству), *Он все несет в дом* (= в семью), *Они обсуждали это всем*

домом (= *обществом*) и т.п. Кроме того, стоит заметить, что если *дом*₁ свободно образует диминутивы (*домик*, *домок*, *домишко*), то *дом*₂ сильно ограничено в такой возможности.

Аналогичным образом в современном русском языке в рамках лексемы *окно* происходит бифуркация, дивергенция на два лексико-семантических варианта: *окно*₁ 'окно как часть интерьера' (*окно комнаты*) и *окно*₂ 'окно как часть внешнего вида и конструкции дома' (*окно дома*). При этом *окно*₂ «привязывается» к граммеме множественного числа. Поэтому *Я подошел к окну* — ситуация может описываться и изнутри, и снаружи, *Посмотри в окно* или *Хорошо виден силуэт в окне* — то же самое. Но *Я подошел к окнам* — это, скорее всего, взгляд снаружи. *Я смотрю в твои окна*, *В окнах уже темно*, *Люди за окнами заняты своими делами* и т.п. — везде *окна* воспринимаются как элемент дома.

Приведу еще один пример. Чем различаются для носителя русского языка упомянутые выше капли и брызги? Кроме того, что брызгам присуща динамичность и разнонаправленность (они разлетаются!), а каплям данные признаки не свойственны, в дело вступает еще и сема количества: *брызги* принципиально множественны (это *pluralia tantum*), в то время как *капли* — обычное двучисловое существительное...

Получается, что способ вхождения слова в числовую парадигму (т.е. реализация в его рамках числовой оппозиции) позволяет существительному формировать, реализовывать новые лексические оттенки и значения. Фактически это может осуществляться двумя способами: либо сведением парадигмы слова (или его лексико-семантического варианта) к одному лишь члену оппозиции, либо постепенным приближением к такому состоянию. Речь идет, конечно, об очень тонких семантических нюансах, но именно в них реализуется взаимодействие лексических и грамматических структур. И вряд ли можно усомниться в той пользе, которую может принести лексикографии учет не только языковой частоты употребления слова, но и «пограммемной» реализации этой частоты в речи.

Классификационная категория рода существительных — другое важное средство внутренней связи лексического и

грамматического значений. Как известно, в своей исторической ретроспективе родовая принадлежность существительного была обусловлена его отнесенностью к тому или иному лексико-семантическому разряду, см.: [Буслаев 1992: 241–255]. В современном языке эта связь, конечно, затемнена, на нее наслаивались многочисленные словообразовательные и формальные факторы. Тем не менее, и здесь можно обнаружить множество примеров группировки лексем вокруг значения того или иного грамматического рода. Речь идет даже не об объединениях, основанных на максимально широких оппозициях («большое — маленькое», «хорошее — плохое», «мужское — женское» и т.п.), но о значительно более частных, узких лексических группировках, ср.: [Норман, Супрунчук 2000: 60–62]. Например, названия растений в русском языке почти без остатка распределяются между существительными мужского и женского рода. На те же две группы подразделяются названия грибов; при этом названия грибов губчатых чаще относятся к мужскому роду (*подосиновик, моховик, козляк...*), а названия грибов пластинчатых — к женскому роду (*сыроежка, волнушка, лисичка...*). Для лексико-семантической группы «обувь» характерны колебания (вариантность) в роде (что, конечно, связано с тем, что эти слова преимущественно употребляются в форме множественного числа), ср.: *тапочка/тапочек, туфля/туфель, ботинок/ботинка, кед/кеда, ботфорт/ботфорта* и т.п. Среди существительных так называемого общего рода основную массу составляют экспрессивные наименования лиц: *неряха, обжора, жадина, зануда, бедняга, пьяница* и т.п.

«Присутствие» грамматического рода в лексическом значении обнаруживает себя также в ситуации нетривиальной с е м а н т и з а ц и и слова (определения его значения), с чем мы имеем дело, например, в загадках, шуточных «этимологиях» и других видах языковой игры. В таком случае род ключевого слова в толковании чаще всего повторяет род заглавной лексемы (ср. *отточие* — ‘лезвие’; это «лучше», чем ‘нож’ или ‘пика’; *брыжейка* — ‘лейка’, а не ‘душ’ или ‘пульверизатор’; *пилон* — ‘лес-кругляк’, а не ‘бревно’ или ‘ножовка’; *зазубрина* — ‘трудная тема’, а не ‘трудное правило’ или ‘вопрос к эк-

замену' и т.п.). Такое «согласование» в роде способствует созданию комического (или шире, эстетического) эффекта и, в конечном счете, выполнению той задачи, которую поставил перед собой говорящий.

Весьма показательным свидетельством «вхождения» семы грамматического рода в состав лексического значения служат результаты ассоциативных экспериментов. При этом особенно полезны результаты, полученные на материале близких языков, рисующих практически одинаковую картину мира, — таких как русский и белорусский. Тогда у исследователя возникает возможность сконцентрировать свое внимание на внутриязыковых механизмах ассоциирования. В частности, в экспериментах, проводившихся А. А. Папейко, были получены следующие данные. Носители русского языка на слово-стимул *кислый* чаще всего отвечают реакцией *лимон* (110 ответов из общего числа 500); заметно ей уступает реакция *яблоко* (19 ответов). Для носителей белорусского языка (общее число испытуемых то же — 500) эти показатели выравниваются; более того, реакция *яблык* на стимул *кіслы* даже выходит вперед (119 ответов против 110 ответов *лімон*). В чем здесь дело: в том ли, что для белорусского языкового сознания *яблоко* является более типичным представителем «кислости», чем *лимон*? Вряд ли. Скорее здесь следует усмотреть влияние грамматического рода: и слово-стимул *кіслы*, и слово-реакция *яблык* принадлежат к одному и тому же — мужскому — роду (в отличие от русских слов *кислый* и *яблоко*). Еще более показательны реакции испытуемых на слово-стимул *мягкий* (в русскоязычном эксперименте) и на соответствующее прилагательное *мяккі* (в эксперименте, проводившемся на материале белорусского языка). Для носителей русского языка самая частая реакция на *мягкий* — это *диван* (78 ответов); среди редких реакций есть *кровать* (4). Для носителей белорусского языка, наоборот, ассоциация *мяккі* — *ложак* относится к числу устойчивых (45 ответов); а *мяккі* — *канана* — редкая ассоциация (всего 1 ответ). Следует пояснить, что *ложак* — это по-белорусски 'кровать', существительное мужского рода, а *канана* — 'диван', существительное женского рода [Папейко 2000: 11–14].

Многочисленные подобные примеры недвусмысленно свидетельствуют о том, что на выбор испытуемых оказывал непосредственное влияние грамматический род слова-стимула. Если верно то, что участник ассоциативного эксперимента в меру своих возможностей пытается создать некое подобие текста, то можно сказать, что в случаях типа *кислый — лимон* он старается не только «нащупать» семантическое согласование между стимулом и реакцией, но и найти ему подкрепление в согласовании по грамматическому роду.

Таким образом, парадигма словоизменения существительного, определяемая грамматическими оппозициями в рамках категорий числа и рода, способствует выражению его лексического значения, вплоть до мельчайших лексико-семантических вариантов. Можно, однако, полагать, что наряду с двумя упомянутыми грамматическими категориями, свою лепту в сложный процесс взаимодействия лексики и грамматики у существительного вносит и категория падежа. Во всяком случае, для некоторых лексико-семантических групп дело обстоит именно так. Как показал Л. Л. Иомдин, существительные со значением пространственной ориентации (*верх, низ, перед, бок, зад* и др.) отличаются в русском языке неполнотой своей парадигмы: они неспособны стоять в местном (втором предложном) падеже [Иомдин 1996: 382–383].

В сфере глаголов распределение на лексико-семантические группы (и лексико-семантические варианты) обеспечивается такими грамматическими категориями, как вид, лицо, число, род, залог, наклонение. Речь идет прежде всего опять-таки о полноте/неполноте глагольной парадигмы, а также о сочетаемости грамматических категорий и их представителей — граммем — друг с другом, см. об этом специально: [Těšitelová 1980: 106 и др.; Пупынин 1990].

Приведу один пример. Русские глаголы *ждать* и *ожидать* описываются в словарях как синонимические. И действительно, во многих контекстах они вполне могут заменять друг друга, ср.: *Петя ждет / ожидает Машу у входа; Я жду / ожидаю поезд; Студенты ждут / ожидают, когда начнутся каникулы* и т.п. Можно, конечно, заметить, что *ожидать* не-

сколько «выше» по своей стилистике, чем *ждать*, но это не меняет дела. И лишь учет особенностей грамматического поведения данных глаголов позволяет пролить свет на их лексическую семантику. *Ждать* на правах предиката образует пропозиции, в которых обязательно участвует первый актант (субъект), в то время как *ожидать* такого внутреннего условия не содержит. «Переводя» это на язык морфологических категорий, можно сказать: *ожидать* — «нормальный» двузалоговый глагол, а *ждать* — однозалоговый, форма пассива от него не образуется. Поэтому по-русски можно сказать: *Я жду поезд, Соседка ждет письмо / письма от сына, Крестьяне ждут заморозков*, но нельзя: **Поезд ждетя (мною)*, **Письмо от сына ждетя (соседкой)*, **Заморозки ждутя*. В то же время от глагола *ожидать* подобные формы возможны, ср.: *Письмо от сына ожидается, Ожидаются заморозки, Ожидается, что Петя придет в среду* и т.п. Кроме того, *ожидать* может выступать в форме деепричастия, образуя так называемые полупредикативные структуры; *ждать* к этому неспособно, ср.: *Ожидая приезда родственников, мы запаслись продуктами*, но: **Ждя приезда родственников, мы запаслись продуктами*.

Учет особенностей глагольного словоизменения и словообразования позволяет выявить весьма тонкие лексико-семантические варианты слова, а также «подтвердить» или «опровергнуть» выделяемые в сфере данной части речи лексико-семантические группы. В частности, А. Л. Шарандин, анализируя набор грамматических категорий, свойственный тем или иным русским глаголам, устанавливает 19 моделей сочетаемости категорий и такое же количество соответствующих им типов лексем. Проведенное им описание глагольных лексем показало, что «они избирательно относятся к набору не только форм той или иной категории, но и к набору грамматических категорий вообще. Эта избирательность обусловлена взаимодействием лексической семантики лексем и грамматики, ее выражающей, а также взаимодействием и взаимосвязью грамматических категорий между собой...» [Шарандин 2001: 254]. С таким обобщающим выводом трудно не согласиться.

Не случайно процессы внутреннего взаимодействия лексики и грамматики лучше всего прослеживаются на материале самых «богатых», качественно и количественно представительных, частей речи: существительного и глагола. Здесь становится очевидным, как грамматика позволяет «упаковать» (говоря компьютерным термином) лексическую семантику, представить ее в сжатом, «зашифрованном» виде. В частности, как мы видели, если у существительного отсутствуют или «слабо реализуются» формы одного из чисел, то это не столько формальная, сколько содержательная, сущностная характеристика. Даже лингвисты, настаивающие на строгом разграничении лексических и грамматических значений (на том основании, что первые отражают концептуальное содержание, а вторые — концептуальную структуру), вынуждены признать, что «тот семантический компонент формы., который, на первый взгляд, кажется структурообразующим, возможно, в действительности ведет себя с когнитивной точки зрения в большей степени как один из аспектов ее содержательного наполнения» [Талми 1999: 109]. А следовательно, само противопоставление лексической и грамматической семантики оказывается относительным и условным.

Конечно, интегральное описание языка, моделирование лексической системы вкупе с системой грамматических категорий, чрезвычайно трудоемко. Но ему нет альтернативы, если мы действительно стремимся построить работающую модель всего языка.

ЛИТЕРАТУРА

- Буслаев Ф. И. 1992 — О преподавании отечественного языка. *Преподавание отечественного языка*. М. 25–373.
- Зализняк А. А. 1967 — *Русское именное словоизменение*. М.
- Золотова Г. А. 1992 — К оппозиции изосемичность / неизосемичность в русском синтаксисе. *Linguistique et slavistique. Melanges offerts a Paul Garde*. Paris. Tome I. 533–539.
- Июмдин Л. Л. 1996 — Семантическая неполнота русских именных парадигм. *Die Welt der Slaven*. XLI. 361–384.

- Йоссельсон Г. Г. 1966 — Подсчет слов и частотный анализ грамматических категорий русского литературного языка. *Автоматизация в лингвистике*. М.—Л. 105–131.
- Караулов Ю. Н. 1993 — *Ассоциативная грамматика русского языка*. М. Русский язык 2001 — *Русский язык*. М.
- Кубрякова Е. С. 1995 — Лексикализация грамматики: пути и последствия. *Язык-система. Язык-текст. Язык-способность. К 60-летию Ю. Н. Караулова*. М. 16–24.
- Норман Б., Супрунчук Н. 2000 — О существительных pluralia tantum в славянских языках. *Зборник Матице српске за славистику*. Бр. 58–59. 57–66.
- Ожегов С. И. 1988 — *Словарь русского языка*. М.
- Папейка А. А. 2000 — Лексічныя асацыятыўныя палі ў беларускай і рускай мовах. *Аўтарэфэрат дысертацыі... кандыдата філалагічных навук*. Мінск.
- Пупынин Ю. А. 1990 — *Функциональные аспекты грамматики русского языка: взаимосвязи грамматических категорий*. Л.
- Словарь языка Пушкина. 1956–1961 — *Словарь языка Пушкина*. Т. I–IV. М.
- Талми Л. 1999 — Отношение грамматики к познанию. *Вестник Московского университета. Серия 9. Филология*. № 1. 91–115.
- Шарандин А. Л. 2001 — *Курс лекций по лексической грамматике русского языка. Морфология*. Тамбов.
- Dirven R., Verspoor M. 1998 — *Cognitive Exploration of Language and Linguistics*. Amsterdam.
- Ilola E., Mustajoki A. 1989 — *Report on Russian Morphology as it appears in Zaliznyak's Grammatical Dictionary*. Helsinki.
- Těšitelová M. 1980 — *Využití statistických metod v gramatice*. Praha.

ОБ «ЭГОЦЕНТРИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ» В ГРАММАТИКЕ

Н. К. ОНИПЕНКО

1.0. На X-м осеннем Тартуском семинаре Михаил Алексеевич Шелякин, обсуждая проблемы прагматики, предложил рассматривать прагматику как «эгоцентрическое измерение» языковых единиц — синтаксических структур, граммем, лексем [Шелякин 1999: 264] и тем самым расширил границы функциональной грамматики, включил в сферу интересов Теории функциональной грамматики Я говорящего¹.

1.1. Эти идеи согласуются с идеями концепции коммуникативной грамматики [Золотова, Онипенко, Сидорова 1998; Онипенко 1994], которая поставила в центр своего исследования личность говорящего.

Коммуникативная грамматика, являясь логическим продолжением функционального синтаксиса 60–70-х гг., стала одним из первых направлений грамматики объяснительной. Термин «коммуникативный» в названии этой грамматической школы подчеркивает функциональную ориентированность данной теории. Авторы «Коммуникативной грамматики» осознали, что прилагательное «коммуникативный» в современном языкознании обросло совершенно разными значениями. Но исходное, первое и наиболее простое значение прилагательного «коммуникативный» связано со словом «функция» (языка, конкретной языковой единицы), то есть со способом использования, предназначенностью языковой системы в целом и грамматики в том числе. Грамматика как инструмент порожд-

¹ Подготовка данной статьи осуществлена в рамках проекта Российского гуманитарного научного фонда. Проект № 02-04-00042а.

дения речи (текста), инструмент речевой деятельности и как инструмент понимания текста читателем, инструмент интерпретации текста лингвистом, грамматика, обеспечивающая процесс успешной коммуникации, и лингвистическое знание, позволяющее, во-первых, построить объяснительную модель языка и, во-вторых, адекватно интерпретировать языковые средства организации текста, — все это составило смысл термина «коммуникативная грамматика».

Концепция коммуникативной грамматики во многом (но не во всем) перекликается с идеями французских структуралистов-литературоведов [Женетт 1998: 69]. Для французской (и не только французской) структурной поэтики грамматические категории глагола являются не объектом исследования, а отправной точкой дедуктивного мышления. Структуралистов-литературоведов интересует структура текста, а не языковой механизм, обеспечивающий порождение текстов. Их очень тонкие и интересные наблюдения над текстом не возвращают найденное грамматике. Структурная поэтика оперирует категориальными смыслами (время, модальность, аспект, субъект и др.), коммуникативная грамматика исследует языковые структуры, в которых выражаются эти и другие категориальные значения.

1.2. Традиционная русская грамматика подробно разработала формальный аспект языковых единиц, но для соединения в одном исследовании структуры, семантики и функции нужны такие лингвистические «инструменты», которые бы обнаружили связь между словом, предложением и текстом, во-первых, и грамматической системой и текстом, во-вторых. Теория коммуникативной грамматики предложила такие грамматические инструменты. Это

- модель субъектной перспективы,
- понятие коммуникативного регистра речи,
- таксис как техника межпредикативных отношений в тексте.

Если конкретное высказывание исследовать с использованием каждого из трех инструментов, то станет очевидным, что отношение высказывания к действительности интерпретируется системой коммуникативных регистров, отношение выска-

звания к сфере человека мыслящего и говорящего представлено субъектной перспективой, а отношение высказывания к другому высказыванию объясняется теорией таксиса.

Эти идеи восходят к трудам В. В. Виноградова: в основе модели субъектной перспективы — с одной стороны, грамматическая и стилистическая интерпретация категории лица, с другой — структура «образа автора»; теория коммуникативных регистров речи опирается на принципы лингвистического анализа текста, разработанные В. В. Виноградовым в статье «О стиле “Пиковой дамы”» (1936 г.) и в книге «Стиль Пушкина» (1941 г.), и на раздел книги «Русский язык», посвященный глаголу. Понятие таксиса можно возвести к «относительному времени», морфологизованному «вторичному дейксису», но в коммуникативной грамматике оно не совпадает с понятием таксиса у Р. Якобсона: в КГ таксис — это не только временное соотношение между двумя предикативными единицами, но и модальное и персональное, то есть это не «относительное время», а (1) «относительная» предикативная единица и (2) сами межпредикативные отношения.

Каждая из трех основных идей может быть понята как текстовое переосмысление, возведение до уровня текста определенных категорий русского глагола: (1) субъектная перспектива — категории лица, (2) коммуникативный регистр речи — категорий времени и модальности, (3) таксис — категорий вида и времени.

2.1. При интерпретации высказывания принято различать план речи и план повествования (Э. Бенвенист), план речи и план информации (Н. С. Пospelов), диалогическую речь и нарратив (Ю. С. Маслов), речевой и нарративный режим интерпретации (Е. В. Падучева; у нее есть и третий — синтаксический режим), т.е. разграничивать минимум два типа коммуникативно-текстовых условий, в рамках которых осуществляется прочтение смысла. Кроме того, для интерпретации грамматических категорий глагола и местоимений в определенных текстовых условиях используют понятия первичного и вторичного дейксиса (Ю. Д. Апресян): первичный дейксис — он же «эгоцентрический», соотносящий высказывания с Я гово-

рящего; вторичный дейксис — перемещение точки отсчета в область текста или синтаксической конструкции.

Понимание, прочтение текста связано с осмыслением пространственных и временных координат, в рамках которых мыслится содержание высказывания, поэтому особое внимание сегодня уделяется интерпретации категорий времени, вида и лица. План речи предполагает, что дейктические глагольные категории (лицо и время) прочитываются в связи с ситуацией речи (временем и участниками речи). План повествования (информации, нарратив) переносит точку отсчета для категорий времени и лица в пространство текста, делает точку отсчета величиной переменной, зависящей от принадлежности к определенной субъектной сфере (в структуре образа автора — к **субъектной перспективе текста**), от избранной автором пространственно-временной дистанции по отношению к изображаемому, от коммуникативной интенции автора (что воплощается в **коммуникативном регистре речи**).

2.2. С точки зрения коммуникативной грамматики разные пространственно-временные дистанции реализуются в разных коммуникативных регистрах речи, принадлежность к определенной субъектной сфере и типология точек зрения интерпретируются в параметрах модели субъектной перспективы текста. И коммуникативный регистр речи, и субъектная перспектива представляют «эгоцентрическое измерение» текста как два пересекающихся параметра. «Пересечение» коммуникативного регистра и субъектной перспективы обнаруживается в модусе, в сфере субъекта сознания (по терминологии Е. В. Падучевой [Падучева 1991]), «субъекта восприятия», авторизатора [Золотова 1973]. (В схеме субъектной перспективы эта субъектная сфера условно обозначена символом S3 [Золотова, Онипенко, Сидорова 1998: 232]).

Н. Д. Арутюнова, рассматривая эксплицитный модус, различает следующие типы модусов: перцептивный (сенсорный), ментальный (когнитивный, эпистемический), эмотивный и волеизъявительный (волитивный) [Арутюнова 1988: 109]. Каждый из этих модусов может принадлежать Я говорящего (авторскому Я) и быть представленным в виде особой синтакси-

ческой структуры, словосочетания, словоформы (*Я считаю, что он прав; По-моему, он прав; Я согласен, что он прав; Конечно, он прав*). Эти структуры и называют «**эксплицитным модусом**» (Ш. Балли, Н. Д. Арутюнова).

Однако если модус не представлен эксплицитно, в виде синтаксической структуры, то это не означает, что он отсутствует. Модус может быть «растворен» в семантико-синтаксической организации высказывания. Это и есть коммуникативный регистр речи. Модус, распределенный на все компоненты предложения (на значимые единицы всех уровней), не менее эксплицитен, поэтому «эксплицитный», вербализованный модус мы называем **модусной рамкой**.

Модусные рамки — средства, при помощи которых выражаются как разные ментальные ипостаси (модусы) одного субъекта, так и изменение позиции автора, его перемещение из одной субъектной сферы в другую (из сознания одного героя в сознание другого героя).

2.3. На начальных этапах разработки проблематики субъективного в синтаксисе² проблема средств обнаружения «субъекта восприятия» решалась на материале предложения, сейчас речь идет о тексте. Но уже на материале предложения были выявлены классы глаголов, именные синтаксемы, вводно-модальные слова, наречия, «углубляющие субъектную перспективу предложения» [Золотова 1973: 263–278]. В работах 60–70-х гг. XX в. (В. Г. Гак, И. Польдауф, Г. А. Золотова) были отмечены средства обнаружения «многоплановости» (термин Г. А. Золотовой) предложения, в том числе и значимое отсутствие, «неназванность субъекта восприятия», то, что позже будет терминологически обозначено как «эгоцентрические элементы языка» [Падучева 1996].

Проблема разграничения объективного и субъективного в высказывании и способов обнаружения точки зрения говорящего сегодня активно разрабатывается в разных научных школах, на разном языковом материале. Концепция коммуникативной грамматики, стремясь обнаружить «образ говоряще-

² См. теорию авторизации в: [Золотова 1973].

го» и в семантике лексем, и в семантике грамем, и в семантике синтаксических конструкций, выявляет механизм взаимодействия модусных смыслов единиц разных уровней в условиях текстовых композитивов. Результаты такого подхода значимы и для лексики, и для морфологии, и для синтаксиса.

2.3.1. Для лексики это значит, что модусные характеристики лексем (например, глаголов, местоимений или вводных слов) осмысливаются не сами по себе, а с учетом текстовых условий функционирования лексем — семантики синтаксических структур, их регистровой принадлежности и их субъектной перспективы. Так, семантика перцептивного глагола *глядеть* (*глянуть*) оказывается соотнесенной и с типовым значением предложения, и с коммуникативным регистром, с моделью субъектной перспективы:

- (а) *Он заглянул и в городской сад...; «Погляди-ка, не видно ли деревни?»; Фигура с своей стороны глядела на него тоже пристально; Здесь герой наш поневоле отступил назад и поглядел на него пристально;*
- (б) *...нигде между ними растущего дерева или какой-нибудь зелени; езде глядело одно бревно...; Частями стал выказываться господский дом и наконец глянул весь...; Каким-то дряхлым инвалидом глядел сей странный замок; Все говорило, что здесь когда-то хозяйство текло в обширном размере, и все глядело ныне пасмурно (Н. В. Гоголь).*

В примерах (а) глагол *глядеть* выражает перцептивное (зрительное) действие и выступает в своем первичном, акциональном значении в рамках предложений с типовым значением «Субъект личный и его действие» в условиях репродуктивно- (или информативно-) повествовательных или волюнтивных фрагментов текста. В примерах (б), извлеченных из описательных контекстов, тот же глагол указывает на присутствие наблюдателя, а не на перцептивные действия бревна или дома. Такое значение позволяет оставить за кадром того, кто видит некрашенные избы или господский дом. Но если синтаксически разграничить воспринимаемое пространство и субъекта воспринимающего, то получится сложное предложение: «Чичиков смотрел по сторонам и видел, что в имение Манилова одни некраше-

ные бревенчатые избы». Ср.: *Словом, все, на что ни глядел он, было упористо, без пошатки, в каком-то крепком и неуклюжем порядке* (Н. В. Гоголь) — симметрия восстанавливается: глагол *глядеть* соотносится с субъектом перцепции, а объект перцепции и оценки оказывается в другой предикативной структуре.

Из некоторых примеров (б) глагол может быть изъят, а предложение сохранит коммуникативную достаточность:

... *езде глядело одно бревно* — ...*езде одно бревно*
... *все глядело ныне пасмурно* — *все (было) ныне пасмурно...*

Для неакционального значения глагола *глядеть* существуют запреты на определенные грамматические формы, напр., на повелительное наклонение (?*Бревно, гляди везде*) или на деепричастие (?*Господский дом, глядя инвалидом...*).

Но есть и еще одно значение глагола *глядеть* — также неакциональное, синтаксически обусловленное. Это значение связывает глагол *глядеть* с предметным субъектом, характеризующимся по отношению к пространственному ориентиру; см., например: *Подошедши к окну, он начал рассматривать бывшие перед ним виды: окно глядело едва ли не в курятник* (Н. В. Гоголь). И в этом значении глагол *глядеть* не является самодостаточным для образования предиката: он образует предикат совместно с директивной синтаксемой *в + Вин. п.* (Ср. *окно выходит в сад*).

Переносные значения глагола *глядеть* являются синтаксически обусловленными. Но в одном случае они обусловлены моделью предложения (*Окно глядело в курятник*), а в другом субъектной перспективной модели — перцептивным модусом и совпадением субъекта речи и субъекта восприятия (*На Васильевском острове, в глубине семнадцатой линии из тумана глядел дом огромный и серый; с дворика в дом ввела черная, грязная лестница: были двери и двери; одна из них отворилась* — А. Белый) или ментальным модусом при том же соотношении субъекта речи и субъекта мнения (*глядит молодцом*).

Наблюдения над глагольными моделями предложения показывают, что неакциональная (релятивная) семантика гла-

гольных предикатов становится базой модусных смыслов. Это могут быть собственно модусные глаголы (авторизующие или каузативные), лексикализирующие тот или иной тип модуса, или глаголы диктальной семантики, обусловленные конкретным модусом.

2.4. В морфологии с учетом идей коммуникативной грамматики появляется возможность дифференцировать значение и функцию, поскольку функция понимается как отношение морфологической единицы к единице **коммуникативного** уровня. Так, в приведенных примерах с глаголом *глядеть* (*глянуть*) можно увидеть особые функциональные возможности совершенного вида в неакциональных глаголах модусной семантики (*Частями стал выказываться господский дом и наконец глянул весь...*). Совершенный вид в условиях репродуктивно-описательного фрагмента указывает на подвижный наблюдательный пункт. Ср. также:

И карета разбрызгивала во все стороны грязь.

*Там, где **взвесилась** только одна туманная сырость, матово намечался сперва, потом с неба на землю **спустился** — грязноватый, черновато-серый Исакий; намечался и вовсе **наметился**: конный памятник Императора Николая; металлический Император был в форме Лейб-Гвардии; у подножия из тумана **просунулся** и в туман обратно **ушел** косматою шапкою николаевский гренадер.*

Карета же пролетела на Невский.

*... Мокрый, скользкий проспект **пересекся** мокрым проспектом под прямым, девяностоградусным углом; в точке пересечения линий **стал** городской (А. Белый).*

В этом случае временная конкретность и предельность модусного предиката (*увидел, где пересекается... и где стоит городской*) посредством граммемы совершенного вида переносятся на предикаты диктума (принадлежащие перцептивному рангу), тем самым все содержание предложения оказывается соотношенным с точкой зрения наблюдающего героя (Аблеухова-старшего). Акциональные (по первому значению) глаголы *спуститься, просунуться, уйти* в этом примере, соединяясь с неличными, неактивными, статическими субъектами, выра-

жают впечатление наблюдателя (своего рода импрессионизм, лексический, но и грамматический тоже).

Подобное значение граммемы совершенного вида (но в применении к лексемам другого типа) Ю. Д. Апресян в статье 1986 г. назвал «имплицитно дейктичным», имея в виду совершенный вид, обнаруживающий присутствие наблюдателя [Апресян 1995: 644]. Такими же дейктичными, или «реализующими дейктическую стратегию», являются наречия *вдалеке* и *вдали* «с нереализованной второй валентностью» [Апресян 1995: 640] (*Вдалеке показалась лодка* — т.е. вдалеке от меня). При дейктической стратегии в число «непосредственных участников описываемой ситуации говорящий мысленно вводит некоего неназываемого наблюдателя». При недейктической стратегии, или «абсолютной ориентации предметов», «непосредственное участие в ситуации, описываемой пространственным словом, принимают лишь два участника — ориентируемый предмет А и предмет В, который служит ориентиром, <...> никакого постороннего наблюдателя нет» [там же: 633–634]. Позже, в терминологическом словаре, предвещающем второй выпуск «Нового объяснительного словаря синонимов русского языка» (2000) Ю. Д. Апресян уточнит свое понимание «наблюдателя», разграничит наблюдателей (а) «тривиального» (который «не нуждается в особом упоминании, поскольку присутствует всегда») и «нетривиального» (лексикализованного или грамматикализованного), (б) «внешнего» (*По склону горы вилась козья тропа*) и «внутреннего» (*Дорога все время виляла из стороны в сторону*). С точки зрения этой типологии, примеры из А. Белого, по-видимому, следует отнести к случаям присутствия нетривиального наблюдателя, но какого — «внешнего» (поскольку Аблеухов не находится между памятником и гренадером) или «внутреннего» (поскольку Аблеухов едет в карете и его зрительные ощущения, впечатления лексикализуются глаголами)?

2.4.1. Разграничение абсолютной и относительной ориентации также требует уточнения. Воспользуемся текстом А. Белого и представим ситуацию со статической точки зрения: *Аблеухов увидел памятник Императора Николая, перед памят-*

ником стоял гренадер. Интерпретируя семантику предложения *перед* с учетом разграничения дейктической (относительной) и недейктической (абсолютной) стратегии, нужно признать, что в придуманном предложении использована дейктическая стратегия (относительная ориентация), поскольку гренадер находится между памятником и Аблеуховым и говорящего не интересует собственная внутренняя ориентация (вперед — сзади) памятника. Если изменить предложение — *Перед Императором стоял (застыл, замер) гренадер*, — то стратегия становится недейктической (ориентация абсолютной). Но ведь наблюдатель в этом предложении есть — сам император (ср. из Пушкина: *Перед графинею стоял незнакомый мужчина* — незнакомым он является только для графини). Следует ли признать такого наблюдателя «тривиальным»? С учетом предложенных [Апресян 1995] критериев разграничения абсолютной и относительной ориентации — да, так как значение «вперед — сзади» в этом случае принадлежит не предлогу *перед*, а собственной ориентации человеческой фигуры. Но ведь у этого предлога в подобных контекстах (в соединении с существительным одушевленным, личным) уже есть другое значение — *перед глазами, лицом кого*, то есть «в поле зрения кого».

2.4.2. Если обратиться к данным диахронии языка, то можно увидеть, что еще в XVII–XVIII вв. употреблялась форма *перед + Вин. п.*, чаще одушевленных существительных, в значении «прийти, привести к кому»: *Взяли меня палачи привели пред него*. Авв., Жит., 88; *Грамоту положил пред короля на стол*. Про Бову; *Паки приведен был пред госпожу свою*. Рад.; *Стану пред тебя*. Даль — примеры из: [Ломтев 1956: 304]. Такое употребление можно интерпретировать как «сделать так, чтобы данный субъект оказался в поле зрения другого субъекта», ср. современное *предстать перед лицом кого, явиться перед кем*. Если же *перед + Твор. п.* употребляется в начале репродуктивно-описательного фрагмента текста, то эта форма выражает либо самого наблюдателя, либо место, с которого ведется наблюдение.

С этой точки зрения «недейктическое» прочтение примера *Перед машиной стояла девушка* в определенных текстовых

условиях (репродуктивно-описательный регистр) предполагает наблюдателя, сидящего в машине. Таким образом, при абсолютной ориентации (по Ю. Д. Апресяну) применительно к формам *перед* + *Твор. п.* можно говорить о совпадении пространственного ориентира и наблюдательного пункта говорящего, а точнее, о «месте наблюдателя», см.: [Апресян 1995: 639–644]. Так будет ли и в этом случае наблюдатель тривиальным?

Е. С. Яковлева, рассматривая «выборочное отношение к предикатам» пространственных наречий *вдали, вдалеке, невдалеке* и соединив свои наблюдения с классификацией предикатов Т. В. Булыгиной и типологией регистров Г. А. Золотовой, показала, что одни наречия соединяются только с актуальными предикатами и отмечены признаком «перцептивность», другие же не отмечены. «Для наречий с семантикой ‘наблюдения’ характерно использование в актуальных высказываниях с интенцией «изобразительность», а не «информативность» [Яковлева 1994: 25].

2.5. В «Синтаксическом словаре» Г. А. Золотовой читаем: «личные существительные и местоимения в синтаксеме *перед кем* с локативным совмещают значение субъекта восприятия, наблюдателя» [Золотова 1988: 268–269]. Текстовые исследования показывают, что позиция наблюдателя может выражаться синтаксемами *перед* + *Твор. п.* и тогда, когда с предлогом употреблено неличное существительное (*Еще светло перед окном, В разрывы облак солнце блещет* — А. А. Фет). Тривиален ли здесь наблюдатель? По-видимому, да, поскольку перцептивное прочтение ситуации обусловлено сенсорным модусом (в терминологии Н. Д. Арутюновой), репродуктивным регистром речи (в терминологии Коммуникативной грамматики), а не самой формой *перед* + *Твор. п.* Но ведь именно эта форма указывает то место, откуда ведется наблюдение.

2.5.1. Текстовый анализ форм *перед* + *Твор. п.* позволяет увидеть особые функции авторизирующих синтаксем «*перед* + *Твор. п.* личных имен и местоимений» в синтаксической позиции текста. Эти синтаксемы обнаруживают не только наблюдательный пункт рассказчика, но и границу между тексто-

выми композитивами — между репродуктивно-повествовательным и репродуктивно-описательным фрагментами:

Татьяна долго шла одна. Шла, шла. И вдруг перед собою С холма господский видит дом, Селенье, рощу под холмом И сад над светлою рекою; <...> Кряхтя, валит медведь несносный; Пред ними лес; недвижны сосны В своей нахмуренной красе; Отягчены их ветви все Клоками снега; сквозь вершины Осин, берез и лип нагих Сияет луч светил ночных...<...>; Он в залу; дальше: никого. Дверь открыл он. Что ж его С такою силой поражает? Княгиня перед ним, одна, Сидит, не убрана, бледна, Письмо какое-то читает И тихо слезы льет рекой, Опершись на руку щекой <...> (А. С. Пушкин).

Из этих примеров видно, что «внутренним» (семантическим) условием авторизирующего прочтения форм «перед + Твор. п. личных местоимений» являются определенность, конкретная референтность, известность субъекта, «внешним» (контекстуальным) — перцептивный модус, обуславливающий все высказывание и весь текстовый фрагмент. Восприятие субъекта, как правило, выражено перцептивными глаголами, маркирующими репродуктивный регистр речи вместе с именной синтаксемой «перед + Твор. п.» (см., напр., начало «Медного всадника»).

Синтаксема «перед + Твор. п.» личных местоимений в тексте играет роль соединителя репродуктивно-повествовательного и репродуктивно-описательного фрагментов, границы между сферой рассказчика и сферой персонажа:

Старичок к старухе воротился. Что ж? перед ним царские палаты. В палатах видит свою старуху, За столом сидит она царицей, Служат ей бояре да дворяне, Наливают ей заморские вина; Заедает она пряником печатным; Вкруг ее стоит грозная стража, На плечах топоры держат (А. С. Пушкин).

В отличие от А. С. Пушкина, А. Белый перемежает репродуктивность и информативность, но *перед + Твор. п.* также стоит на границе, после которой начинается непосредственное наблюдение героя:

*От Колпина к Петербургу вьется столбовая дорога; вьется серою лентой; битый щебень ее окаймляет и линия телеграфных столбов. Мастеровой пробирался там с узелочком на палочке <...> и шел пехтурой к Петербургу <...>; с месяц всего проработал он на подгородном заводе; и с завода ушел: **перед ним** присел Петербург. Многоэтажные груды уже присели за фабриками; сами фабрики приседали за трубами — там вон, там, да и — там, в небе не было ни единого облачка <...> Все это Степка мой видел; и на все это Степка мой — ноль внимания (Петербург).*

Перед + *Твор. п.* выражает совпадение точки зрения повествователя и точки зрения Степки, видящего издалека, со стороны дороги приближающийся Петербург. Употребление глагола *присесть/присесть* в этом фрагменте соединяет перцептивность с точки зрения героя и иронию с точки зрения автора (громеда *присела* перед маленьким Степкой). В этом контексте актуализованы два значения *перед* + *Твор. п.*, — и авторизующее — «в поле зрения кого», и каузативное — «в присутствии кого, перед лицом кого, для кого».

Такое двойное прочтение обнаруживаем в VII строфе восьмой главы «Евгения Онегина»:

*Ей нравится порядок стройный
Олигархических бесед,
И холод гордости спокойной,
И эта смесь чинов и лет.
Но это кто в толпе избранной
Стоит безмолвный и туманный?
Для всех он кажется чужим.
Мелькают лица **перед ним**
Как ряд докучных привидений.
Что, сплин иль страждущая спесь
В его лице? Зачем он здесь?
Кто он таков? Ужель Евгений?
Ужели он? Так, точно он.
— Давно ли к нам он занесен?*

«Словарь языка Пушкина» дает этот пример в статье глагола *мелькать*, который в этом случае толкуется как «появляться на короткое время перед чьим-н. взором» [Словарь языка

Пушкина 2000, II: 585]. В статье же предлога *перед* [там же III: 318–320] этот пример не толкуется, а в сплошном указателе примеров в конце статьи нет разбивки по 5 указанным значениям.

При абсолютной ориентации докучные привидения мелькают в глазах Онегина, при относительной — Муза смотрит на скачущего Онегина. Если предпочесть второй вариант, то как в этом контексте читать глагол *мелькать*? Если читать по первому варианту, то как тогда в одной строфе «уживутся» внешний взгляд на Онегина (Муза, автор, гости на балу), который представлен в 8 окружающих это предложение строках, и точка зрения Онегина, выраженная в 8-й и 9-й строках. Не предлагая здесь однозначного решения, отмечу, что Муза смотрит на Онегина, а Онегин пока не смотрит ни на кого. Для обсуждаемой проблемы важно, что синтаксема *перед ним* при любом прочтении предполагает наблюдателя. Но интересно, что именно в случае «абсолютной ориентации» эта форма выражает наблюдателя, то есть грамматикализует и лексикализует его.

3.1. Переносся рассмотренное выше понятие пространственной ориентации на текст, поскольку именно в тексте обнаруживается «место наблюдателя», можно увидеть связь этих понятий с идеей субъектной перспективы текста и интерпретировать оба направления пространственной ориентации как указание места, наблюдательного пункта говорящего. Фигура наблюдателя принадлежит тексту и предполагает наличие перцептивного модуса, который в условиях репродуктивного регистра речи всегда лексикализован и/или грамматикализован.

Коммуникативный регистр речи создается в результате взаимодействия разноуровневых (с точки зрения уровневой лингвистики) единиц языка (от морфемы до модели предложения). Это обусловлено тем, что языковые единицы формируются в процессе их текстового употребления, а поэтому характеризуются большими или меньшими функциональными возможностями. Известно, что для одних, например, лексических единиц обязательным является их прикрепленность к перцептивному модусу. Это касается не только единиц, лексикали-

зующих модус восприятия (*видеть, виднеться, показаться, выглядывать, раздаваться, доноситься*), но и лексем, выражающих бытие воспринимаемого объекта (*алеть, белеть/белеться, чернеть, торчать, пестреть, клубиться, бурлить*). Это касается и именных синтаксем (*на + Предл. п.; перед + Твор. п.; навстречу + Дат. п.* и мн. других), и многих неакциональных глаголов совершенного вида, выражающих положение наблюдаемых объектов (*сполз, навис, накренился, расплылся*), и глаголов СВ, выражающих подвижный наблюдательный пункт (*Из-за поворота показалась деревня; За окном промелькнула станция; Из тумана выплыл город*). С перцептивным модусом связаны многие так называемые «номинативные» (*За окном песни и смех*), а также «безличные» предложения (*За окном светло/светает*).

Таким образом, перцептивный модус, фигура наблюдателя обнаруживаются целым комплексом языковых средств: лексических (семантика корней слов, выражающих диктумное содержание), морфологических (семантика грамматических категорий числа, времени, вида), лексико-синтаксических на докоммуникативном уровне (семантика синтаксем) и на коммуникативном уровне (семантика моделей предложения), вербализация модусных средств.

Особенность именных авторизирующих (модусных) синтаксем *перед + Твор. п.* состоит в том, что они прямо или косвенно обнаруживают наблюдателя, который при «абсолютной ориентации» оказывается героем текста, а при «относительной ориентации» повествователем, автором, сторонним наблюдателем. Это два варианта реализации субъектной перспективы текста.

3.2. Разные воплощения субъектной перспективы дают разные осмысления одного и того же высказывания. Напр., знаменитая пушкинская фраза «Гений и злодейство — две вещи несовместные» (в которой есть слово, «имеющее локативную валентность») может прочитываться по-разному в зависимости от того, кто ее произносит. В маленькой трагедии Пушкина первым ее произносит Моцарт: «[Моцарт] *Он же гений, Как ты, да я. А гений и злодейство, Две вещи несовместные.*

Не правда ль?» Разговор шел о Бомарше, и Моцарт имел в виду, что гений и злодейство не могут ужиться в одной душе, и если Бомарше гений (в чем Моцарт не сомневается), то он (Бомарше) не может быть злодеем. В финале ту же фразу произносит Сальери: «...но ужель он прав, *И я не гений? Гений и злодейство Две вещи несовместные*». Гений Моцарт судит о Бомарше по себе, так же, как и Сальери, который, применив этот закон к себе, делает вывод, что если в его душе злодейство, значит, он не гений. И в том, и в другом случае ареной борьбы гения и злодейства оказывается человеческая душа. Но если читатель соотнесет ту же фразу с точкой зрения автора, то он прочтет ее как характеризующую мир: в этом мире гений (Моцарт) и злодей (Сальери) — «две вещи несовместные», в злом мире гениям нет места. Таким образом, осмысление высказывания обусловлено той субъектной перспективой, которую выстраивает читатель текста.

Пятичастная модель субъектной перспективы текста «пересекается» с типологией коммуникативных регистров в сфере субъекта сознания, там, где обнаруживаются типология модусов, репертуар текстовых ролей говорящего. В соответствии с выбранной ролью оформляется текстовый фрагмент, оформляется средствами лексики и грамматики.

3.3. В каждом из пяти регистров свое соотношение лексики и грамматики. Так, волюнтивный регистр маркируется морфологически (повелительное наклонение, инфинитив), реже лексически (глаголы речи в перформативном употреблении — *прошу, требую, молю*) и синтаксически (вопросительные предложения и обращения). Реактивный регистр — синтаксически, словами-предложениями (междометиями, этикетными формулами). Определяющим фактором в организации генеритивного регистра также является грамматика, синтаксис: для генеритивных высказываний характерна полипредикативная конструкция, в которой и позиция субъекта, и позиция предиката заняты признаковыми синтаксемами — именными и глагольными (*Смелость города берет; Смелого пуля боится*). Предназначенность отдельных лексем (синтаксем) генеритивному регистру очень редка (можно говорить о такой предназначен-

ности краткого прилагательного *блажен(ны)*, которое употребляется в соединении с именами класса *Блаженны нищие духом* — в Заповедях блаженства; *Блажен, кто...*). Информативный регистр организуется по двум направлениям: при перцептивно обусловленной лексике определяющим оказывается грамматика (при этом, как правило, речь идет о многократно наблюдаемом — см., напр., начало «Невского проспекта» Н. В. Гоголя), при информативной (ментальной) лексике грамматика согласуется с лексической семантикой. В репродуктивном регистре при перцептивной лексике грамматика усиливает эффект присутствия Я наблюдателя.

4.1. Подводя итоги, приходится признать, что открытие «эгоцентрического измерения» требует пересмотра многих разделов грамматики и лексикологии, потому что, как пишет М. А. Шелякин, «многое в этом плане еще не изучено и не истолковано» [Шелякин 1999: 264].

ЛИТЕРАТУРА

- Апресян Ю. Д. 1995 — *Избранные труды. Интегральное описание языка и системная лексикография*. М.
- Арутюнова Н. Д. 1988 — *Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт*. М.
- Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. 1997 — *Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики)*. М.
- Женетт Ж. 1998 — *Фигуры*. Т.2, М.
- Золотова Г. А. 1973 — *Очерк функционального синтаксиса русского языка*. М.
- Золотова Г. А. 1988 — *Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса*. М.
- Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. 1998 — *Коммуникативная грамматика русского языка*. М.
- Лайонз Дж. 1978 — *Введение в теоретическую лингвистику*. М.
- Ломтев Т. П. 1956 — *Очерки по историческому синтаксису русского языка*. М.
- Онипенко Н. К. 1999 — Анализ пушкинских текстов и проблема двусоставности/односоставности русского предложения. *Слово. Грамматика. Речь*. М.

- Онипенко Н. К. 2002 — Синтаксическое поле русского предложения и модель субъектной перспективы текста. *Коммуникативно-смысловые параметры грамматики и текста. К юбилею Г. А. Золотовой*. М.
- Падучева Е. В. 1991 — Говорящий: субъект речи и субъект сознания. *Логический анализ языка. Культурные концепты*. М.
- Падучева Е. В. 1996 — Семантические исследования. М. *Словарь языка Пушкина*. М., 2000.
- Человеческий фактор в языке. Коммуникация, модальность, дейк-сис*. М., 1992.
- Шелякин М. А. 1999 — Мысли о прагматике. *Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика: Новая серия. II. Прагматический аспект исследования языка*. Тарту.
- Яковлева Е. С. 1994 — *Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства времени, восприятия)*. М.

ГРАММАТИКА И РЕФЛЕКСИВНЫЙ ДИСКУРС

Е. Н. РЕМЧУКОВА

Важнейшим принципом функциональной грамматики является принцип «единства ее структурных и функциональных аспектов, ее системно-языковых и **речевых** <выделено мной. — *Е. Р.*> элементов» [Бондарко 2001: 7]. В последние годы стратегия ее развития все в большей степени определяется фактором взаимодействия элементов языковой системы и окружающей среды¹ и в фокусе внимания находятся компоненты комплекса «языковая система — функционирование ее элементов в речи» (А. В. Бондарко), однако факты **современной** разговорной, художественной и публицистической речи, как нам кажется, еще недостаточно вовлечены в функционально-грамматические исследования. Рассматривая в одной из своих статей употребление грамматических категорий в устной речи, М. А. Шелякин говорит о том, что в ней широко используются «заложенные во внутрисистемных отношениях экспрессивно-эмоциональные возможности грамматических форм, их «остаточные» признаки в целях умножения средств передачи всего многообразия и богатства выражаемой информации» [Шелякин 1986: 22]. Полноценный «выход в речь» возможен только тогда, когда грамматический анализ «вторгается» в **живые** языковые процессы, для которых характерны инновации, языковая игра, метафоризация и рефлексия: «благодаря системе, на ее фоне мы получаем удовольствие от действительной игры

¹ См., напр., анализ фактов детской речи в работах С. Н. Цейтлин, напр., [Цейтлин 2001] и диалектной речи в работах О. Г. Ровновой, напр., [Ровнова 2000].

слов, поэтических образов, метафор, остроумных неожиданностей» [Золотова 2001: 110].

Феномен языковой личности, определяющий интересы, перспективы и потенциал современной лингвистики, неотделим от понятия дискурса — текста, принадлежащего «живой» речи². **Рефлексивный дискурс** как проявление метаязыковой функции языка связан со способностью языкового самосознания «интерпретировать и квалифицировать элементы языкового сознания» [Вепрева 2002: 27] и подразумевает своеобразный «коммуникативный контроль» говорящего за своей речью. Рефлексивная деятельность плодотворно исследуется³ лишь по отношению к лексическому уровню языка, но она распространяется и на явления грамматики. Важность выбора точного, интересного, нового или непривычного слова (лексемы) подчеркивают разнообразные контексты, обосновывающие, оправдывающие или дискредитирующие позицию говорящего по отношению к слову. Такая речевая рефлексия — характерная черта современной жизни. Но в фокусе внимания языковой личности могут оказаться и грамматические компоненты высказывания. Осмысление специфики грамматической формы — ее структуры или особенностей употребления — связано с более глубоким уровнем языкового самосознания, с восприятием грамматики как «философского понятия всего человеческого слова» (М. В. Ломоносов).

Известны случаи осмысления терминологии грамматики или различных грамматических компонентов высказывания в поэзии⁴. Это одно из ярких проявлений актуализации грамматических значений — из смыслового фона речи они превращаются в ее содержательную часть. В пространстве именно поэтического текста эффект такого «освоения» морфологии особенно ощутим:

*Люблю тебя сейчас
не тайно — напоказ.*

² «Дискурс — это речь, “погруженная в жизнь”» [Арутюнова 1990: 137].

³ См. работы И. Т. Вепревой, напр.: [Вепрева 1998, 2000, 2002].

⁴ См. об этом подробнее: [Ионова 1998].

Не «после» и не «до» в лучах твоих сгораю.
 Навзрыд или смеясь, но я люблю сейчас,
 а в прошлом — не хочу, а в будущем — не знаю.
В прошедшем «Я любил» — печальнее могил.
 Все нежное во мне бескрылит и стреножит...
 Смотрю французский сон
 С обилием времен,
 Где в будущем — не так и в прошлом по-другому.
 К позорному столбу я пригвожден,
 К барьеру вызван я языковому.
 А — разность в языках!
 Не положенье — крах!
 Но выход мы вдвоем поищем и обрячем.
 Люблю тебя и в сложных временах —
 И в будущем, и в прошлом настоящем.
 (В. Высоцкий)

Выразительно неожиданное акцентирование грамматических значений, имеющих не глубокий понятийный (категория времени в стихотворении В. Высоцкого), а формальный, согласовательный характер (категория рода у глагола): «внезапное осознание того, что формы глаголов женского рода обозначают движения, речь, состояния человека противоположного пола, выражено в стихотворении И. Сельвинского “К вопросу о русской речи”. Морфологические формы становятся для субъекта лирического высказывания символами женственности» [Ионова 1989: 127]. Добавим: актуализация грамматического значения рода у глаголов прошедшего времени, формы которого не изменяются по лицам, не спрягаются, оказывается для Мужчины и Поэта настолько важной, что перерастает в «женское спряжение»:

Я говорю: «пошел», «бродил»,
 А ты: «пошла», «бродила».
 И вдруг как будто веяньем крыл
 Меня осенило!
 С тех пор прийти в себя не могу...
 Все правильно, конечно,
 Но этим «ла» ты на каждом шагу
 Подчеркивала: «Я — женщина!»...

Идешь с наивностью чистоты
По-женски все спрягая.
 И показалось мне, что ты —
 Как статуя — нагая.
 Ты лепетала, рядом шла,
 Смеялась и дышала.
 А я...я слышал только: «ла»,
 «Аяла», «ала», «яла»...

Подобные явления, которые мы относим к области *грамматического психологизма*, широко «внедряются» и в современную художественную, публицистическую, а иногда (что особенно интересно) — и в разговорную речь. Под «грамматическим психологизмом» мы понимаем процесс выбора грамматической единицы, предполагающий не только «осознавание», но и толкование грамматического смысла; не просто включение его в прагматический компонент высказывания, но и мотивацию этого включения. Грамматический психологизм, с нашей точки зрения, является одним из проявлений *рефлексивного дискурса*. **Рефлексивы**, по определению И. Т. Вепревой, — «относительно законченные высказывания, содержащие оценку употребляемому слову или выражению, формально включающие единицу “слово” или глаголы говорения и именования. Эти высказывания отнесены к определенному контексту и описывают некоторое положение вещей. Напр., “Помните, большевики раньше говорили ‘квасной патриотизм’”? Я теперь могу с гордостью сказать, да, я — квасной патриот, потому что квас лучше и здоровее множества других напитков ...» [Вепрева 2000: 26]. Таким образом, рефлексивы предполагают оценку фактов речи, выраженных лексемами современного русского языка, и «вербализируют когнитивные усилия для нахождения нужной лексической единицы» [Вепрева 2002: 20]. Мы предлагаем включать в рефлексивы и такие высказывания, в которых говорящий, объясняя свой выбор, *интерпретирует, квалифицирует, оценивает* не только лексемы, но и грамматические элементы языка, при этом наличие глагола говорения не является по отношению к грамматическому материалу обязательным, хотя в большинстве случаев

стве случаев он эксплицирован. Отметим еще одно существенное различие между лексическими и выявленными нами **грамматическими** рефлексивами. Первые представляют собой, по выражению И. Т. Вепревой, «вербализованный результат интроспекции «наивного лингвиста» [там же]; вторые же, связанные с более абстрактным уровнем языка, в меньшей степени свойственны обыденной речи и в большей степени — творческой и демонстрируют не только определенный уровень развития языковой личности, но и ее потенциал. Лексические рефлексивы, с нашей точки зрения, часто прагматически обусловлены необходимостью уточнения: объясняя значение слова, говорящий старается избежать коммуникативной неудачи. Грамматические рефлексивы носят более творческий характер, свидетельствуя о глубоком проникновении говорящего в символику грамматических абстракций, некоторые из которых становятся знаковыми не только для национальной, но и для общечеловеческой культуры. Еще одно интересное отличие состоит в том, что при грамматической рефлексии говорящий чаще объясняет именно **свой** выбор: неопределенно-личное *«так говорят потому, что...»* уступает место *«я выбираю (употребляю) эту грамматическую форму потому, что...»*.

Наиболее востребованной подобным образом оказывается, естественно, **грамматика времени**. Хотя идея времени заключена не только в грамматических, но и в неграмматических единицах, именно грамматические значения с их системным характером создают «каркас» концепта времени в языке, выявляя его важную роль в процессе осмысления человеческой жизни. Понятие прошлого, настоящего и будущего, воплощенное в грамматике, показывает, что «человек не ограничивается пассивным отношением ко времени: он не только воспринимает и фиксирует его, но и использует для у п о р я д о ч и в а н и я происходящего на временной шкале: фиксируя события — хронометрически, хронографически, хронологически <добавим: и грамматически. — Е. Р.> — при помощи даты и превращая их в факты, он придает им определенность, разграничивает и сравнивает их и говорит о том, что

уже прошло или еще не наступило» [Рябцева 1997: 79]. В рамках грамматического психологизма реальное время и время грамматическое намеренно сближаются, «смешиваются», подменяя одним другое. Грамматика становится жизнью, а жизнь — грамматикой в рассуждениях Анатолия Наймана (книга воспоминаний «Славный конец бесславных поколений»): *Было* <разрядка автора. — Е. Р.> — *единственная истина... У меня, как видишь, своего прошлого нет и не было никогда. Но у меня есть — Прошлое. Просто время. Прошедшее*) и героини романа Людмилы Улицкой «Казус Кукоцкого»: *Но непонятного очень-очень много. Так, в обыденности для всех яснее ясного, что жизнь логично и неотвратно делится на прошлое, настоящее и будущее, и к этому хорошо приспособлены и все наши чувства, и все мысли. Даже сам наш язык с его грамматикой.*

Среди частных грамматических значений категории времени наиболее востребовано в качестве названия воспоминаний⁵, естественно, **прошедшее время**. Старший сын известного писателя Юрия Германа (брат кинорежиссера Алексея Германа), искусствовед Михаил Герман, назвал свои мемуары «*Сложное прошедшее (passé composé)*». Объясняя в предисловии выбор названия, он пишет: «Читателя скорее привлекают воспоминания либо совсем усредненной личности, почти имперсональные, либо человека знаменитого. Надеюсь, читатель не упрекнет меня за некоторую вычурность названия, взятого из французской грамматики, — оно не искусственно. Так давно и произвольно *называю я* <курсив мой. — Е. Р.> про себя минувшее». В заглавии книги актуализируется не только соотношение грамматического значения прошедшего времени с прошлым, но и структурное противопоставление формы *сложного прошедшего* (passe composé) — форме *простого* (passe simple): **сложная** форма времени (составная: *avoir, etre + infinitiv*) символизирует и **сложность** прожитой жизни; кроме то-

⁵ Отметим, кстати, невероятную популярность на стыке веков именно этого жанра современной художественной публицистики (См., напр., мемуары актеров, режиссеров, писателей в серии «Мой XX век». Издательство «Вагриус»).

го, глагол в форме *passé composé* (в отличие от *passé simple*) обозначает действие прошедшее, но **связанное с настоящим**, и выражает **предшествование настоящему**. Контекст окрашен прагматикой иронического самооправдания, «подталкивающей» автора к необходимости мотивации выбора именно данной формы времени в качестве названия книги.

Однако устойчивые грамматические символы могут актуализировать план содержания функционально-грамматической категории и без подобного комментирования (что, собственно, и свидетельствует об их устойчивости). В таком случае мы предлагаем говорить о «грамматическом символизме». Для обозначения событий безнадежно давних, необратимых и невозвратимых и сегодня говорящий на русском языке (но знающий или изучавший иностранный язык) может использовать грамматический символ *“plus-gue-parfait”*. Для А. С. Пушкина, безусловно владевшего французским языком, такое употребление было абсолютно органично. «Уезжая в 1829 году на Кавказ, Пушкин написал в альбом Олениной одно из лучших своих лирических стихотворений: *Я вас любил...* Четыре года спустя, когда он был уже женат, он поставил под стихами *“plus gue parfait”* (давно прошедшее время) и этой подписью скрепил их прежнее значение» [Тыркова-Вильямс 1998: 182]. Ср. в прозе Г. Щербаковой: *Пропуская детство, юность, сразу перехожу из квамперфекта в сейчас*.

Устойчивым грамматическим символом в русском языке можно считать не только *«прошедшее время»*, но и *«сослагательное наклонение»*. Значения предположительности и возможности, желательности в предложениях *«Что могло бы быть, если бы Иван Грозный был психически нормален?»*, *«Если бы ты любил меня, мы были бы счастливы!»* при символизации представлены как значение невозможности, необратимости — актуализируется **ирреальная** модальность. В афоризме *«История не знает сослагательного наклонения»* утверждается **невозможность** рассматривать факты истории в аспекте предположительности. См. также: — *Глупо говорить в сослагательном наклонении, но неужели бы Вы отказались от Нобелевки?* (интервью с А. Вознесенским); Ты напрасно

мыслишь развитие наших отношений в *сослагательном наклонении*: это абсолютно бессмысленно (разговорная речь). Во всех этих случаях выражен прагматический компонент *неприятности* модальности предположительности и возможности, ее негативная оценка. Интервью с первой женой писателя С. Довлатова: — *А как сам Довлатов, оставивший в завещании просьбу не печатать его письма, отнесся бы к публикации вашей с ним переписки?* — *Вас устроит ответ в сослагательном наклонении?* Демонстрация бессмысленности, с точки зрения говорящего, грамматической семантики сослагательности соответствующим образом (негативно) характеризует и его самого.

Интересны и такие случаи, когда в качестве грамматического символа выступает *солецизм*. Некодифицированная форма родительного падежа множественного числа существительного *падеж* приобрела поистине концептуальное значение, символизируя полное незнание основ родного языка. Статья в «Независимой газете» (27.01.2001) называется «*Мы запутались в падежах и оборотах*». Рассуждая о плачевном состоянии русского языка, о проблемах языковой политики, авторы призывают: «*Помните о падежах. Падежи — наша головная боль (“падежов не знаем”)*». Окрашенная иронией, неправильная форма актуализирует парадигматическую вариативность родительного падежа множественного числа, сложный, комплексный характер которого создает определенные трудности для «наивного» говорящего.

К грамматическому символизму можно отнести не только национальные и интернациональные грамматические концепты, но и индивидуально — авторскую грамматическую символику, наиболее «броско» проявляющуюся в позиции заглавия. В названии книги художника Григория Брускина «*Прошедшее время несовершенного вида*» актуализируется грамматический комплекс «*вид + время*». Рецензия Льва Рубинштейна в журнале «Итоги» (13.02.2001) (одном из наиболее «качественных» с точки зрения языка) называется «*Совершенно настоящее время*» (отметим изысканность переключки двух названий). Лев Рубинштейн пишет: «...поучительные или просто

забавные истории... написаны именно так, как рассказаны... Получилась милая, занятая, смешная и умная книжка... И вот мы ждем выхода *“Прошедшего времени несовершенного вида”* — хорошее, кстати, название <подчернуто мною. — Е. Р.>. Авторская актуализация грамматической семантики не только прошедшего времени (мемуары), но и несовершенного вида подчеркивает и жанровое своеобразие книги (принципиальную незавершенность «кусочков»), и своеобразие стиля (простота, легкость) и содержания («...книжка, которая ничему не учит»).

Естественно, наибольший интерес представляют случаи развернутой мотивации. Приведем примеры, в которых подобным образом актуализируются следующие явления грамматики: (1) *безличности*, (2) *падежа*, (3) *числа*, (4) *рода* (по нашим наблюдениям, наиболее часто подвергающееся толкованию при персонификации), (5) *вида*, (6) *лица*:

1) — *Мама, ты не замечала, что в безличных предложениях есть какая-то безысходность: Моросит; Темнеет... Знаешь, почему? Не с кем бороться, не на кого жаловаться* (художественный фильм «Доживем до понедельника»). В данном случае квалифицируется грамматическая семантика однокомпонентного предложения спрягаемо-глагольного класса с безличным глаголом. «Бессубъектные предложения означают такое действие (или процессуальное состояние), которое по самому своему характеру не может иметь конкретного производителя (носителя)» [Русская грамматика 1980: 351], что обусловлено значением бессубъектного процессуального состояния — природы, внешней среды, обстановки. В данном высказывании акцентирована именно бессубъектность, т.е. независимость таких процессов от воли человека: *«не с кем бороться, не на кого жаловаться»*. Прагматический компонент безнадежности, безысходности окрашен философией грустной иронии, передающей душевное состояние героя фильма — умного, тонкого человека, испытывающего профессиональный и душевный кризис.

Иное душевное состояние выражено в следующей иронической характеристике, данной героем повести своей подруге:

Галя готовила себя в спутницы моей жизни, а по ее представлениям спутница должна жить в эмоциональном резонансе со своим избранником. Время от времени она **именно** <выделено мною. — Е. Р.> в **безличных оборотах** сообщала мне, что все несостоявшиеся браки были нежизнеспособны из-за неумения сопереживать (Братья Вайнеры. Телеграмма с того света). В данном случае предполагается не только бессубъектность, но и (в косвенной форме) категоричность высказываний героини повести, так как прагматический компонент категоричности реализуется в таких *не подлежащих* — *сказуемых* предложениях, структурную основу которых составляют сочетание определенных предикативных наречий с инфинитивом, например: *Сохранить брак невозможно, если не умеешь сопереживать*. В экспрессивном варианте (подразумеваемом в тексте) форма предикатива выносится в начало предложения: *Невозможно сохранить брак, если не умеешь сопереживать* (см. описание структурной схемы в: [Русская грамматика 1980: 323–324]).

2) — *А почему ты стала о музыке мало писать? — Я же не пишу «о». О музыке. О сексе. О смерти. О детях. Я пишу не в предложном, а в винительном падеже* (интервью с поэтессой В. Павловой. «Огонек», 30.10.1999). Актуализация значения прямого объекта, связанная с заменой предложного падежа в сочетании с предлогом *о* на винительный беспредложный, означает указание на «предмет непосредственного, прямого и полного приложения действия»: прагматика авторского эгоцентризма предполагает, что стихи создают, творят объект, а не описывают его.

3) *Стоит на полке польская книга — «Ады и Орфеи». Эссе рассказывают о Кафке, Джойсе, Фолкнере, Рембо... Не умея читать по-польски, я мог оценить только удивительное заглавие книги: Орфеи и Ады во множественном числе! Конечно, русская грамматика «разрешает» быть множеству «адов», но русская стилистика — против. Однако, какая верная — нежная! мысль, что у каждого Орфея — свой ад, куда он не может спуститься за своей Эвридикой. Наверное, это самое содержательное в метафоре Збышка: у каждого Орфея —*

своя Эвридика, и вернуть ее к жизни на прежней воле так и не удастся... (Даниил Данин. Бремя стыда. Книга без жанра). Множественное число существительных *Singularia tantum*, относящихся к разным лексико-грамматическим разрядам (*ад* — существительное конкретное, но обозначающее, согласно религиозным представлениям, место, где души грешников предаются вечным мукам, поэтому по своей лексической семантике оно близко к существительным-топонимам; *Орфей* — имя собственное), характеризуется особой выразительностью, которая в контексте данного высказывания становится объектом не только семантической, но и эстетической актуализации.

Естественно, грамматическая рефлексия встречается не только в русской речи. Актуализация оппозиции французских существительных по числу и мотивация множественного гиперболического выражены в шутовском высказывании — афоризме:

*On met la femme au singulier,
quand on a du bien a en dire, et on
en parle au pluriel, quand elle nous
a fait quelque mechanceté.*

(Sasha Guitry)

(О женщине говорят в единственном числе, когда хотят сказать о ней что-то хорошее, и во множественном — когда она нам делает что-то плохое).

4) — Я не могу простить французскому языку, что виолончель в нем **мужского рода** <*le levicoloncelle*. — Е. Р.>. Если бы в русском языке она была **мужского рода** — я бы никогда ее так страстно не обнимал. При этом контрабас у них — **женского рода** <*la contrebasse*. — Е. Р.> (интервью с М. Ростроповичем). Персонификация объекта связана здесь с актуализацией граммемы женского рода. Это явление, обладающее высокой продуктивностью в поэтических текстах (начиная с фольклорных), глубоко и всесторонне описанное лингвистами, по нашим наблюдениям, «внедряется» и в такие жанры современной речи, как интервью, реклама, публицистика. Мотивация осмысления грамматического значения рода существительно-

го, естественно, может быть связана с любым из родов: *Ну, и на хрена тебе это нужно? Не потянешь ты такую контору, да и не любишь ты свой институт, я же вижу. Страшно раздражает меня такой тон... Пытаюсь возразить: при чем тут любовь — нелюбовь? Институт — мужского рода, я собираюсь не ласкать его, а поставить на более или менее осмысленные рельсы* (Вл. Новиков. Сентиментальный дискурс); *Вся держава — одна большая пельменная... И они все залиты липким кофе с молоком (про это кофе дальше! Вот откуда корни перехода слова «кофе» из мужского рода в средний. Может быть, «г...» тоже когда-то было мужского рода?)* (А. Макарович. Сам овца).

Известно, что номинация мужского или женского пола оформляется средним родом, если говорящий хочет выразить пренебрежительное отношение к объекту (напр., о женихе: — *Оно тебе такое надо?*), но мотивация выбора формы среднего рода может быть и совершенно иной, подчеркивающей прямо противоположную (возвышенную) коннотацию транспонированной формы: *Неужели ее можно расчленять на ножки, ручки... Она целое, целая, кусок, сплав какого-то непонятного мне божественного мрамора. Она, как я называю это, — Оно <курсив автора>* (А. Минчин. Наталья). Интересно, что в обоих случаях общим является процесс десексуализации объекта, связанный с переводом местоимения в «неодушевленный» средний род: *он — оно* (жених «некачественный»); *она — оно* (романтически настроенный юный герой повести так ощущает неземное в Женщине — взрослой, красивой, умной).

5) *Теперь я понял разницу между глаголами **скучать** и **соскучиться**. Это разный вид, а следовательно, ты понимаешь, и совсем разные чувства. Соскучиться — это вдруг вспомнить, что есть кто-то, кого ты давно не видел, и захотеть увидаться, встретиться, общаться. Скучать — это совсем другое: это тоска, которая не покидает, то затихая, то усиливаясь... Соскучиться — это **приступ**, скучать — это **хроника** (разговорная речь). Тонкая и точная экспликация семантики видового противопоставления, произведенная говорящим, не только актуализирует грамматическую оппозицию «пре-*

дельность — *непредельность действия*», но и позволяет вникнуть в нее, прочувствовать внутреннюю форму вечного «противостояния» совершенного и несовершенного вида, столь важного для нашего языкового сознания.

б) Разнообразно проявляется грамматическая рефлексия, связанная с формами лица (местоимений и глагола). Категория лица занимает особое место в ряду грамматических категорий и лексико-грамматических разрядов: во-первых, категория лица имеет эгоцентрический характер и «представлена в разговорной речи таким многообразием типов употребления, что можно говорить о разрушении узуальных связей внутри этой категории в устной речи» [Шелякин 1986: 22]; во-вторых, «лицо у местоимений, занимая место лексического значения, оказывается главным в слове, оно дано как бы крупным планом» [Гин 1996: 109], поэтому прямые, переносные и нейтрализованные типы употребления форм личных местоимений столь разнообразно представлены в дискурсе и являются «излюбленным» объектом грамматической рефлексии.

Самое важное в «Базе» — это по-хорошему модные люди, которые там собираются... Мы позволим себе нарисовать условный портрет той их части, которая собирается в «Базе»... Действию они предпочитают наблюдение. Они ироничны... Можно было бы сказать «мы ироничны», ведь автор этой статьи находится внутри тусовки, но от «мы» уже папахивает манифестами, которые у них-нас выглядят нелепо (журнал “Bazar” 11.1999). В рамках данного высказывания варьируются прямое, переносное и интенциональное (актуализирующее грамматическую оппозицию *мы — они*)⁶ употребления личного местоимения *мы*: актуализация *мы* *эксклюзивного* («говорящий и он/они») подчеркивает, что *мы* употребляется в собирательном значении, указывающем на совокупность лиц (в числе которых находится и говорящий) и объединенных по какому-либо общему для них признаку; ироническая отсылка к употреблению *мы* вместо *я* в манифестах (напр., в торжественных обращениях царских особ) является намеком

⁶ Об интенциональности в грамматике см.: [Бондарко 1994].

на негативное восприятие всякого рода манифестов, символом которых в русском языковом сознании является фраза «*Мы, Николай Второй...*»; интенциональное употребление, нетривиальность которого состоит в том, что актуализируемое противопоставление 1 и 3 лица вместе с тем оформлено как единство, как комплекс (у *них-нас*). Иронически окрашено и транспонированное употребление *мы* в воспоминаниях А. Наймана о встрече с И. Бродским: *Я улетаю в Москву и в конце разговора, на прощанье, сказал: «Мы за вас молимся плохо, зато стараемся взять регулярностью».* «*Мы*» в данном случае было шуточное «я» — как он сам любил говорить, когда «я» было неловко.

См. также: *К тому же его смутил и телефонный звонок профессора Гансовского, который сначала долго распинался по поводу исключительной научной репутации Павла Алексеевича, потом дал понять с помощью обобщающего местоимения «мы», что и себя он причисляет к немногим добросовестным исследователям...* (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого).

Подобная ирония может стать привычной для говорящего и слушающего формой лингвистической игры: *И вот, значит, Козицкий собирает свой номер, набирает мой номер и спрашивает, не хочу ли я чего-нибудь написать. Хочу, — говорю я ему. — Давно хочу. О крахе либерализма. — Ну, нет, — говорит Козицкий, и даже по телефону видно, как он там в Огоньке руками машет, этого **наш** <т.е. некто он. — Е. Р.> ни за что не пропустит. Говоря «**наш**», он имеет в виду себя, когда ему не нравится какая-нибудь тема. Но чтобы я на него не обижался, он придумал «**нашего**». Мы играем в эту игру примерно через номер (Д. Быков. Огонек 10.2001).*

Употребление личного местоимения третьего лица *он (она)* вместо *я*, являясь одним из ярких проявлений грамматического психологизма, может стать объектом не только собственно лингвистического, но и психолингвистического исследования. Желание говорящего по какой-либо причине дистанцироваться от себя самого — снять с себя ответственность или оценить себя более объективно (*Я всегда смотрю на себя отстраненно и думаю о себе в третьем лице* — таким образом я могу

быть критичной — разговорная речь) — обуславливает коммуникативное «переключение» форм лица, осознанно актуализированное в высказывании: *У меня к собственному изображению отстраненное отношение. Часто монтажеру говорю про себя: этот вопрос у нее отрезь, он у нее лишний. — А что она вам совсем не нравится? — Она мне нравится, когда она такая, какой я хотела бы быть* (интервью с известной телеведущей Кирой Пошутинской). Коммуникативный перенос (я — она), позволяющий личности увидеть себя как бы со стороны, может стать предметом не только ее собственной, но и авторской рефлексии в художественном тексте. Оценивая воспоминания Олениной о Пушкине, Ариадна Тыркова-Вильям пишет: *Из всех женщин, около которых кружился Пушкин, только она оставила свой дневник, где встречи с поэтом записаны не сквозь туман воспоминаний, а сразу, под свежим впечатлением... Дневник отражает психологию просвещенного барства и характер самой Олениной... Дневник свой она вела по-русски, изредка переходя на французский. Тогда она говорит о себе в третьем лице, точно пишет роман* (Тыркова-Вильямс 1998: 178–179). Привычное транспонирование становится яркой характеристикой языковой личности, ее психологического типа: *«Опять набрала вес, потому что жалко себя, — писала она <великая шведская актриса Ингрид Бергман. — Е. Р.> Рут в Калифорнию, — и потому пришлось дать ей мороженого. Подобно другим актрисам (Мерлин Монро, Марлен Дитрих, Бэтт Дэвис), Ингрид часто говорила о себе в третьем лице»* (Д. Спото. Ингрид Бергман).

Обозначенная нами триада *грамматическая рефлексия* (ГР) — *грамматический символизм* (ГС) — *грамматический психологизм* (ГП) в сходных, но не тождественных формах отражает определенный этап речемыслительного процесса. ГР предполагает мотивацию выбора грамматической единицы, комментирование (в большей или меньшей степени развернутое) ее структуры или особенностей употребления; ГС — ее концептуализацию (с возможной мотивацией); ГП, являясь обобщающим понятием, предполагает такое проявление авторской индивидуальности, которое реализуется в способности языко-

вой личности осмыслить, актуализировать грамматику, выразив в ней себя — свое отношение к миру, своей характер — или, опираясь на грамматику, охарактеризовать другого человека (собеседника, героя произведения, известного человека и т.д.). Ее нельзя рассматривать в качестве периферии рефлексивного дискурса, поскольку высказывания и тексты, подобные приведенным выше, встречаются нередко, отражая живые языковые процессы. Кроме того, анализ данных фактов позволяет под новым углом зрения увидеть неразрывное единство когнитивного и прагматического уровней структуры языковой личности: абстрактные грамматические категории оказываются «вписанными» в картину мира, отражающую иерархию ценностей, но их реальное осмысление за пределами строгой науки становится возможным лишь в прагматическом контексте, предполагающем оценку самим говорящим своей или чужой речевой деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

- Арутюнова Н. Д. 1990 — Дискурс. *Лингвистический энциклопедический словарь*. М. 136–137.
- Бондарко А. В. 2001 — *Основы функциональной грамматики*. СПб.
- Бондарко А. В. 1994 — К проблеме интенциональности в грамматике (на материале русского языка). *Вопросы языкознания*. Гин Я. И. М. № 2. 29–42.
- Вепрева И. Т. 1998 — Тексты-рефлексивы как источник информации об изменениях в русской языковой картине мира. *Русский язык в его функционировании. Тезисы докладов международной конференции. Третьи Шмелевские чтения*. М. 16–18.
- Вепрева И. Т. 2000 — Рефлексивы как источник информации об изменениях в русской языковой картине мира. *Русский язык сегодня*. М. 26–36.
- Вепрева И. Т. 2002 — Проблемы семантического анализа лексики и «наивная семасиология». *Проблемы семантического анализа лексики. Тезисы докладов международной конференции. Пятые Шмелевские чтения*. М. 20–22.
- Герман М. Ю. 2000 — *Сложное прошедшее (passé composé)*. СПб. 11–13.

- Гин Я. И. 1998 — *Поэтика грамматических категорий*. СПб.
- Золотова Г. А. 2001 — Грамматика как наука о человеке. *Русский язык в научном освещении*. № 1. 107–114.
- Ионова И. А. 1989 — *Эстетическая продуктивность морфологических средств языка в поэзии*. Кишинев.
- Ионова И. А. 1998 — *Поэтический курс русского языка*. Кишинев.
- Ровнова О. Г. 2000 — Употребление грамматических форм в русской диалектной речи. *Проблемы функциональной грамматики. Категории морфологии и синтаксиса в высказывании*. СПб. 67–74.
- Русская грамматика 1980 — *Русская грамматика*. Т. 2. М.
- Рябцева Н. К. 1997 — Аксиологические модели времени. *Логический анализ языка. Язык и время*. 78–96.
- Тыркова-Вильямс А. 1998 — *А. Пушкин*. Т. 2. (1824–1837). М. 178–182.
- Цейтлин С. Н. 2001 — Детские речевые инновации: опыт анализа. *Исследования по языкознанию*. СПб. 329–337.
- Шелякин М. А. 1986 — Ситуативность устной речи как фактор нейтрализации грамматических значений. *Семиотика устной речи. Лингвистическая семантика и семиотика*. 481. Тарту. 3–24.

НАЧИНАТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ В РУССКИХ ГОВОРАХ

О. РОВНОВА

Не начавши, думай, а начав, делай.

На зачинающего Бог.

Чему было начало, тому будет и конец.

Пословицы

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Образование и употребление глаголов начинательного способа действия в аспектуальной системе современных русских говоров и современного русского литературного языка характеризуется значительной общностью. Совпадают как репертуар основных начинательных приставок (*за-*, *по-*, *вз-*), так и их словообразовательные связи с производящими глаголами: начинательные глаголы образуются преимущественно от *не-пределных* бесприставочных глаголов НСВ. Лексико-семантические группы их подробно описаны в ряде работ (см., в частности: [Земская 1955: 9–14; Шелякин 1969; Авилова 1976: 271–283; Храковский 2001: 157–162]). Это позволяет назвать здесь применительно к диалектному материалу лишь основные группы производящих глаголов и ограничиться примерами, в которых наряду с общерусскими употреблены глаголы — лексические и лексико-семантические диалектизмы.

Среди начинательных глаголов с приставкой *за-* самую обширную группу в говорах представляют дериваты от глаголов *звучания* и *речи*: волог. *захарчать* ‘захрипеть’: *В груди что-то захарцело, захрипело, не знаю, какая и болесь привязалась. Смерть, наверно, за мной пришла* [СВГ 1985:

159]; кар. *закра́чкать* ‘затрещать’: *Если ступишь на эту доску, так сразу **закра́чкает**, **затрециит** так, что внизу слышно* [СРГК 1995: 140]; волог. *закорколя́кать* ‘начать пищать, чиркать (о цыплятах, птичках)’: *Цыплята **заорут** как все, **закорколя́кают*** [СРГК 1995: 138]; яросл. *заликова́ть* ‘заговорить, начать говорить (о ребёнке)’: *Она ещё только недавно у нас **заликовала*** [ЯОС 1985: 81]; кар. *заречить́ся* ‘начать говорить’: *Клавдия со мной даже не **заречилась**, не могла, пьяна была* [СРГК 1995: 190]; арх. *засекта́ть* ‘быстро заговорить, зачаснить’: *У кого разговор частый, быстрый, так говорят **засектали*** [СРГК 1995: 198]. Начинательная приставка *за-* присоединяется к глаголам с о с т о я н и я (физиологического, психологического): волог. *залежа́ть* ‘тяжело заболеть на длительное время, слечь’: *Ка́тька-то вчера́ весь день на дожджу́ **насла**, **сегодня и залежала**, не встает* [СВГ 1985: 127]; деул. *закано́вать* ‘начать быть привередливым в еде (в период беременности)’: *Она́ вот **можить** **закановала**: на солёненькия **потянуло*** [ССРНГ 1969: 182]¹; деул. *замы́ться* ‘начать менструировать’: *Я их [детей] **через три года родила**... **Кормю** — **ня моюсь**, а **бросила кормить** — и **замыглась*** [ССРНГ 1969: 188]; деул. *зазабо́титься* ‘начать тревожиться, волноваться, испытывать беспокойство по какому-л. поводу’: *Он **гдей-то ушёл**, она́ **зазаботилась**, ну-ка **што сделать*** [ССРНГ 1969: 182]. Начинательные глаголы с *за-* образуются от глаголов деятельности и поведения, имеющих оценочный компонент: деул. *замуро́вать* ‘запьянствовать, запить’: *Он с **расстройства загуляит**, **замуруит***; деул. *забушева́ть* ‘начать скандалить’: *Если **жёны что купюют на́ ноги** — **вы забушуёте**, а на **вино** — **из ряки́ доста́нете*** [ССРНГ 1969: 187, 174]; яросл. *запра́здновать* ‘начать бездельничать, проводить

¹ Примеры из словарей южнорусских говоров (СОГ 1989, ССГ 1980, ССРНГ 1969) даются в упрощенной орфографической записи.

время праздно': *Вот уж несколько дней, как он запраздновал* [ЯОС 1985: 95]; яросл. *застепенничать* 'начать важничать': *Нонче он застенничал что-то* [ЯОС 1985: 104]. Приставка *за-* придает начинательное значение глаголам разнонаправленного движения: новг. *заснури́ть* 'начать беспокожно бегать': *Заснури́ла, забе́гала* кошка, молоко-то ищет [СРГК 1995: 203], модальным глаголам: яросл. *захо́титься* 'захотеть': *Заохотился идти вместе со взрослыми, так уж не хнычь* [ЯОС 1985: 90] и некоторым др.

Словообразовательные связи других начинательных приставок гораздо менее широки.

Для начинательной приставки *по-* характерно присоединение к глаголам однонаправленного движения и таким, лексическая семантика которых содержит компонент перемещения в определенном направлении, см. в говоре д. Деулино: *пополо́зть* 'начать ползти', *пове́нуть* 'повеять, подуть (о ветре)', *полеле́ять* 'начать бурно течь (о воде)': *Пополо́з мурай, мурай... мурай пополо́з* [показывает мальчику на землю]; *В хоро́шей голо́ве́ есть гли́на, в плохой — мяки́на, ве́тер пове́нить, мяки́на уляти́ть; Ключи́ потяку́ть* [последождя] — *вот полиле́ли* как [ССРНГ 1969: 440, 441, 432]. Она присоединяется также к глаголам чувственного восприятия: деул. *пообы́читься* 'понравиться, прийтись по вкусу': *Жениху́ невеста побы́чилась — думать, лучше нет.* [— Когда говорят «пообычилось»?] — *Хто ходит, гуля́ить с ряб́ятами. Она́ яму́ пондра́вилась, побы́чилась* лучше всех [ССРНГ 1969: 439].

Приставка *вз-* образует в говорах дериваты с начинательным значением преимущественно от глаголов звучания: волог. *взгреме́ть* 'загреметь (о громе)': *Как три раза взгремело, никогда не бывало так, как ночесь* [СРГК 1994: 193]; арх. *взвизжа́ть* 'завизжать, закричать': *Выры́л бато́жык ряби́новый, да йево! Тот взвизжа́л* [АОС 1985: 60], а также

эмоционального состояния: арх. *взраде́ть* 'обрадоваться': *Я́ взраде́ла, зы́лку-то зьде́сь пове́сила, кулако́ф не боя́лась* [АОС 1985: 74]; арх. *вспла́кать* 'заплакать, расплакаться': *Па́рень слезы́ не вы́ронил, не фспла́кал* [АОС 1990: 50].

Сущность начинательного значения — переход действия из «ничто» в «бытие» (М. А. Шелякин) — наиболее отчетливо выявляется в контекстах, которые описывают ситуацию, непосредственно примыкающую к началу действия, то есть ситуацию предшествующую и/или последующую. Ситуация «небытия» может описываться с участием глагольных и неглагольных средств, антонимичных начинательному глаголу²: *То молча́ла, молча́ла, а то загу́арила* (деул. *загу́арить* 'начать говорить') [ССРНГ 1969: 180]; *Скоро я опять заку́метаю, не знаю, что весело́ стало, к плачу, что ли* (лен. *заку́метать* 'загрустить') [СРГК 1995: 145]. Предшествующая ситуация часто включает в себе предпосылки для обозначаемого начинательным глаголом действия, и тогда оно возникает как следствие предшествующего действия: *Тогда грип этот сходил несчастный, меня так заболело́, заносило́, встать не могу* (арх. *заноси́ть* 'начать знобить, лихорадить') [СРГК 1995: 164–165]; *Гляжу́, моя сви́стнула на яво́ [медведя], он и поше́л... поше́л опе́ть ровным ходом, не побе́ж, не потрусил́ ничаво́, а так ровным ходом поше́л и поше́л* (деул. *побе́чь* 'побежать') [ССРНГ 1969: 408]. На последующее «бытие» начатого действия, его продолжение, указывают различные элементы контекста, и в частности глаголы, производящие для начинательных, см. примеры из орловских говоров: *Чтой-то они взбегались, взволновались, бегаютъ. прибираютъ всё; чтой-то они щуютъ. Ай милися к ним? (взбе́гаться 'начать безостановочно бегать, засуетиться')*; *Она всё колготится, колго-*

² В примерах ситуация, предшествующая началу действия (ситуация «небытия»), обозначается разрядкой, последующая (ситуация «бытия» действия) — подчеркиванием.

тится — племянникам угодить старается. Уж она как всколготится, не знает, что и делать, как они приедут (всколготиться 'начать хлопотать, суетиться') [СОГ 1989: 31, 96].

В контексте могут быть представлены обе ситуации, «примыкающие» к начинательному значению: Как лёд об лёд уд а́ р и т с я, вся рья́ захрястѣть, все́ в избе́ навь́лет, фсе́ слы́шно... да хрястѣт лёд, хряставе́нь кака́я, как дрань дерѣт (деул. *захрястѣть* 'затрещать, захрустеть') [ССРНГ 1969: 195]. Важно подчеркнуть, что указание на последующее продолжение действия связано именно с элементами контекста, а не с начинательным глаголом как таковым, который обозначает именно переход, скачок действия из «небытия» в «бытие», его мгновенное начало³.

Диалектный материал, использованный в этом разделе и представивший образование и употребление начинательных глаголов в русских говорах, является вполне «ожидаемым», поскольку приведенные факты обусловлены единством аспектуальной системы современного русского языка в его литературной и диалектной разновидности. В дальнейших разделах речь пойдет о явлениях, показывающих специфику начинательного способа действия в говорах.

СОСТАВ НАЧИНАТЕЛЬНЫХ ПРИСТАВОК В ГОВОРАХ

Кроме названных выше основных начинательных приставок (*за-*, *по-*, *вз-*), к словообразовательным средствам выражения начинательного значения в русском литературном языке относятся также приставки *воз-* (*возрадоваться*), *у-* (*увидеть*), *раз-* (*разгневаться*), *об-* (*обрадовать*) и конфиксы *за-* — *ся-* (*загореться*) и *раз-* — *ся-* (*расплакаться*). Все приставки, кроме *за-*, имеют те или иные семантические ограничения на образо-

³ На то, что начинательный способ действия не включает в свое толкование представление о длительной фазе продолжения моментального действия, «хотя бы и отодвинутой на второй план», обращает специальное внимание М. Я. Гловинская в: [Гловинская 1999: 252–253].

вание начинательных глаголов, у *раз-*, *вз-* и *воз-* начинательное значение сочетается со значением интенсивности, а глаголы с *воз-* характеризуются к тому же книжностью и архаичностью, что связано со старославянским происхождением приставки. Все эти морфологические средства выражения начинательного значения являются общерусскими, а *за-* является самой продуктивной начинательной приставкой как в литературном, так и в диалектном языке. В говорах, однако, состав начинательных приставок несколько шире, что связано с появлением диалектных новообразований, с одной стороны, и сохранением аспектуальных архаизмов — с другой. Последнее обстоятельство делает необходимым обращение к данным исторического словообразования.

В древнерусском языке начинательное значение выражали приставки *за-*, *по-*, *взз-*, *оу-*, *въ-*, *на-*, *обь-*. Убедиться в этом можно, сравнив приставочные образования со значением 'начать' от корня *-ча/-чьн-* с этим же значением. Согласно словарям древнерусского языка, это глаголы *зачати*, *почати*, *възчати*, *оучати*, *въчати*, *начати*, *обьчати*. Все они выступали в инфинитивных конструкциях, выражающих акциональное значение 'начало действия' аналитически. Судьба и самих фазовых глаголов, и соответствующих начинательных приставок оказалась в русском языке различной.

Из всех рассматриваемых фазовых глаголов в современном общенародном языке остался лишь *начать*. Приставка *на-* утратила начинательное значение, и о нем сохранилась память в глаголах *настать*, *наступить* (*наступила/настал весна*). Утратили собственно фазовое значение в современном литературном языке и глаголы *зачать* и *почать*, сохранив, однако, признак 'начало' в своих полнозначных лексико-семантических вариантах (соответственно 'дать начало жизни кому-л.' и 'приступить к потреблению чего-л., взять впервые часть от чего-л. '; см. также устойчивое выражение *непочатый край работы*). В современных говорах *зачать* и *почать* продолжают употребляться в аналитических начинательных конструкциях и распространены на всей диалектной территории. Полностью ушли из языка *възчати* и *въчати*; крайне редко

встречаются в говорах глаголы *обчать* и *учать*, представленные в диалектных словарях единичными примерами: ворон. *Дорого обчать и сделать начин в работе, а дальше дело пойдёт как по маслу*; кубан. *Надо обчинать свой участок* [СРНГ 1987: 266]; яросл.: *Как учал он рассказывать* [ЯОС 1991: 25]. Приставка *у-* в начинательном значении сохранилась всего в нескольких глаголах восприятия (*увидеть, узнать, услышать, учуять*), *об-* — у *обозлиться, обрадоваться*.

В древнерусском языке приставка *в-* в начинательном значении присоединялась к глаголам, обозначающим речь и звуковые явления, состояние, чувство, желание человека. Такие приставочные глаголы или вышли из употребления, или в них произошла замена *в-* более продуктивной начинательной приставкой [Воробьева 1958: 10].

В современных говорах обнаруживаются рефлексy приставки *в-* с начинательным значением. Так, в Архангельском областном словаре приводятся глаголы *взачать* и *вначать* ‘начать’, иллюстрируемые единичными примерами: *Взачать — йесь начать*; *Вначнут загибать* [АОС 4: 58, 135]. О старом начинательном значении этой приставки свидетельствуют и глаголы с *в-*, в лексическое значение которых входит сема ‘начало’. В говорах Зонежья, например, одним из значений глагола *вставать* является ‘брать начало, вытекать (о ключе, источнике)’: *Ключ вставает в том угле, а там вода бежит*; *На пожнях лягловинка на сухом месте прорыта, вода там — ключ вставает. Это колодец* [СРГК 1994: 246], а в архангельских говорах у *встать* есть лексико-семантический вариант ‘настать, наступить, появиться’: *Как война фстала; Я принесла вехоть да тас, но што-то неохота фстала* [АОС 1990: 57]. Действительно с начинательным значением приставка *в-* выступает в небольшой группе экспрессивно окрашенных глаголов однонаправленного движения, имеющих интерпретационный, оценочный характер, см. кар. *вкурить* ‘быстро побежать’, арх. *вдырить* ‘пуститься в путь, припустить’: *Она [телка] от меня вкурила, и не догнать было* [СРГК 1994: 205]; *Я посмот-*

рела, посмотрела — вас нет, ы вдырила; Как вдырим, так на шэсь километроф [АОС 1983: 73]. Как начинательные можно осмыслить глаголы восприятия пск. *вчувствовать* ‘почувствовать’, тем более что он употреблен в примере рядом с начинательным глаголом *заржать*: [*Колька*] *жэрепча́ запряк, тот фчуствавал лошата и заржал* [ПОС 1996: 92], и арх. *вослышать* ‘почуять’: *Вослышит запах падали и идёт* [АОС 1987: 121]. Таким образом, в современных говорах сохраняется приставка *в-* в архаичном для нее начинательном значении, реализующемся в глаголах двух лексико-семантических групп, и такие примеры редки.

Диалектным новообразованием является приставка *вза-*, которая употребляется в архангельских говорах для образования существительных, наречий, отнаречных прилагательных и глаголов. Согласно Архангельскому областному словарю, приставка *вза-* «общего значения не имеет, сохраняя значения приставок *в-*, *вз-* (*воз-*), *за-*» [АОС 1985: 46]. Начинательное значение есть у них у всех, поэтому трудно ответить однозначно, в результате контаминации *за-* с какой именно приставкой — *в-* или *вз-* — образовалась начинательная приставка *вза-*; происхождение из *вз-* + *за-* кажется более вероятным. Ее словообразовательные связи охватывают глаголы разнонаправленного движения и эмоционального состояния: *взаездить* ‘начать ездить’: *Она́ взаездила за реку, он, видно, ейю́ обыграл — прежде времени родила́* [АОС 1985: 52]; *взаходить* ‘всходить, появляться на небосклоне (о небесных светилах)’: *Сонце только нацьнёт взаходить — мы́ и на роботу́; Как солнышко-то взаходит, так нать на роботу́* [там же: 58]; *взабродить* ‘начать подвергаться процессу брожения’: *Нажыфку розведёи из дрожжэй, кинеш ф пиво, дак оно́ забродит* [там же: 47]; *взанравиться* ‘понравиться’: *Ну́ как вам занравилось у нас?* [там же: 56]; *взаплакаться* ‘начать плакать’: *Дефчёнки заплакались* [там же: 56].

Чрезвычайно интересно, что начинательное значение отмечено в [АОС 2001: 173] у приставки *до-*, см. арх. *довопитъ* 'закричать': *Довопила: «Караул», да Колька прибежал, а то бы унятали* [АОС 2001: 230]. Употребление этой приставки с начинательным значением требует специального изучения, однако если принять во внимание, что в некоторых славянских языках, например болгарском и сербохорватском, приставке *до-* оно свойственно [Соколов 1978: 63–64], то обнаружение его в русских говорах не покажется столь невероятным.

Таким образом, кроме общерусских словообразовательных средств выражения начинательного значения, в говорах используются также приставки *в-*, *вза-* и, возможно, *до-*; в аналитических конструкциях употребляются фазовые глаголы *начать*, *зачать*, *почать*.

В семантике начинательных приставок обнаруживается диалектическое единство начала и конца, «заявленное» в языке уже тем, что слова *начало* и *конец* восходят исторически к одному корню. Все основные начинательные приставки способны выражать ингрессивную начинательность — единство начала действия и его результата. Приставки *вз-* и *по-* выражают только такую разновидность начинательности, а *за-* — в зависимости от семантики базовых глаголов и контекстуальных условий (см.: [Авилова 1976: 273–280; Петрухина 2000: 197–202]). Помимо начинательного значения, они имеют значение результативно-перфективирующее, то есть выступают в чистовидовой функции. Наконец, у приставочных многозначных глаголов могут развиваться антонимичные лексико-семантические варианты со значениями 'начать' и 'перестать, кончить'. Такая энантиосемия свойственна глаголу *запомнить*, который в псковских говорах имеет противоположные значения 'сохранить, удерживать в памяти': *Только рас услышу плахоё, сразу запомню* и 'забыть': *Сафсем запомнила выбрасить се́на* [ПОС 1996: 57]. У приведенных выше глаголов *встать* и *вставать*, кроме значения с признаком 'начать', имеются и значения с признаком 'перестать, исчезнуть' — *встать* 'прекратить свое действие, существование, движение':

арх. *Вѣтер фстал, можно за венікамі сходитьь; Так и фстала память, теряйцеца ум* [АОС 1990: 57]; *вставать* 'исчезать, пропадать': кар. *А у меня память вставает куда-то* [СРГК 1994: 246].

ПОВЕДЕНИЕ ПРИСТАВКИ *вз-*

Словообразовательные связи начинательной приставки *вз-* в говорах и литературном языке пересекаются лишь частично: в говорах круг базовых глаголов шире. Сферой пересечения являются глаголы двух лексико-семантических групп — состояния, а также звучания и речи.

В работах по аспектологии литературного языка отмечается, что при соединении с одним и тем же глаголом *вз-* по сравнению с *за-* придает начинательным действиям большую интенсивность и напряженность. Это обусловлено тем, что в литературном языке приставка *вз-* присоединяется к таким базовым глаголам, в лексическое значение которых включен признак интенсивности (см. примеры в: [Шелякин 1969: 25–26]). Именно поэтому начало действия, обозначенное глаголом *вскричать*, оценивается как более напряженное по сравнению с *закричать*. В диалектном языке это противопоставление снято, поскольку признак 'интенсивность' не является постоянным в базовых глаголах, сочетающихся с приставкой *вз-* (и ее фонетическим вариантом *воз-*⁴). Сравнение контекстов, содержащих оформленные разными приставками начинательные глаголы, говорит о том, что случаи типа *залюбить / взлюбить / возлюбить, зарадоваться / взрадоваться / возрадоваться, задрасться / вздрасться* представляют собой в говорах одинаковые в лексическом плане приставочные варианты, см. примеры: яросл. *Она давно его залюбила; Залюбил на свое горе* [ЯОС 1985: 83] — орл. *Двенадцать душ семейство было, мене взлюбили* [СОГ 1989: 39] — деул. *Ой, возлюбил-то, к*

⁴ В статье не обсуждается стилистическая нагрузка приставки *воз-* в фольклорных текстах. См. об этом: [Павленко 1972].

другой не идёт, а к ней идёт (о маленьком ребенке) [ССРНГ 1969: 82]; пск. *Вот придёт писёмца, и заряуешься* [ПОС 1996: 85] — арх. *Письмо полуцили, взрадовались* [АОС 1985: 74] — арх. *Испугались, не знаю, возрадовались* [АОС 1987: 28]; пск. *Он зверства набярёцца — я и убяжу; задерёцца ведь пйа́ный* [ПОС 1996: 60] — орл. *Там такая бу́цца поднялась, как вздралися. Драка была ужасная* [СОГ 1989: 41].

Рассмотрим словообразовательные связи приставки *вз-* подробнее. В говорах отмечены следующие оформленные ею начинательные глаголы з в у ч а н и я и р е ч и: *вскрича́ть* ‘закричать’, *возвопи́ть* ‘закричать, заплакать’, *взвopíть* ‘громко кричать’, *взрве́ть* ‘громко кричать’, ‘заплакать’, *взвы́ть* ‘громко заплакать, начать причитать’, *всхохота́ть* ‘засмеяться, захохотать’, *взвизга́ть* и *взвизжа́ть* ‘завизжать’, *взворкова́ться* ‘начать мягко, нежно говорить между собой (о влюбленных)’, *взыгра́ть* ‘начать петь; запеть’, *вздыша́ть* ‘задышать, вздохнуть’⁵, *взля́ять* ‘залаять’, *взрыча́ть* ‘зарычать’, *взрюха́ть* ‘зарычать, зареветь’, *взгреме́ть* ‘загреметь, загрохотать’.

Приставка *вз-* присоединяется к глаголам, называющим различные с о с т о я н и я (эмоциональные, психологические, интеллектуальные, физические): *взбеспоко́ить* ‘взволновать, встревожить’, *взбулга́чить*, *взволни́ть* с тем же значением, *возволнова́ться* ‘взволноваться’, *вспла́кать*⁶ и *вспла́каться* ‘заплакать’, *взрыда́ть* / *возрыда́ть* с тем же значением, *взра́доваться* / *возрадоваться* ‘обрадоваться’, *взраде́ть* / *возраде́ть* с тем же значением, *возрадовать* ‘обрадовать’, *взвесели́ть*

⁵ Глагол *вздыша́ть* включен в группу глаголов звучания на основании примера: *Закопай и слушат — не взды́шит ли (медведь)* [АОС 1985: 71].

⁶ В глаголах со значением ‘плакать’ сема эмоционального состояния может сочетаться с семой звучания. В зависимости от актуализации одной из них такие глаголы включены и в группу «состояние», и в группу «звучание».

‘развеселить’, *взвеселиться* ‘развеселиться, стать веселым’, *взжалеть* ‘пожалеть’, *взлюбить* / *возлюбить* и *взлюбовать* / *возлюбовать* ‘полюбить, испытать приязнь, влечение’, *возлюбить* ‘полюбиться, понравиться’, *взгореть* ‘покраснеть, смутиться’, *вознегодовать* ‘рассердиться, возмутиться’, *воспылать* ‘рассердиться, разгневаться, вспылить’, *возлютиться* ‘разгневаться’, *возневидеть* ‘невзлюбить, возненавидеть’, *возыметь* ‘почувствовать, ощутить’, *воспомнить* ‘вспомнить’, *вздумать* с тем же значением, *воспомниться* ‘вспомниться, прийти на память’, *возболеть* и *возболеться* ‘заболеть, начать испытывать боль’, *возразиться* ‘заболеть’, *возневозможи* ‘занемочь, появиться недомоганию’.

Это основные группы глаголов, к которым в говорах присоединяется начинательная приставка *вз-*, но ее словообразовательные связи ими не ограничиваются.

Приведенные примеры показывают, что в лексическое значение многих базовых глаголов, соединяющихся с *вз-*, входит семантический признак интенсивности. Прежде всего он присущ тем из них, которые называют «сильные» чувства (тревогу, волнение, радость, веселье, любовь, негодование, гнев и под.), а в глаголах звучания и речи он реализуется как компонент ‘громко’. Однако говорить о такой специализации словообразовательных связей начинательной приставки *вз-* в говорах нельзя, в отличие от литературного языка. Об этом свидетельствует и следующий материал.

Приставка *вз-* придает начинательное значение глаголам *однонаправленного движения*: арх. *всплыть* ‘начать плыть, поплыть’: *А кто переезда не знает, так тот и фспловёт* [АОС 1990: 50]; новг. *вспятиться* ‘двинуться в обратном направлении’: *Поехала машина, мост затрещал — и вспятилась* [СРГК 1994: 246]. В архангельских говорах глаголы *брести* — *бродить* в первичном значении синонимичны

глаголам *идти* — *ходить*⁷. Распределение приставки *вз-* в этой паре своеобразно: соединяясь с глаголом однонаправленного движения, она выступает в пространственном значении: *взбрести* ‘зайти в какое-н. труднопроходимое место (воду, снег)’: *Взбредёшь ли в воду в ботинках* [АОС 1985: 58], а соединяясь с глаголом разнонаправленного движения, имеет начинательное значение, но при этом глагол, судя по толкованию и примеру, приобретает характер однонаправленного движения: арх. *взбродить* ‘пойти куда-н., отправиться’: *Отвязалазь бы я — взбродила куды-нибудь, нашла бы грибоф на варево* [АОС 1985: 58].

Приставка *вз-* обозначает начало природных процессов: арх. *взбушевать* ‘стать бурным, разбушеваться’: *Ой, море-то взбушевало, так какйе взводни* (‘большие волны’) *ходят* [АОС 1985: 59]; арх. *взволноваться* ‘начать волноваться, покрыться волнами (о водоеме)’: *Йеесли вода взволновалась — рыба йеё* [АОС 1985: 61]; кар. *взьерошиться* ‘пойти мелкой рябью, зарябить’: *Вода взьерошилась, тучи пошли и ветер* [СРГК 1994: 198]; арх. *вспылать* ‘вспыхнуть, загореться, запылать’: *Куцю зажгеи, и фспылайот* [АОС 1990: 54].

Возможны начинательные дериваты от глаголов с модалным значением: красн. *всхотеть* ‘иметь желание, захотеть’: *Не всхотела я туда пойти; По такой поре не всхотела пойти рыбачить; Я сейчас сильно всхотел молоко пить* [СКр 1968: 32]; смол. *взволить* ‘захотеть чего-либо’: *Ина взволила клюкву* [ССГ 1980: 45]; смол. *взволиться* ‘захотеться’: *Штой-то мне поесть сядни взволилось* [там же]; арх. *возмогчи* ‘смочь, суметь’: *Бедный как возможет, богатой как*

⁷ См. толкования: *брести* ‘идти, передвигаться, двигаться в каком-то направлении (ступая ногами)’: *Большыи какйе бредут купаце; бродить* ‘передвигаться, двигаться (ступая ногами), ходить’: *Мы не можом бродить, по хорошой дороге и то трудно* [АОС 1982: 118, 124].

захочет [АОС 1987: 25]; орл. *взуме́ть* ‘суметь, смочь сделать что-л.’: *Я на ём не взумею — на керогазе; Он взялси тереть картошки, да не взумел; Так и не взумела я грамоте выучиться* [СОГ 1980: 41–42].

Отмечены начинательные глаголы зрительного восприятия: арх. *взвидеть* ‘получить возможность видеть, увидеть’: *Как пьяна зделаца, как шату́н, так ничего́ не взви́жу* [АОС 1985: 60]; сиб. *вздремени́ться* ‘проявиться, ясно обозначиться, получить видимые очертания’: *Пурга упала, сразу заблудились... Хорошо, что Стариковский холм вздременился* [СРГС 1999: 147].

Наконец, приставка *вз-* присоединяется к глаголам поведения: в орловских говорах зафиксированы образования *вздраться* ‘начаться драться’ и *всколготиться* ‘начать хлопотать, суетиться’ (примеры см. выше), а также *вссуетиться* ‘начать хлопотать, суетиться’: *Тогда говорить мне: мамощка миленькая, проводите мене — видишь, вссуяти́тси ехать* [СОГ 1989: 98].

Для выражения напряженного начала действительно интенсивного действия (оно часто имеет и интенсивное длительное проявление, что указывается в словарном толковании) в некоторых южнорусских говорах, главным образом в орловских, используется модель *вз-* — *-ся*, соответствующая модели *раз-* — *-ся* литературного языка (см.: [Храковский 2001: 161–162]). Такие образования часто имеют экспрессивную окраску. В рассматриваемой модели словообразовательные связи приставки *вз-* оказываются менее широкими и охватывают три группы базовых глаголов:

— глаголы з в у ч а н и я и р е ч и: *взахаться* ‘начать усиленно выражать чувства горести, сожаления, досады и т.п., восклицая «ах!»’: *Ну что ты захалась без толку? Может, нищаво не слуцилось* и ‘начать усиленно стонать от физической боли’: *Ночью он захалсы, думали умереть* [СОГ 1989: 31]; *взохаться* ‘начать безостановочно охать, стонать’: *Ну, что зохалсы? Сам виноват* [там же: 41]; глаголы *взгово-*

риться, взбунтиться, взбубениться и vzdолдониться имеют значение ‘начать монотонно повторять, твердить что-л.’ и сопровождаются в словаре пометой *неодобр.*: *Ну, взговорился, vzdалдонился пришел; Да будя тебе — vzdалдонилси. Окоротись; Ну, что ты взбунтился? И бубнишь, и бубнишь; Вот бубен взбубенилси; и бубнить, и бубнить* [там же: 36, 37, 33, 32]; *взгаметься* ‘поднять шум, гам, крик’: *Взгамелись, поговорить не дадут* [там же: 36]; *взголотиться* ‘начать плакать горько и неутешно’: *Взголотилси малый, и не остановишь* [там же: 36]; *вззудеться* ‘начать жужжать (о насекомых)’: *Ну муха, будя тебе, вззуделася — жундить и жундить* [там же: 38]; *вскурныкаться* ‘начать безостановочно издавать звуки, напоминающие курлыкание (о лягушках)’: *Вскурныкались лягушки: наверно, дош будя* [там же: 97]; *всчуриканиться* ‘начать безостановочно издавать звуки (о сверчках)’: *Сверцики всчуриканились* [там же: 100];

— глаголы эмоционального состояния: *вспада́ться* ‘занимаясь поисками чего-л., проявить беспокойство, нервозность’: *Собралась шить, а ножней нету. Как спадалась наша молодайка!* [там же: 97]; *смол. взгореться* ‘рассердиться, выплывать’: *Ты чаго взгорелся — ничаго ж обидного не сказали* [ССГ 1980: 47];

— глаголы разнонаправленного движения: *взбегаться* ‘начать безостановочно бегать, засуетиться’: *Что ты взбегалси, как ошалелый? Посиди смирно чуток* [СОГ 1989: 31]; *взлазиться* ‘начать безостановочно лазить’: *Что ты тут влазилси? Щаво ты тут ишишишь?* [там же: 39]; *взлетаться, взлётаться* ‘начать летать не переставая; разлетаться’: *Взлетались нынче птисы сэлый день; Вот взлётались галки чтой-то* [там же: 39]; *взъёрзаться* ‘начать ерзать’: *И что тебе не сидится, взъёрзался* [там же: 42].

О том, что выражение значения «начало такого действия, которое с момента своего возникновения осуществляется с интенсивностью, превышающей условную норму» [Храковский 2001: 160], связано в говорах не столько с приставкой *вз-*,

сколько с моделью *вз-* — *-ся*, дополнительно свидетельствуют следующие примеры, в которых употреблены начинательные дериваты от глаголов-синонимов *лаять* и *гавкать*, образованные разными способами: *У нас соба́ка, она́ не ла́йет, так уи, по соба́чьей до́лжно́сти взла́йет когда́* [АОС 1985: 71] (= *залает*, нет значения интенсивности) — *Чегой-то так взгавка-лась наша собака?* [СОГ 1989: 36] (= *разгавкаться*, значение интенсивности).

Приведенный материал показывает, что специфика словообразовательных связей приставки *вз-* в говорах состоит в следующем: 1) эти связи шире, чем в литературном языке; 2) они совпадают со словообразовательными связями самой продуктивной в литературном и диалектном языке начинательной приставки — приставки *за-*. Это имеет историческое объяснение и связано с тем, что приставка *вз-*, исторически более ранняя, чем *за-*, «уступила» ей свои словообразовательные связи, сохранив за собой в литературном языке круг базовых глаголов звучания и эмоционального состояния с признаком интенсивности. Говоры, таким образом, отражают более архаичное состояние начинательного способа действия.

Спецификой начинательной приставки *вз-* в говорах является также ее способность присоединяться к глаголам, уже оформленным другой начинательной приставкой. Такие дуприставочные образования отражают былую продуктивность приставки *вз-*, которая являлась более выразительной, чем, например, *по-* в случае с глаголами однонаправленного движения (см. приведенные выше *всплыть* ‘поплыть’ и *вспя́титься* ‘попятиться’): волог. *вспоко́тить* ‘перевезти’: *Навоз зимой либо весной вспоко́тишь* [СРГК 1994: 245]; сиб. *воспоследствовать* ‘поехать вслед за кем-либо’: *К сестре бы воспоследствовал, если бы племянница была здорова* [СРГС 1999: 179], а также волог. *вспове́ять* ‘начать дуть (о ветре)’: *Не было ветров — ветры **вспове́яли*** [СРГК 1994: 245]. Возможно также, что такие образования отражают древние довидовые отношения, когда присоединение приставки к неопределенному глаголу уточняло характер протекания действия, но не перфективиро-

вало глагол. В данном случае приставка *по-* передавала временное значение начала, которое появилось у нее в результате переосмысления пространственных отношений (движение по поверхности или вслед)⁸. Перфективация глагола в пределах лексического значения, «заданного» приставкой *по-*, осуществлялась за счет второй, функционально тождественной и продуктивной начинательной приставки *вз-*, у которой к тому же, как и у *по-*, есть сема однонаправленности (только в вертикальной, а не в горизонтальной плоскости). Интересно в этой связи происхождение зафиксированного в архангельских говорах глагола *вознавидеть*, который в сочетании с отрицательной частицей *не* имеет значение ‘невзлюбить’, буквально ‘не начать видеть, начать не видеть’: *Этих-то людей у нас неознавидели* [АОС 1987: 25] (в литературном языке ему соответствует глагол с другой последовательностью тех же приставок *возненавидеть*). В данном случае начинательное значение приставки *воз-* соответствует архаичному начинательному значению приставки *на-*, которая, присоединяясь к глаголу со стательным значением, еще не переводит его в совершенный вид (см. *ненавидеть*).

Среди начинательных глаголов есть примеры лексикализации способа действия, когда у исходно начинательного глагола развивается и за ним закрепляется новое лексическое значение⁹. Так, у глаголов, первоначально обозначающих ‘начать мочь/не мочь что-либо делать’, развилось значение ‘выздороветь, окрепнуть’ или ‘заболеть’: орл. *возмогнуться* ‘оправиться от болезни, тяжелых переживаний, неблагоприятных внешних воздействий’: *С хронту мужик пришёл ништожный, хвориить; лячить было нечем — он и не возмогнулси; Жили худо, бедно; хоть бы как-нибудь возмогнуться* [СОГ 1989: 68]; арх.

⁸ Согласно предложенным О. В. Кукушкиной моделям развития непространственных, в том числе и временных, значений у приставок, это модель «подойти близко, приступить — начать, возникнуть» [Кукушкина 1996: 146].

⁹ Эта идея была высказана Е. Н. Ремчуковой при обсуждении диалектного материала.

возневозможи ‘занемочь, появиться недомоганию’: *А што́-то возневозмо́ло, голова́ побалива* [АОС 1987: 26]; так же и арх., волог. *незамогчи́* (литературное *занемочь*). Интересно, что в русском языке приязнь и неприязнь выражается с помощью лексики зрительного восприятия, ср.: *чтобы глаза мои тебя не видели, вон с глаз моих, глаза бы мои на тебя не глядели и мой ненаглядный* ‘тот, на кого не могу наглядеться’. Это обстоятельство способствовало закреплению значения ‘невзлюбить’ за глаголами *возненавидеть*, арх. *не вознавидеть*, а также арх. *возневидеть*: *Не возневидят они́ меня́* (= наоборот, любят) [АОС 1987: 26].

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ МОРФЕМНОЙ ЭКСПЛИКАЦИИ ЗНАЧЕНИЯ ‘НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ’

В аспектуальной системе говоров значение предельности, выражаемое бесприставочными глаголами СВ типа *купить*, *дать* (см. их список в: [Шелякин 1983: 114]), имеет тенденцию дополнительно маркироваться приставкой. При этом лексическое значение приставочного глагола не изменяется, поскольку, как показано в: [Ровнова — в печати], присоединение приставки к производящему глаголу происходит по правилу их семантического согласования.

Среди бесприставочных перфективов имеются глаголы, лексическая семантика которых включает в себе морфемно не эксплицированный акциональный признак ‘начало действия’. Кроме фазовых глаголов *начать* и *стать*, выражающих значение начала лексически, к ним относятся *родить*, *родиться*, *жить*, у которых компонент ‘начать быть’ является частью лексического значения. Поскольку понятие предела и предельности распространяется на значение начала и начинательные глаголы [Шелякин 2001: 65; Бондарко 1998: 67–69], постольку в аспектуальной системе говоров указанная тенденция охватывает и глаголы данной группы: акциональное значение ‘начало действия’ эксплицируется в них той или иной начинательной приставкой. Об этом свидетельствует следующий материал.

Начинательной приставкой *за-* маркируются фазовые глаголы: пск. *зана́чить*: *А ишио́ ана́ тябе́ и народа, зана́чила клапа́ть, наляте́ла* [ПОС 1996: 7]; кар. *зана́чивать* 'начинать' (← *зана́чить*): *Учительница цветы зана́чивали сади́ть* [СРГК 1995: 163]; калуж. *зана́чинать* (← *зана́чать*): *А Па́влик, лежу́. Еи́це́ лишь оттрепа́ло, зана́чинáйтъ, говорю́, тепэ́р менэ́ трепáтъ* [Касаткина 1999: 41]; волог. *застáтъ*: *Только́ у котя́т глаза́ застáли показыва́ться, я их и уби́ла* [СРГК 1995: 208].

Приставочная экспликация элемента 'начать' наблюдается у глагола *стать* в значении 'настать, наступить', см. пск. *за́стáтъ*: *Когда́ вайна́ застáтъ, ста́рший до́чки бы́лъ въсе́мна́цътъ* [ПОС 1996: 140] (ср. также общерусское *настать*).

Маркируется приставками *за-* и *воз-* компонент 'начало бытия живого существа, предмета или явления' у глаголов *родить*, *родиться*: деул., пск. *зароди́тъ*, арх. *возроди́тъ* 'произвести на свет, родить': *Как ё́то — зароди́ да вы́веди... ве́дь у груде́й го́да два ляжи́тъ [трудно́ выра́ститъ дете́й]* [ССРНГ 1969: 191]; *Рабе́нка тяпе́рь зародя́т, да́к куда-нибу́тъ де́нут* [ПОС 1996: 95]; *Кто́ да́к возроди́т те́бя* [АОС 1987: 28]; деул., пск. *зароди́тъся*, арх. *возроди́тъся* 'появиться на свет, родиться': *Ребе́нок зароди́тъся: ино́й благо́й — кричи́тъ, а ино́й — кро́ткай* [ССРНГ 1969: 191]; *Заради́фшы́ мы на рабо́ти, и на́да рабо́тáтъ* [ПОС 1996: 95]; *Отку́да возроди́лось э́то сло́во?* [АОС 1987: 28]. Вообще говоря, акциональный компонент 'начало' может эксплицироваться у глаголов *родить*, *родиться* и другими начинательными приставками, ср.: *породи́тъ*, *уроди́тъ*, *уроди́тъся*, *народи́тъся*. Значение 'произвести на свет, родить' и 'появиться на свет, родиться' у таких глаголов находится на периферии современного литературного русского языка и сопровождается в словарях пометами *устар.* или *прост.* Интересно отметить, что в говоре рязанской деревни Деулино для ласкового именованья матери используется сло-

во *породушка* ('та, которая *породила*'), однако производящий глагол с приставкой *по-* не зафиксирован. Вместо него в говоре употребляется глагол с *за-*: *Породушка моя мамушка, какую ты мине горькую зародила!* [ССРНГ 1969: 191].

С морфемной экспликацией значения 'начало' у глагола *явиться* связано существование в общенародном языке приставочных дериватов *появиться*, *заявиться*, *объявиться*. В заонежских говорах и говорах Карелии зафиксировано использование приставки *воз-* (см. ниже примеры с *возъявиться*).

В современном литературном русском языке глаголы *явиться*, *появиться* и *заявиться* не совпадают по семантическому объему. Наибольшим объемом характеризуется, как и следовало ожидать, бесприставочный глагол, наименьшим — *заявиться*, который имеет только одно значение 'прийти, появиться', а также стилистически и прагматически окрашен: он употребляется в разговорной речи, часто с оценкой неодобрения. В говорах же приставочная экспликация значения 'начало' в глаголе *явиться* проведена более последовательно. Так, в заонежских говорах отмечены приставочные соответствия к нему в значениях 'приехать, появиться': *Новы люди возъявились, наб ведь их поглядеть* [СРГК 1994: 220], 'возникнуть, образоваться': *Тогда еще и Медвежки не возъявились* [СРГК 1994: 220] и *А стройки после войны у нас только заявились* [СРГК 1995: 243], в говоре д. Деулино — в значении 'возникнуть, завязаться (об овощах, плодах)': *Какие заявились — никольки не растут, всё чупитошные и чупитошные [огурцы]; Недели три будить, такие-то три заляпутки заявились и не растут* [ССРНГ 1969: 196]. В псковских говорах экспликация охватывает, видимо, весь семантический объем глагола *явиться*. Здесь, по данным Псковского областного словаря — словаря полного типа, представляющего все бытующие в крестьянской речи общерусские и диалектные слова, — глагол *заявиться* отмечен в следующих значениях:

— 'прийти, появиться': *Фронт тут ни шол. Немцы шли большьком. Реткь кагда заявляца;*

- ‘появиться на свет, родиться’: *Стали жыть, мальчик у ней заявился;*
- ‘возникнуть, завязаться (об овощах, плодах)’: *Заявилшы картошынки маленьки;*
- ‘образоваться, быть созданным’: *МТС веть толька што заявился;*
- ‘обнаружиться, проявиться’: *Бывайт, и сырасть какая заявица* [ПОС 1996: 274].

С точки зрения современных видовых отношений значение приставок, которые присоединяются к предельным (!) глаголам *родиться* и *явиться*, является скорее резульативным. Однако важно подчеркнуть, что это именно те приставки, которые исторически имели начинательное значение. Наблюдаемая в говорах обязательность приставочной экспликации акционального значения ‘начало действия’, входящего в лексическое значение рассматриваемых глаголов, отражает исторический процесс морфологизации начинательного способа действия в русском языке.

ЭКСПАНСИЯ ПРИСТАВКИ ЗА-

Процесс морфологизации начинательного способа продолжается и в современных говорах, главным образом севернорусских. Он связан с экспансией приставки *за-* в различные модели акционального словообразования, связанного с начинательным значением. Приведем наиболее существенные факты. В говорах отмечается свободное образование приставочных начинательных глаголов, которые в литературном языке передают начинательное значение аналитическим способом. Прежде всего это относится к глаголам деятельности, причем среди базовых глаголов оказываются не только неопределенные, но и предельные: мурм., яросл. *заучить*ся ‘начать учиться’: *В декабре месяце заучилась, а в марте уж экзамены сдала* [СРГК 1995: 228]; *Заучился уж грамоте у него парнишка-то* [ЯОС 1985: 110]; мурм. *заносить* ‘начать носить (о вещи)’: *Взяла юбку,*

думаю, невестка не **зано́сит** ее [СРГК 1995: 164]; кар. заро-
жа́ть ‘начать рожать’: Дочь сразу зазноя́ла (‘закричала’), за-
рожа́ла сына [там же: 124]; мурм. заложиться ‘начать ло-
житься (спать)’: Я говорю: «Ты, Валька, спать заложился,
так радио выключи, часы заведи» [там же: 151]; волог. заплес-
сти́ ‘начать плести’: Расплету́ да опять заплету́ — вот и на-
учи́лась ла́йти плести́ [СВГ 1985: 139]; новг. заста́вить ‘на-
чать ставить, кипятить (самовар)’: Как токо заста́вит само-
вар, он тут и был [СРГК 1995: 207]. При соединении за- с
приставочным глаголом движения может выражаться не соб-
ственно начинательное, а «предначинательное» модальное
значение ‘иметь намерение, собираться’: мурм. Когда женщи-
ны завыходили на пенсию (‘собирались выходить на пенсию’),
чтобы пенсия больше была, ложат их на рыбу [там же: 100].

Одним из проявлений этой общей закономерности является
присоединение за- к приставочным глаголам итеративных
способов действия. Это явление, отмечаемое исследователями
в фольклорных произведениях, является живым в говорах:
арх. завыпля́сывать ‘начать лихо отплясывать’: Балала́йка бы-
ла, хорошо заиграют, так все и завыпля́сывают [СРГК 1995:
100]; волог. запобо́ливать ‘начать побаливать’: У меня но́ги
запобо́ливали — дождь будет [СВГ 1985: 140]; волог. запо-
брызгивать ‘начать понемногу капать (о дожде)’: Вдруг запо-
брызгивало, я давай се́но быстрее́ сгребать [там же 1985:
140]; мурм. заприба́ливать ‘начать часто болеть’: Настя сей-
час заприба́ливала, а то веселая была [СРГК 1995: 184]; во-
лог. заприхва́тывать ‘начать проявляться (о припадках болез-
ни)’: У его́ не́рвы-то все́м худы́е, да и припадки му́чают. Как
поне́рвничает, так его́ и заприхва́тывает [СВГ 1985: 143].

Начинательный способ действия в говорах включает об-
ширную группу отыменных глаголов. Среди них выделяется
подгруппа начинательных глаголов, образованных от назва-
ний месяца и времени года. Чрезвычайно интересно, что, по
данным разных диалектных словарей, мотивируются они на-

званием всего одного месяца — августа и одного времени года — осени: пск. *засентябрить* ‘о начале осени. Похолодать’: *Теперь иишо́ мѣсяц, и осень, а в сентябрѣ уж засентябрит;* *С Ильи́ ужы́ и зьсиньябрить* [ПОС 1996: 114]; деул. *заосеняить* ‘о появлении признаков осени’: *Заосеняить в сентябрѣ мѣсяцы и нынче вот заосеняить, холодно́* [ССРНГ 1969: 189]. В диалектном языке, таким образом, специально маркируется наступление именно холодного времени года. Это заставляет предположить, что в крестьянском сознании год делится на два периода — теплый и холодный. И действительно, этнографический материал разных славянских народов позволил Н. И. Толстому заключить, что «славяне в древности, а в сельских, деревенских краях почти до наших дней, делили год не на четыре, а только на два больших годовых отрезка — лето и зиму» [Толстой 1997: 17]. Оказывается, эту этнографическую информацию о восприятии мира нашими предками несет и начинательный способ действия.

ЛИТЕРАТУРА

- Авилова Н. С. 1976 — *Вид глагола и семантика глагольного слова*. М.
- Бондарко А. В. 1998 — Проблемы инвариантности / вариативности и маркированности / немаркированности в сфере аспектологии. *Типология вида: проблемы, поиски, решения*. М. 64–80.
- Воробьева И. А. 1958 — *К вопросу о развитии глагольной префиксации в русском языке (история приставки В-)*. Томск.
- Гловинская М. Я. 1999 — Аспектуальные корреляции на периферии видовой системы. *Die grammatischen Korrelationen*. В. Тошовић (Hrsg). Graz. 245–256.
- Земская Е. А. 1955 — Типы одновидовых приставочных глаголов в современном русском языке. *Исследования по грамматике русского литературного языка*. М. 5–41.
- Касаткина Р. Ф. (ред.) 1999 — *Русские народные говоры. Звучащая хрестоматия. Южнорусское наречие*. М.
- Кукушкина О. В. 1996 — О механизме развития непространственных значений у приставок. *Актуальные проблемы современной русистики: Диахрония и синхрония*. М. 135–150.

- Петрухина Е. В. 2000 — *Аспектуальные категории глагола в русском языке в сопоставлении с чешским, словацким, польским и болгарским языками*. М.
- Ровнова О. Г. в печати — Специфика взаимоотношений формы и значения в аспектуальной системе русских говоров. *Славянское языкознание. XIII Международный съезд славистов. Доклады российской делегации*. М.
- Соколов О. М. 1978 — К характеристике способов глагольного действия (на материале русского и болгарского языков). *Вопросы сопоставительной аспектологии*. Л. 56–75.
- Толстой Н. И. 1997 — Времени магический круг (по представлениям славян). *Логический анализ языка. Язык и время*. М. 17–27.
- Храковский В. С. 2001 — Фазовость. *Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность*. Таксис. 2-е изд. М. 153–180.
- Шелякин М. А. 1969 — Функции и словообразовательные связи начинательных приставок в русском языке. *Лексико-грамматические проблемы русского глагола*. Новосибирск. 3–33.
- Шелякин М. А. 1983 — *Категория вида и способы действия русского глагола. Теоретические основы*. Таллин.
- Шелякин М. А. 2001 — Способы действия в поле лимитативности. *Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность*. Таксис. 2-е изд. М. 63–85.

СЛОВАРИ

- АОС 1982–2001 — Архангельский областной словарь. Вып. 2–11 / Под ред. О. Г. Гецовой. М.
- НОС 1993 — Новгородский областной словарь. Вып. 3. Новгород.
- ПОС 1996 — Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 12 / Под ред. Л. А. Ивашко, Д. М. Поцепни, М. А. Тарасовой. СПб.
- СВГ 1985 — Словарь вологодских говоров. Д–3 / Ред. Т. Г. Паникаровская. Вологда.
- СКр 1968 — Словарь русских говоров южных районов Красноярского края / Отв. ред. В. Н. Рогова. Красноярск.
- СОГ 1989 — Словарь орловских говоров. В (Веред) — Г (Гологолка). Ярославль.
- СРГК 1994 — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей: В 5 вып. Вып. 1 / Гл. ред. А. С. Герд. СПб.

- СРГК 1995 — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей: В 5 вып. Вып. 2 / Гл. ред. А. С. Герд; Отв. ред. О. А. Черепанова. СПб.
- СРГС 1999 — Словарь русских говоров Сибири. Т. 1. Ч. 1. А–Г / Под ред. А. И. Федорова. Новосибирск.
- СРНГ 1987 — Словарь русских народных говоров. Вып. 22 / Ред. Ф. П. Сороколетов. Л.
- ССГ 1980 — Словарь смоленских говоров. Вып. 2. В / Под ред. А. И. Ивановой. Смоленск.
- ССРНГ 1969 — Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области) / Под ред. И. А. Оссовецкого. М.
- ЯОС 1985 — Ярославский областной словарь. Дикариться–Иштык / Научн. ред. Г. Г. Мельниченко. Ярославль.
- ЯОС 1991 — Ярославский областной словарь. У–Яшурка / Научн. ред. Г. Г. Мельниченко. Ярославль.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОМЕТЫ

- арх. — Архангельская область
 волог. — Вологодская область
 ворон. — Воронежская область
 деул. — д. Деулино Рязанского района Рязанской области
 калуж. — Калужская область
 кар. — русские говоры Республики Карелия
 красн. — Красноярский край
 кубан. — говоры Кубани
 лен. — Ленинградская область
 мурм. — Мурманская область
 новг. — Новгородская область
 орл. — Орловская область
 пск. — Псковская область
 сиб. — русские говоры Сибири
 смол. — Смоленская область
 яросл. — Ярославская область

ДВОЙНОЕ ОТРИЦАНИЕ И ЕГО ЭСТОНСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ

Е. СИДОРОВА

Феномен *двойного отрицания* постоянно обсуждается как в русской, так и в зарубежной научной литературе и выступает в качестве сложного и спорного лингвистического вопроса. Это обусловлено, в частности, тем, что до сих пор нерешенной остается еще более важная проблема дефиниции самой сущности отрицания. То или иное понимание природы отрицания определяет подход лингвиста к негации в языке, к ее функциям в предложении, а как следствие, и к явлению двойного отрицания.

В связи с этим мы столкнулись с трудностями, вызванными тем, что и в русских, и в эстонских традиционных грамматиках отрицание описывается лишь как грамматическая категория, и затрагиваются только наиболее общие черты данного явления, проявление которых в языке очевидно. При этом, если в русских грамматиках случаи двойного отрицания каким-то образом все-таки рассматриваются (напр., существуют попытки дать дефиницию явления, создать общую классификацию наиболее частотных случаев двойного отрицания и т.д.), то в большинстве грамматик эстонского языка нет информации даже о явлении отрицания, а о двойном отрицании и вовсе речь не идет [EKG 1921, EKG 1923, EKG 1965, ЕКК 2000, Рерпау 2001]. Несмотря на это, существует немало серьезных научных исследований на материале эстонского языка, посвященных отдельным вопросам негации. Так, следует назвать специальную монографию И. Санга “Eitus eesti keeles”, где дается полный обзор функционирования категории отрицания

в эстонском языке. В данной работе освещаются и некоторые случаи двойного отрицания, хотя соответствующий термин не используется. Обычно отмечают, что случаи двойного отрицания представляют собой специфику славянских языков и отличают их как историко-лингвистическое и типологическое целое. Повторение отрицания не допускается нормами монологичных языков, напр., английского, немецкого.

Целью данной статьи является рассмотрение примеров функционирования разных типов двойного отрицания в русском языке и способов их возможного перевода на эстонский язык. Помимо этого, мы попытаемся определить положение эстонского языка по отношению к анализируемому явлению, а именно, — стоит ли он ближе к славянским языкам, характеризующимся полинегативностью, или же приближается к языкам мононегативных построений. Причем термины «мононегативные» и «полинегативные» показывают, что в одних из этих языков общее отрицание можно выразить лишь одним средством отрицания, а в других — несколькими [Булах 1962: 9–11]. В случае необходимости мы проводим сопоставления с другими языками (в частности, с английским и немецким).

Говоря о двойном отрицании, мы исходим из констатации того, что логическое правило, согласно которому отрицание отрицания эквивалентно утверждению, действует и в естественном языке — при соединении двух отрицаний при одном и том же слове смысл высказывания окажется утвердительным:

Можно не верить мемуарам, но нельзя не верить стихам (Н. Богомолов);

Я могу отречься от них [стихов] как угодно, но не могу не признать их своими (А. Блок).

Термины *двойное отрицание*, *удвоение отрицания*, *дополнительное отрицание* широко распространены в русской лингвистической литературе. Толкуются данные термины исследователями по-разному, хотя используются по отношению к одному и тому же языковому явлению. Мы не будем в этой статье подробно останавливаться на вопросе о двойном отрицании в русском языке, поскольку это было темой отдельной на-

шей работы [Сидорова 2002]. Отметим лишь, что обычно большинством лингвистов под явлением двойного отрицания понимается употребление в предложении не одного, а нескольких языковых элементов отрицания. Между тем в современной русской лингвистике данный термин используется для обозначения двух различных по своей природе особенностей отрицательного предложения:

— во-первых, наличие в одном предложении *не* и *ни* или местоимений и наречий с *ни*. Это конструкции типа:

Уж ничего не видел он (А. Ремизов);

Со мной не говорит он ни слова (Ю. Олеша);

— во-вторых, наличие в одном предложении двух *не*. Напр.:

Я не не хочу, но не могу (Л. Толстой);

Все, что угодно, но только не невниманье (М. Булгаков).

Причем именно двойная негация типа *Никто не пришел*, по словам Е. К. Кржижковой, «является характерной чертой славянских языков» [Кржижкова 1968: 21, 1969: 191]. Действительно, в западноевропейских языках данную мысль можно выразить только с помощью обобщающего отрицательного местоимения, а глагол останется формально положительным. Это будут следующие монологативные построения:

англ. *Nobody came,*

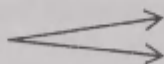
нем. *Niemand kam,*

эквивалентные по семантике русскому предложению

Никто не пришел.

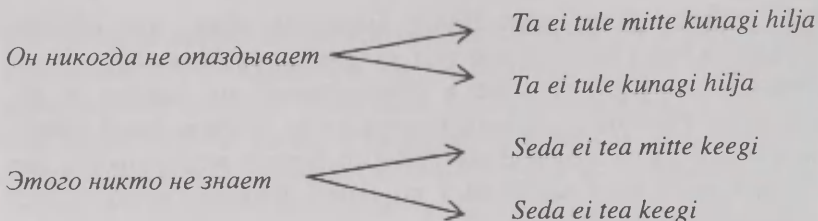
Мы остановимся несколько подробнее на рассмотрении подобных синтаксических конструкций. Дело в том, что указанные предложения широко распространены в эстонском языке, и этот тип отрицания носит даже особое название — “*erieitus*” — и подробно анализируется в [EKG 1993: 160–162]. Данные синтаксические построения являются при этом полными эквивалентами аналогичных русских высказываний. Сверх того, одному русскому предложению в эстонском языке будут соответствовать две равные по смыслу конструкции. Ср.:

Никто не пришел



Mitte keegi ei tulnud

Keegi ei tulnud



Как видим, в одних случаях частица *mitte* находится в предложении, а в других она отсутствует, смысл при этом практически не меняется. Однако следует учитывать один фактор, на который обращают внимание эстонские лингвисты. Так, Н. Rajandi и И. Санг отмечают, что неопределенные местоимения и наречия типа *keegi*, *miski*, *kunagi*, *millalgi* в отрицательном предложении можно понять двояко. Напр., предложение

(1) *Miski ei klapi*

может иметь два прочтения

Что-то не подходит и

Ничто не подходит.

Только в последней интерпретации оно эквивалентно русскому *Ничто не подходит*. Если это верно¹, можно констатировать следующий факт: в эстонском языке каждое отрицательное местоимение и наречие имеет два эквивалентных варианта, выбор из которых совершенно свободный; при этом может происходить усиление частицей *mitte* или нет [Rajandi 1967: 16–17]. Ср.:

mitte keegi = никто

mitte kunagi = никогда

keegi = {
 никто
 или
 кто-нибудь

kunagi = {
 никогда
 или
 когда-нибудь

Нечто аналогичное, как указывает далее Н. Rajandi, представлено в английском языке, когда, напр., местоимение *anything* может быть интерпретировано и как отрицательное местоимение в предложении:

Nobody ever found anything (в значении 'ничего'),

¹ По мнению И. Санга, предложение (1) двузачно лишь в письменной форме, а в устной речи оно понимается однозначно [Санг 1980: 8].

и как неопределенное местоимение в конструкции:

Should anything happen, phone me directly (в значении 'что-нибудь') [Rajandi 1967: 16].

Здесь следует, однако, оговорить, что в отрицательных ответах на вопрос пропуск частицы *mitte* уже не допускается нормами эстонского языка. Ср.:

— *Kes siin käis?*

— *Mitte keegi.*

Нельзя просто ответить

* — *Keegi,*

причем использование в данном случае *ei* вместо *mitte* тоже полностью исключено

* — *Ei keegi ei käinud* [EKG 1993: 160–161].

В русском языке, как мы знаем, разграничение отрицательных и неопределенных местоимений строго дифференцировано, тогда как в эстонском языке эта граница начала стираться. Отсюда можно сделать промежуточный вывод, что, с одной стороны, эстонский язык приближен к русскому языку, т.к. в нем свободно функционируют конструкции типа *Никто не пришел*, но, с другой стороны, имеется явная тенденция к переходу в область западноевропейских языков.

Анализируемые синтаксические конструкции обращали на себя внимание эстонских лингвистов и другой важной особенностью [Rajandi 1967: 12–18]. Так, в предложениях

Ta ei usu (mitte) millesegi

Ta ei näinud (mitte) midagi

как и в русских эквивалентах

Он ни во что не верит

Он ничего не видел

отрицание обязательно требует отрицательной формы глагола-сказуемого (*ei usu, ei näinud*). Те же предложения, но с положительной формой глагола

* *Ta usub mitte millesegi*

* *Ta nägi mitte midagi*

являются, с точки зрения эстонской грамматики, неверными. В противоположность этому, как уже отмечалось нами ранее, в западноевропейских языках (нем., англ.) в подобных случаях мы имеем исключительно положительную форму глагола:

He did not see anything.

Следовательно, тот факт, что эстонское неглагольное отрицание всегда сопровождается отрицательной формой глагола, в очередной раз указывает на точку соприкосновения между русским и эстонским языками.

Далее нами было проведено сопоставление 7 основных случаев образования двойного отрицания в русском языке и их возможных эстонских эквивалентов. Результаты анализа представлены в таблице:

1. нельзя + не + инфинитив (значение долженствования)	
рус. яз.	<i>С этим нельзя не согласиться.</i>
эст. яз.	<i>Sellega tuleb nõustuda.</i>
2. не + мочь + не + инфинитив (значение долженствования)	
рус. яз.	<i>Я не мог не сказать.</i>
эст. яз.	<i>Pidin ütlema / Ei saanud jätta ütlemata / Ma ei suutnud seda mitte öelda.</i>
3. не имеет права / не в силах + не + инфинитив (значение долженствования)	
рус. яз.	<i>Я не в силах не думать об этом.</i>
эст. яз.	<i>Ma ei suuda sellest mitte mõelda / Ma ei suuda olla selle peale mõlemata.</i>
4. не + местоименное слово с префиксом не-	
рус. яз.	<i>Нет, нечего делать!</i>
эст. яз.	<i>Ei saa öelda, et pole enam midagi teha!</i>
5. не + не + личная форма глагола	
рус. яз.	<i>Я не не хочу, а не могу.</i>
эст. яз.	<i>Ma ei ütle, et ma ei taha, ma ei saa.</i>
6. не + невозможно	
рус. яз.	<i>Это сделать не невозможно.</i>
эст. яз.	<i>Seda võib teha.</i>
7. употребление нескольких отрицательных членов в одном простом предложении	
рус. яз.	<i>А ты не суйся не в свое дело.</i>
эст. яз.	<i>Aga sina ära topi oma nina võbrastesse/teiste asjadesse. Sina ära sega ennast teiste asjadesse.</i>

Как видно, только в некоторой доле переводов сохраняется двойное отрицание (случаи 2, 3, 4 и 5). В части случаев смысл

передается описательно с одним отрицанием (типы 2, 3, 7) или посредством положительной аналитической конструкции, как в монологативных языках. Ср.:

- (1) *Нельзя не отметить, что* = *Ma pean märkama, et* = *Man muß bemerken, daß* = *I must notice that.*
- (2) *Я не мог не засмеяться* = *Ma pidin naerma* = *Ich mußte lachen* = *I must laugh.*

Таким образом, в эстонском языке явление двойного отрицания не носит столь распространенного характера, как в русском. Но для нас важен сам факт присутствия здесь отдельных моментов данного феномена. Кроме того, в эстонском языке представляет особый интерес конструкция, которая частотна в употреблении и в которой, на первый взгляд, имеет место взаимоуничтожение двух отрицаний. Это предложения типа:

Laps ei vaja mitte maiustusi, vaid armastust.

Kreem ei ole mitte rasvasele, vaid kuivale nahale.

Важно, что при переводе подобных предложений на русский язык один отрицательный компонент — *mitte* — всегда исчезает. Другими словами, русский эквивалент фактически полинегативного построения

Naised ei joonud mitte kohvi, vaid teed

будет монологативным

Женщины пили не кофе, а чай.

Дословный же перевод

** Женщины не пили не кофе, а чай*

ошибочен. В связи с этим возникает закономерный вопрос: являются ли приведенные обороты типичными для эстонского языка? Мы считаем, что данные предложения имеют специфический характер. Существует целый ряд статей эстонских лингвистов, посвященных детальному анализу таких случаев. Более того, при описании и объяснении специфики функционирования указанных конструкций всегда используется глагол *sekundeerima*, что в переводе означает «удваивать, дублировать» [Санг 1980: 7; Санг 1983: 31; Erelt 1977: 434 и др.]. Но лишь в работе М. Эрельта эти синтаксические построения именуется двойным отрицанием, и автор употребляет соответствующий термин — *sekundaarne eituse* [Erelt 1977: 435]. Как мы увидим далее, этот термин в данном случае понимает-

ся иначе, чем в русском языкознании. Впоследствии выяснилось, что рассматриваемые конструкции являются своеобразным яблоком раздора среди эстонских лингвистов, а слово *vaid*, в силу этого, получило название *jonnakas vaid* («упрямое но») [Kindlam 1976: 84]. Существует две точки зрения на функционирование оборота *mitte...vaid*, которые приводит И. Санг в [Sang 1980: 481–488]. Вызвано данное разделение тем, что ряд эстонских лингвистов стал все чаще высказывать мнение о том, что в конструкциях с *vaid* типа

Ma ei mõelnud mitte teda, vaid tema venda,

излишне употреблять отрицательную форму глагола (*ei mõelnud*). По их словам, надо исходить из потребностей языковой экономии и следовать примеру западноевропейских языков, где глагол остается формально положительным, если в предложении есть другое средство выражения отрицания. Исходя из этого, они считают грамматически верным предложение

Ma mõtlesin mitte teda, vaid tema venda.

Такого мнения, в частности, придерживается Е. Kindlam [Kindlam 1976: 84–86]. Другую точку зрения на этот вопрос отстаивает М. Erelt, критикуя и опровергая утверждения Е. Kindlam [Erelt 1977: 435–436]. Его позицию разделяют авторы ЕКГ [1993: 164] и И. Санг [Sang 1980: 481–488; 1983: 32–38]. Они считают, что в предложениях с *vaid* присутствие отрицательного глагола обязательно, т.к. именно тогда оно является “suurepärane, keeleomane lause” [Sang 1980: 481]. А конструкция

* *Mitte isa läheb reisima, vaid ema*

несвойственна эстонскому языку. При этом исследователи акцентируют тот факт, что частица *mitte* «дублирует отрицание у предиката» [Sang 1983: 31], см. также [Erelt 1977: 435]. Как можно заметить, анализируемые конструкции остаются отрицательными по смыслу, т.к. частица *mitte* только усиливает отрицание, но не снимает его [Sang 1980: 481]. Однако следует подчеркнуть, что тенденция выпадения отрицания перед формой глагола действительно существует, и связана она, по словам И. Санга, с «кольцом Есперсена» (“Jespersen'i ring”) [там же: 488]. Так, автор отмечает, что в ходе исторического развития

средств выражения отрицания постоянно действует следующая тенденция: некогда сильный отрицательный элемент с течением времени слабеет, теряет свою нагрузку, а затем часто и вовсе исчезает со своего места в предложении. Чтобы этого не произошло, необходимо использовать “sekundaarne element”, который и становится основным носителем отрицания до тех пор, пока сам не начнет слабеть, как предыдущий отрицательный элемент [Sang 1980: 485]. С нашей точки зрения, нечто подобное и происходит сейчас в эстонском языке: *ei* в рассматриваемых конструкциях в настоящее время слабеющий элемент, и единственным средством выражения отрицания постепенно становится частица *mitte*. Поэтому мы и не наблюдаем в данном случае взаимоуничтожения двух отрицаний. Ср.:

Laps ei vaja mitte maiustusi, vaid armastust.

Laps vajab mitte maiustusi, vaid armastust.

Таким образом, если сказуемое представлено положительной формой глагола, то отрицание выражается только частицей *mitte* [Sang 1983: 39]. Отсюда можно предположить, что если тенденция Есперсена универсальна, то таким предложениям как

Laps vajab mitte maiustusi, vaid armastust

принадлежит будущее. В современном эстонском языке это еще не является общепризнанным, поскольку частицу *mitte* принято сопровождать дублирующим отрицательным элементом [там же]. Однако возможно, что именно указанной тенденцией обусловлен переход некоторых языков из языков полинегативного строя в языки мононегативных построений (напр., немецкий).

Между тем к рассмотренному нами случаю близки и такие предложения, как

Haige ei taha isegi mitte süüa!

Ma kohe mitte ei taha seda teha!

Ma ei tee seda mitte!

В данной статье мы не будем на них специально останавливаться, поскольку здесь прослеживается та же тенденция усиления отрицания.

Итак, исходя из всего вышесказанного и обобщая собранный материал, можно сделать следующие основные выводы:

- явление двойного отрицания является преимущественно спецификой славянских языков (в частности, русского языка), но некоторые разновидности данного феномена частично представлены в эстонском языке;
- монологичность и полинегативность в системах отрицания западноевропейских языков — явления исторические. В ходе исторического развития некоторые монологичные языки переходили в полинегативные и наоборот. Вследствие этого, поскольку смена систем отрицания происходит не сразу, а постепенно, в отдельных языках могут определенное время сосуществовать монологичные и полинегативные построения. Из этого положения вытекает наш основной вывод:
- в эстонском языке распространены отдельные синтаксические конструкции с двойным отрицанием, тогда как тенденция к монологичности уже явно проявляется (много описательных положительных конструкций). Таким образом, можно сказать, что эстонский язык в отношении монологичности/полинегативности занимает промежуточное положение. Это наше утверждение представим в виде следующего рисунка:



Как видно, уже на этом этапе языкового развития заметна явная тенденция эстонского языка к сближению с монологичными языками и, возможно, к слиянию с ними в будущем.

ЛИТЕРАТУРА

- EKG 1921 — Leetberg K. *Eesti keele grammatika*. Tallinn.
- EKG 1923 — Loorits O. *Eesti keele grammatika*. Tartu.
- EKG 1965 — Ariste P., Kask A. *Eesti keele grammatika*. Tartu.
- EKG 1993 — *Eesti keele grammatika*. V. 2. Tallinn.
- EKK 2000 — Erelt M., Erelt T., Ross K. *Eesti keele käsiraamat*. Tallinn.
- Erelt M. 1977 — Ühest eitamise viisist. *Keel ja kirjandus*. Nr 7. 435–436.
- Kindlam E. 1976 — *Meie igapäevane keel*. Tallinn.
- Rajandi H. 1967 — Some general properties of Estonian negation system. *Soviet Fenno-Ugric studies*. Nr 1. V. 3. 11–21.
- Repnau E. 2001 — *Eesti keel. Grammatika*. Tallinn.
- Sang J. 1980 — Eituse keerdküsimusi. *Keel ja kirjandus*. Nr 8. 481–488.
- Sang J. 1983 — *Eitus eesti keeles*. Tallinn.
- Булах Н. А. 1962 — Средства отрицания в немецком литературном языке. *Ученые записки*. Ярославль. Вып. 57. 9–15.
- Кржижкова Е. К. 1968 — К вопросу о так называемой двойной негации в славянских языках. *Slavia*. Вып. 37. № 1. 21–39.
- Кржижкова Е. 1969 — Заметки о месте негации в языковой структуре. *Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие*. М. 187–205.
- Санг И. А. 1980 — *Отрицание в современном эстонском литературном языке*. Тарту.
- Сидорова Е. 2002 — К вопросу о двойном отрицании в русском языке. *Valoda-2002*. V. 2. Daugavpils. 12–17.

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЧЕЛОВЕКА (на материале имён существительных русского языка)

Т. ТРОЯНОВА

Язык, безусловно, отражает постижение, исследование и освоение окружающего мира человеком. Поэтому и «семантическое устройство языка предопределено устройством субъективной реальности, формами и процессами мышления и отражает ориентацию человека в мире, его познание мышлением и интерпретацию мира, отношение к миру, самопознание, физические, физиологические, эмоциональные состояния, интенции, ментальные и речевые процессы, т.е. структуру и уровни субъективной реальности, процессы и формы мышления» [Шелякин2002: 124].

Несомненно, важную роль в становлении и развитии лексической системы любого языка играет метафора, представляющая собой творческое осмысление человеком окружающего мира, основанное на ассоциации по сходству, — в ней «концепт как бы возвращает к себе неадекватное или устаревшее понятие «для доработки», но ни в коем случае не вкладывает его в себя, отстраняя в образ» [Колесов 2002: 183]. В настоящей статье нам хотелось бы уделить внимание антропоцентрической метафоре, ведь если, по словам древнегреческого философа Протагора, «человек есть мера всех вещей», то, следовательно, «все вещи»: весь окружающий мир, всё то, что составляет бытие, — становятся основанием для его характеристики, фрагментом мозаики метафорического портрета человека.

С точки зрения дальнейшего изложения материала уместно было бы прежде оговорить некоторые общие теоретические аспекты.

Во-первых, в связи с тем, что в рассматриваемых лексемах возможна различная степень сложности процесса метафоризации, мы будем выделять лексемы с прямой (ППС) и опосредованной (ОПС) признаковой связью (термины В. К. Харченко — см. [Харченко 1973]). В основе переноса в метафорах первого типа (ППС) лежит реальное, легко вычленяемое свойство предмета. При втором типе метафоры (ОПС) происходит метафорическое переосмысление самого лежащего в основе признака.

Во-вторых, следует упомянуть о том, что, изучая антропоцентрическую метафору, мы сталкиваемся и с особым типом переноса — ласкательными (как, например, *зайка*) и бранными (*собака*) обращениями. Подобное вторичное употребление слов до сих пор не становилось объектом самостоятельного изучения, лишь некоторые исследователи рассматривали такие наименования в качестве примеров слов с неясной метафорической основой, говорили о «выветривании» метафоричности.

Анализ материала¹ показал, что отнюдь не любое слово, подвергаемое метафоризации, может быть использовано в качестве подобного обращения. Непременными становятся социокультурные ассоциации, обеспечивающие коннотацию такого рода уже в первичном значении. Так, например, активное использование в качестве бранных обращений негативно окрашенных наименований людей по роду их занятия и положению в обществе, таких как *подлец*, *каторжник* и т.д. — может быть объяснено тем, что в ситуации подобного обращения к собеседнику говорящий подчёркивает, что его отношение к адресату **подобно** (и в этом проявляется метафорическая

¹ При проведении сплошной выборки из *Словаря русского языка* под редакцией А. П. Евгеньевой таких слов оказалось достаточно много — 73 лексемы.

природа!) отношению к людям, негативно оцениваемым обществом.

По-видимому, именно функция обращения, являющаяся основной для слов данной группы, объясняет особенности метафоры такого типа. Подобный перенос совершается для того, чтобы определённым образом назвать человека и через это наименование выразить своё субъективное отношение к нему. Таким образом, человек уподобляется исходному объекту метафоры не определёнными качествами, а тем отношением, которое вызывает к себе. Процесс метафоризации основывается в данном случае на актуализации оценочной коннотации, присутствующей уже первичному значению. Далее метафорические наименования, употребляемые в качестве ласковых или бранных обращений, будут именоваться метафорами-обращениями.

Наиболее интересной с точки зрения метафорической характеристики человека группой слов становятся зоонимы (87 лексем²). Этот факт объясняется тем, что сопоставление человека с представителем животного мира, т.е. с другим одушевлённым существом, представляется носителю языка естественным (вспомним и многочисленные мифы разных народов о происхождении человека от животного и наоборот).

Треть из переносных значений зоонимов мы можем отнести к метафорам с прямой признаковой связью. Как правило, в основе их лежит ассоциация по внешнему виду и производимому впечатлению, поэтому они обеспечивают собственно «портретную» — внешнюю — характеристику человека. Большая часть таких слов используется для характеристики толстого, неуклюжего, неповоротливого человека. С этой целью употребляется в речи ряд наименований домашнего скота (*корова, кобыла, клуша* — о женщине; *боров, кабан* — о мужчи-

² Здесь и далее количество переносных значений указывается по данным словарей. Базу исследования составили материалы, полученные путём сплошной выборки из *Словаря русского языка* под редакцией А. П. Евгеньевой и *Русского семантического словаря* под редакцией Н. Ю. Шведовой. Для справок использовались синонимические и этимологические словари, а также словари иностранных слов.

не), а также названия таких крупных животных, как слон, мастодонт, медведь (о крупном, сильном, но грузном и неуклюжем человеке) и производное от последнего *медвежонок*. Для описания человека иной конституции — худого, тощего, нескладного — зоонимы в русском языке употребляются значительно реже: *глиста*, *выдра*, *одёр* (изнурённая, тощая, обычно старая лошадь), *пигалица* (о щедедушном человеке маленького роста, чаще женщине). Иные слова, в переносном значении характеризующие внешность человека, также содержат отрицательную оценку и указывают на недостатки облика человека: *обезьяна* (об очень некрасивом человеке), *головастик* (о человеке с несоразмерно большой головой).

Ряд метафорических переносов с ППС основывается на тех признаках, которые кажутся наиболее яркими с точки зрения человека и отличают это животное от других. Например: обезьяна способна гримасничать, поэтому мы называем так человека, который передразнивает других, кривляется; попугай может подражать человеческой речи — в переносном значении наименование этой птицы используется для указания на склонность человека повторять чужие мысли, слова. Аналогично развилось метафорическое значение у лексем *хамелеон*, *сорока*, *чечётка*, *вьюн* (пресноводная, очень подвижная рыбка с удлинённым червеобразным телом — о ловком, расторопном или проницательном человеке), *петух*. Образные значения этих зоонимов используются в речи для определения какой-либо склонности человека.

Единичные случаи отражают перенос наименований животных и птиц на человека для указания на его профессиональную деятельность: *ищейка* (о сыщике, шпионе) и *кукушка* (о вражеском снайпере, стреляющем откуда-то сверху: с дерева, из окон, с чердаков и т.д.) То, что эти метафоры основываются на различных признаках (функция и положение в пространстве), указывает на нерегулярность и нетипичность развития такого типа вторичного значения у зоонимов.

В некоторых случаях на появление антропоцентрической метафоры влияют устойчивые ассоциации с тем или иным представителем животного мира, сложившиеся в сознании но-

сителя языка (*лиса, свинья, осёл* и т.д.). Здесь интересен не только процесс метафоризации, но и сама «история» ассоциации — в основу переноса ложится признак, «придуманый» самим человеком: это он, олицетворяя окружающий мир и сопоставляя себя с иными живыми существами — птицами и зверями, приписал лисе хитрость, ослу — упрямство, сове — мудрость, — он их такими, **подобными себе**, увидел. И уже на основании этой, самым человеком данной характеристики, базируется метафорическое значение.

Эти устойчивые ассоциации могут быть общими для различных этнических групп (без взаимного влияния, как можно предположить). Так, многие исследователи отмечают, что «в мифопоэтических традициях образ лисы/лисицы выступает как распространённый зооморфный классификатор, нередко функционирующий и в языковой сфере». Таким образом, во многих языках, и в русском в том числе, возможно метафорическое использование этого зоонима для характеристики хитрого и ловкого человека. Причём в случаях, подобных названному, нельзя говорить об опосредованной признаковой связи, поскольку сам признак, лежащий в основе метафорического переноса (в данном случае хитрость), не переосмысливается и не трансформируется.

Нередко развитию метафорического значения у зоонимов с целью характеристики душевных свойств человека способствуют религиозно-культурные представления русского народа. Так, например, использование различных наименований змеи: *змея, аспид, гад, гадина, гадюка* — в качестве номинации для человека злого, коварного, отвратительного и подлого связано, по-видимому, не только с накопленным опытом опасного «общения» с этим пресмыкающимся, но и с христианской традицией, представляющей змея/змею как символ сатаны.

Можно предположить, что религиозные представления о собаке как животном нечистом, способном осквернить храм, и народные мифологические, в соответствии с которыми собака/пёс является одним из обличей нечистой силы (лешего, например), повлияли на развитие у лексем *собака* и *пёс* отрицательного эмоционального значения (*о человеке, вызывающем*

презрение, негодование своими поступками) и обусловили достаточно широкое использование этих слов в качестве бранных. И хотя у современного носителя языка ассоциации, связанные с этим животным, могут быть исключительно положительными, однако в языке устойчиво закрепились древние негативные представления. Сразу следует отметить, что употребляемое в разговорной речи наименование *барбос* по отношению к злому и грубому человеку, вероятно, не связано с религиозными представлениями, а опирается на бытовые ассоциации (злая дворовая собака).

В ряде случаев при ОПС происходит метафорическое переосмысление какого-либо свойства, признака, свойственного тому или иному животному. Так, например, устоявшаяся в русском сознании ассоциация признака «острый» с язвительностью, злым словом (острый язык, отпускать шпильки) сыграла важную роль при развитии вторичного значения у зоонимов *ёж* (о том, кто язвительно отвечает на злое замечание, критику) и *ехидна* (о человеке злом, язвительном).

Если обратить внимание на метафоры-обращения, то нужно отметить, что лексика, связанная с животным миром, обладает здесь преимущественно положительными оценочными коннотациями. Хотелось бы отметить, что подобное употребление зоонимов значительно отличается от использования их в функции метафорического предиката, как правило, выражающего **отрицательную** характеристику человека (ср.: *свинья, змея, осёл* и т.д.). Так, только 5 наименований из 14 могут быть использованы как бранные обращения: *скот, паразит, поросёнок, собака* и *пёс*. Фольклорные образы, по-видимому, лежат в основе таких ласковых наименований как *голубка, голубушка, голубица, ласточка, касатка* по отношению к женщине и *сокол, голубь, лебедь* по отношению к мужчине. К ласковым наименованиям относятся также лексемы *заяц, зайка, зайчик*.

Если метафорическая модель «животное — человек» привлекала до сих пор наибольшее исследовательское внимание, то область метафор, объектом, отправной точкой которых становятся наименования человека, остаётся практически не изу-

ченной. Представляется, что анализ подобных переносных значений дал бы интересные результаты, поскольку отражал бы закреплённый в языке взгляд человека на самого себя.

Метафорическое употребление наименований человека представляет интерес ещё и с той точки зрения, что, по наблюдению Г. С. Склярёвской, «лексика, обозначающая человека по разнообразным характерным признакам, в процессе метафоризации не выходит за пределы «своей» сферы, здесь осуществляется только один регулярный тип переноса: ЧЕЛОВЕК — ЧЕЛОВЕК» [Склярёвская 1993: 93].

Наибольший интерес в данной группе представляет метафорическое употребление наименований человека по роду занятий (61).

Такие наименования человека используются в переносном значении, как правило, для характеристики моральных качеств человека (*палач* — о мучителе, притеснителе), реже — для номинации человека по профессии (*шпион* — презрительное наименование полицейского агента по сыску, слежке за кем-либо). Метафоризации могут быть подвержены наименования профессий, связанных как с физическим, так и с умственным трудом. Замечено, что метафорические номинации, связанные с умственным трудом, либо приобретают высокую стилистическую окраску, выражая положительную оценку, либо являются нейтральными (*адвокат* — о том, кто заступает за кого-либо, *дипломат* — о человеке, тонко и умело действующем в сношениях с другими). Лексемы, употребляемые в функции отрицательной характеристики человека, преобладают, подобное использование их нередко основывается на негативном отношении, присущем обществу предубеждению относительно определённого рода занятий или же на качествах, приписываемых представителю той или иной профессии (*сановник* — о зазнавшемся работнике, занимающем высокий пост, *лакей* — о раболепствующем, выслуживающемся человеке).

Показательно отсутствие у наименований человека по профессии метафорических значений, характеризующих человека с точки зрения его внешнего вида и умственных способностей. Видимо, для ряда лексем будет справедливым предположение,

что в сознании носителей языка род занятий человека связывается только с определённым психологическим типом, чертами характера, на которые налагает отпечаток род занятий.

Интересен тот факт, что большая часть переносных значений наименований человека по роду занятий является метафорами с прямой признаковой связью, то есть основывается на легко вычленимых, «бросающихся в глаза» признаках. По-видимому, именно такая «чёткость» процесса метафоризации (выявляемая основа переноса и, следовательно, хорошо осознаваемая носителями языка связь между прямым и переносным употреблением слова) влияет на тот факт, что ни одно слово из приведённой группы не может быть отнесено к метафорам-обращениям.

Поскольку одним из существенных аспектов восприятия мира являются верования, несомненный интерес вызывает развитие метафорического значения у существительных, относящихся к семантическому полюсу религии и мифологии (29).

Источниками образов, лежащих в основе метафорических значений мифологизмов, могут быть как религиозные представления, так и народные предания. Наиболее широко в русском языке используется лексика, связанная с христианской религией (*левиафан*, *ангел*) и русской мифологией (*кикимора*, *леший*), реже — слова, относящиеся к преданиям древних греков (*муза*, *сатир*) и мусульманской вере (*шайтан*, *гурия*).

Важно то, что переносные значения большей части таких существительных относятся к метафорам-обращениям. Причём религиозные наименования злых сверхъестественных существ (*чёрт*, *бес*) и мифологических существ (*леший*, *кикимора*, *ишшига*) утрачивают в сознании говорящего свои отличительные признаки и становятся собственно символом злого начала, нечистой силы.

Переносные значения мифологизмов, основанные на ассоциации по сходству, как правило, являются результатом метафоризации с ППС: значимым становится один из наиболее ярких признаков мифологического существа (*кощей*, *левиафан* и т.д.). Метафоры с ОПС встречаются крайне редко, можно предположить, что на сам процесс возникновения вторичного

значения влияет в таких случаях морфемная структура слова (например, суффикс *-онок* в словах *бесёнок*, *чертёнок*: нечистая сила, не повинующаяся божественным законам бытия — непослушание — детское озорство).

Свои закономерности находим и в метафорическом употреблении лексем с первичным предметным значением. Так, например, исследование метафорического развития значений артефактонимов, т.е. слов, именующих предметы, сделанные руками человека (41), показало, что они могут использоваться в речи для характеристики внешнего вида человека (*куколка*, *пугало*), указания на его социальную роль (*идол*, *рупор*) — все эти метафоры с ППС, а также характеристики моральных качеств (*сухарь*, *квашня*) и умственных способностей (*болван*, *балда*) — метафоры как с ППС, так и с ОПС. При этом если речь идёт об общественной роли человека, т.е. о его функции в социуме, то метафорический перенос осуществляется на основе функции артефакта (*рупор*); моральные качества и умственные способности, т.е. «свойства» души и ума, характеризуются через свойства предмета (*кисель*: отсутствие формы ассоциируется с мягкотелостью и безволием); метафоры, объектом которых становится внешний вид человека, основываются на сходстве размеров и формы (*кубышка*). Как правило, использование артефактонима для образного наименования человека связано с отрицательной эмоционально-оценочной окраской. Видимо, само сопоставление человека с предметом, сделанным его же руками, имеет в сознании носителя языка оттенок уничижительности.

В настоящей статье не нашли отражения такие метафорические модели, как «растение — человек», «предмет-не-артефакт — человек», представленные небольшим количеством лексем, но тем не менее интересные с точки зрения развития метафорического значения. Однако уже сейчас, как кажется, можно говорить о том, что метафорический портрет человека в русском языке «выписывается» по своим законам, имеет свои возможности и ограничения, изучение которых может стать полезным для исследования языковой картины мира в целом.

ЛИТЕРАТУРА

- Колесов В. В. 2002 — *Философия русского слова*. СПб.
Скляревская Г. Н. 1993 — *Метафора в системе языка*. СПб.
Харченко В. К. 1973 — Производное оценочное значение в структуре многозначного слова. *Научные труды Новосибирского государственного педагогического института*. Вып. 91. Проблемы русского языка. Новосибирск.
Шелякин М. А. 2002 — *Язык и человек. Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Новая серия. VII*. Тарту.

ИСТОЧНИКИ

- Словарь русского языка. Т. 1–4. М., 1985–88.
Русский семантический словарь. Т. 1. М., 1998.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ С ДОЛЖЕН В КОНТЕКСТЕ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СЕМАНТИКА ОЖИДАНИЯ

С. Н. ТУРОВСКАЯ

Я собираюсь пропеть знакомую песню: пока я не начал, ожидание устремлено на нее в целом; когда я начну, то по мере того, как это ожидание обрывается и уходит в прошлое, туда устремляется и память моя. Сила, вложенная в мое действие между памятью о том, что я сказал, и ожиданием того, что я скажу. Внимание же мое сосредоточено на настоящем, через которое переправляется будущее, чтобы стать прошлым. Чем дальше и дальше движется действие, тем короче становится ожидание и длительнее воспоминание, пока, наконец, ожидание не исчезнет вовсе: действие закончено; оно теперь все в памяти.

(Августин Аврелий «Исповедь»)

1. Вводные замечания

Существующая и прочно укоренившаяся исследовательская техника в русистике (и не только) связывает смысл модальных высказываний с предикативом *должен* с теми или иными разделами формальной логики и, соответственно, говорить о семантике необходимости, деонтического долженствования или вероятности (как правило, с довольно жестких детерминистских позиций)¹ не во всех случаях обладает достаточной объ-

¹ Такая редукция (сведение языковых модальностей к логическим) представлена в большинстве исследований, так или иначе затрагивающих проблему модальности. Можно сказать, что она является доминирую-

яснительной силой: излишне формализованные рубрики такой классификации с трудом убеждают в том, что речь идет о повседневной вербальной деятельности человека. Изменчивое и непостоянное человеческое поведение, часто иррациональное, но всегда имеющее в основе своей мотивационный механизм (как известно, отнюдь не детерминистического склада)², не делится «без остатка» между деонтическим и алетическим долженствованием или между деонтической и эпистемической необходимостью. Не говоря уже о проблематичности термина «алетический» по отношению к модальным конструкциям³.

Между тем, более пристальное внимание к сфере функционирования многозначного предикатива *должен* уводит наблюдателя от аристотелевско-кантовской классификации модальностей суждения в сторону когнитивной деятельности⁴. Интересно, что М. М. Бахтин в своей довольно ранней и самобытной работе «К философии поступка» (1920–1924), посвященной проблемам нравственной философии и являющейся частью обширного философского замысла, довольно резко высказывается против кантианской линии этической философии: «Вообще, и это будет нами подробно развито дальше, нельзя говорить ни о каких нравственных, этических нормах, об определенном содержательном долженствовании. Должен-

щей. См. подробнее рубрики семантической типологии высказываний с предикативом *должен* в наиболее фундаментальных работах, выполненных в русле такой традиции, например, «эпистемическая необходимость» [Беляева 1990: 164], «ситуации необходимости по характеру детерминации» (даже планы) в [Цейтлин 1990: 151], «эпистемическое и онтологическое долженствование», последнее подразделяется на «алетическое и деонтическое» [Булыгина, Шмелев 1997: 233–234]. Другая точка зрения, поляризующая языковые и логические модальности, представлена в работе [Степанов 1981: 238–249]. Такой подход почему-то не получил широкого распространения.

² О плодотворности телеологического подхода к описанию человеческого поведения (в том числе и вербального) см. подробнее [Миллер, Галантер, Прибрам 1965]; см. также прим. 1.

³ См. прим. 1.

⁴ Убедительные доводы о бесперспективности применения в естественных языках аристотелевско-кантовской классификации модальностей суждения содержатся в [Степанов 1981: 239–243].

ствование не имеет определенного и специально теоретического содержания. На все содержательно значимое может сойти должествование, но ни одно теоретическое положение не содержит в своем содержании момента должествования и не обосновывается им... Должествование есть своеобразная категория поступления-поступка (а все, даже мысль и чувство, есть мой поступок), есть некая установка сознания, структура которой и будет нами феноменологически вскрыта» [Бахтин 1994: 14]. М. М. Бахтин продолжает скептическую антикантианскую линию в этической философии, начатую еще А. Шопенгауэром в работе «Об основе морали» (1840). А. Шопенгауэр впервые, несмотря на «категорический» авторитет Э. Канта, вводит человеческие поступки (в том числе и должествование) в контекст практической деятельности человека. Он возвращает человеческие действия, говоря современным языком, в когнитивную науку, т.е. возводит к законам мотивации: «...всякий поступок может совершиться лишь вследствие того или другого достаточного мотива», а мотивация всегда связана с познанием («Вот единственный доказуемый закон для человеческой воли, которому последняя подчинена как таковая») [Шопенгауэр 1999: 308–309]. Таким образом, имеется и другая, антидетерминистская научная традиция рассмотрения человеческих поступков, возможно, не такая популярная, но очень доказательная.

2. О проблемах семантического описания лексемы *должен*

Хотя ни у кого не возникает сомнений в «лексическом» (в основном) характере внутрисинтаксических модальностей, именно с определением значений модальных лексем не все обстоит так просто. Данные толковых словарей противоречивы и непоследовательны, количество выделяемых значений колеблется от словаря к словарю, создавая довольно путаную картину⁵.

⁵ «Лексический характер» — цитата из многочисленных исследований, посвященных семантическим проблемам описания предметных модальностей. Более подробный обзор такой тенденции в [Туровская 1997: 14–

Впервые этот факт подробно освещен в статье К. Чвани «Грамматика слова *должен*: словарная статья как функция теории» (1974). В этой же статье представлен и сводный список (т.е. «обобщенный» по данным многих словарей) значений слова *должен*. В этом списке упомянуто одно из значений *должен*, характеризующееся, скорее, с точки зрения негативной семантики: «(почти) без модальных оттенков обязанности или неуверенности» [Чвани 1985: 52]. Нужно сказать, что высказывания с подобными значениями *должен*, не имеющие ярко выраженного деонтического или эпистемического долженствования, встречаются в текстах довольно часто. Один из таких типов высказываний, эксплицирующий семантику ожидания, и станет предметом дальнейшего анализа.

3. Высказывания с *должен*, эксплицирующие семантику ожидания

Такие высказывания, кроме предикатива *должен*, часто содержат в контексте (различной степени протяженности) глаголы *ждать*, *ожидать*, обладающие «многослойной» семантикой⁶. Ср.:

- (1) *Софья Дмитриевна знала, что сын скоро должен приехать, — третий день ждала телеграммы, с волнением думая, как поедет его встречать на станцию в автомобиле* (В. Набоков).
- (2) *Во время кадрили ничего значительного не было сказано, шел прерывистый разговор /.../. Но Кити и не ожидала большего от кадрили. Она ждала с замиранием сердца мазурки. Ей казалось, что в мазурке все должно решиться* (Л. Толстой).

15]. См. также о трудностях в определении лексических значений модальных предикативов [там же: 27–28, 117].

⁶ Ср. характеристики этих глаголов в лингвистической литературе с точки зрения различных исследовательских целей: от общих синтаксических («глаголы эмоционального и модального отношения (“достигательные”»)» в [Золотова 1988: 351]) и феноменологических («глаголы интенционального состояния» в [Серль 1987: 99]) до более детальных, таксономических («ментальные состояния» — ожидать <что>, «глаголы деятельности» — ждать в [Падучева 1996: 138, 144]).

- (3) *С нетерпением ожидал я ответа на посланное письмо, не смея надеяться и стараясь заглушить печальные предчувствия. С Василисой Егоровной и с ее мужем я еще не объяснялся; но предложение мое не должно было их удивить, ни я, ни Марья Ивановна не старались скрывать от них свои чувства, и мы заранее были уж уверены в их согласии* (А. Пушкин).
- (4) — *А вы поднимайтесь, подождите. Это вы должны были из Госснаба программное обеспечение привезти?* (В. Пелевин).

Как следует из вышеприведенных примеров, *должен* может вводить по крайней мере два типа разнонаправленных конструкций. Первый тип эксплицирует убеждения субъекта, основанные на прошлом, т.е. памяти (*знала, что должен (= собирался) приехать — ждала*) (1); (*должны были привезти (= договаривались) — подождите*) (4). Ожидания основаны на убеждениях в прошлом (воспоминаниях). Второй тип — примеры (2)–(3) — фокусирует убеждение, основанное на устремленности субъекта к яркому образу, актуализированному воспринимаемой обстановкой; ожидание приобретает более заметные интенциональные черты (т.е. становится интенсивнее устремленность субъекта на предвосхищаемое действие)⁷, ожидание становится надеждой, но память как будто эксплицитно не участвует в этом процессе. Первый тип обращен в прошлое, второй — в будущее. При этом вектор не зависит от типа текста (по Бенвенисту); примеры (1)–(4) различаются по степени прагматизации, вектор не зависит от оснований убежде-

⁷ Термин «интенциональность», как известно, имеет длительную логико-философскую традицию употребления. В данном случае под интенциональностью понимается определение фон Вригта «устремленность субъекта на объект интенции», которое значительно отличается от существующих (намеренность, направленность). Фон Вригт специально подчеркивал это отличие: “One must distinguish between intentional acting and intention to do a certain thing. Everything which we intend to do and also actually do we do intentionally. But it cannot be said that we intend to do everything we do intentionally” [Wright 1975: 89]. Другими словами, интенциональность впервые включена в контекст активной деятельности (как динамической системы). В связи с этим обстоятельством ценны наблюдения Т. В. Бульгиной о том, что только агентивные конструкции (в отличие от неагентивных) «способны сочетаться с инфинитивом, обстоятельством цели, придаточным с союзом *чтобы* и т.п.» [Бульгина 1980: 339].

ния (мнение или знание: ср. *Софья Дмитриевна полагала (считала), что...*). Но во всех примерах зафиксирована высокая степень убежденности ожидающего субъекта в будущем ожидаемом событии. Это значение складывается на основании целостного текстового фрагмента. Подобные фрагменты могут присутствовать во всех типах текста, но наиболее частотны в нарративных (регулярны полипредикативные конструкции с полисубъектной системой взаимодействия, часто взаимодействуют три субъекта, «обитающие» в разных пластах текстового пространства: субъект повествования (повествователь или рассказчик), субъект ожидания, субъект ожидаемого действия. Очевидно, излишне упоминать, что при некоторых текстовых обстоятельствах часть субъектов может совпадать. Конструкция с предикативом *должен* с формальной точки зрения выполняет функцию синтаксического развертывания, дистанцируя внимание наблюдателя. С семантической — эксплицирует «содержание» убеждения. В первом типе высказываний конструкция с *должен* может быть условно (и не без огрубления) сравнима с функцией пресуппозиции (в случае употребления пресуппозиционного глагола *ждать*), но отличается глубиной рефлексии: конструкции с *должен*, обращенные в прошлое, в свою очередь отсылают к конвенциональным «положениям дел» — расписаниям, договорам, обещаниям различного рода и пр. В связи с последним обстоятельством следует отметить, что в истории психологии не раз отмечался конвенциональный (социальный) характер памяти. Так, известный автор общепсихологической теории поведения, резко направленной против бихевиоризма, П. Жане (взгляды которого, кстати, оказали ощутимое влияние на формирование концепций Ж. Пиаже и Л. С. Выготского) прямо связывал ожидания с социальными действиями и памятью [Жане 1998: 379].

Функция конструкций с *должен* в примерах второго типа гораздо разнообразнее. Образ, основанный на убеждении, во-первых, очень прочен, хотя он может и не совпадать с так называемым реальным положением вещей. Во-вторых, динамичен и обладает повышенной экспрессией. Самые «достоверные» — образы, основанные на чувствах и опыте (не только на

личном), образы пережитые, «расхожие» и непосредственно «конструируемые». Ср.:

- (5) *Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились, и представьте себе, какое действие он должен был произвести между нами* (А. Пушкин «Выстрел»).

Предикатив *должен*, как правило, и вводит образ, т.е. пространство не наблюдаемое, но предвосхищаемое. *Должен* — показатель как ментального мира ожидающего субъекта, так и субъекта ожидаемого «действительного» действия. *Должен* — знак соприкосновения двух миров: мира образа и мира будущей «реальности». Предикатив *должен* как векторная величина не обладает элементарной семантикой: один вектор обращен на ожидаемое действие (со стороны субъекта действия), другой — на субъекта повествования (сознания). Возможно, более успешному рассмотрению подобных контекстуальных фрагментов будут способствовать данные когнитивной семантики, где феномен *ожидания* давно стал объектом когнитивного анализа.

4. Ожидания в системе когнитивной деятельности

Традиционно ожидания рассматриваются в рамках психологии личности и ее когнитивной деятельности, например, планирования. Один из основателей когнитивной психологии У. Найссер подчеркивал, что ожидания отличаются прежде всего кумулятивным эффектом. В центре такого подхода — мнение, что восприятие направляется предвосхищениями, но не управляется ими, восприятие предполагает выделение реально существующей информации. «Влияние схем проявляется в том, что они определяют выбор именно данной информации, а отнюдь не в создании ложных перцептов или иллюзий» [Найссер 1981: 64]. Ожидания, по Найссеру, — это взаимодействие схемы и ситуации (схема — основа когнитивных процессов). Таким образом, ни схема, ни ситуация в отдельности не определяют хода восприятия. Тем более, что среде свой-

ственно меняться и, следовательно, ослаблять влияние сформированных ранее способов видения. В любом случае в «богатых» средах, где существует несколько перцептивных циклов, восприятие в очень большой степени зависит от убеждений.

В логике практического рассуждения ожидания относятся к когнитивным событиям. Ожидания находятся на одной временной оси с воспоминаниями. «Воспоминания — это убеждения в прошлом, а ожидания — убеждения в будущем» [Ишмуратов 1987: 40]. Убеждения характеризуются различным уровнем рефлексии. Они могут быть даже «вытеснены» в подсознание. «Важнейшая особенность убеждений субъекта в том, что их истинностная оценка может быть никак не связана с истинностью содержания убеждения (существуют убеждения в несуществующем)» [Ишмуратов 1987: 41]. Последнее обстоятельство, думается, предопределяет тот важный факт, что долженствование в контексте ожидания может быть введено не только глаголами знания, но и мнения, см. примеры (1)–(2). Таким образом, в контексте ожидания глаголы мнения и знания не автономны с точки зрения общепринятых логических концептов (вероятности и достоверности).

5. Типология модальных высказываний с семантикой ожидания

Ожидания, как и другие когнитивные схемы, существуют прежде всего во времени и пространстве. Ожидание тесно связано с субъектом и его убеждениями. Убеждения могут быть различной степени отрефлектированности: от «убеждений в убеждениях» до «бессознательных» убеждений. Убеждения могут быть различной длительности — вплоть до «вечных» (бессознательные убеждения). Регламент статьи позволяет выбрать лишь наиболее ярко выраженные текстовые фрагменты, эксплицирующие семантику ожидания.

5.1. Высказывания с конвенциональным *должен*

Это одна из самых многочисленных групп: высказывания об «усвоенных» планах, договорах, расписаниях, обещаниях, обя-

зательствах, назначенных встречах, свиданиях и пр., а также об «удержании» их в памяти. Семантика подобных высказываний связана с планированием; впрочем, все перечисленные типы ожидания так или иначе связаны с планами субъекта⁸. Убеждения в таких высказываниях обычно основаны на точном знании, поэтому в тексте встречаются многочисленные темпоральные и локативные модификаторы. Глаголы *ждать*, *ожидать* в таких высказываниях, как правило, избыточны. Ср.:

- (6) *Остан еще в поезде успел побеседовать с завгидропрессом, монтером Мечниковым, и узнал у него все. Пароход «Скрябин», заарендованный Наркомфином, должен был совершить рейс от Нижнего до Царицына, останавливаясь у каждой пристани и производя тираж выигрышного займа (И. Ильф, Е. Петров).*
- (7) *Его поманило в гости к кому-нибудь, или просто так, без цели, на улицу. Но тут он вспомнил, что к нему по делу должен прийти толстовец Выволочнов и ему нельзя отлучаться (Б. Пастернак).*
- (8) *Юра, Миша Гордон и Тоня весной следующего года должны были окончить университет и Высшие женские курсы (Б. Пастернак).*
- (9) *Был канун Покрова. На другой день они с дядей должны были уехать далеко на юг, в один из губернских городов Поволжья, где отец Николай служил в издательстве, выпускавшем прогрессивную газету края (Б. Пастернак).*
- (10) — *Пиши: в четверг, одно уж к одному, / А может в пятницу, а может и в субботу, / Я должен у вдовы, у докторши, крестить. / Она не родила. Но по расчету / По моему: должна родить (А. Грибоедов).*
- (11) *Кто-то (казалось, его поверенный по делам) писал ему из Москвы, что известная особа скоро должна вступить в законный брак с молодой, прекрасной девушкой (А. Пушкин).*

⁸ План — это всякий иерархически построенный процесс в организме, способный контролировать порядок, в котором должна совершаться какая-либо последовательность операций. Образ — это все накопленные и организованные знания организма о себе самом и о мире, в котором он существует. Конечно, образ включает в себе нечто гораздо большее, чем картины [Миллер, Галантер, Прибрам 1965: 17–33].

- (12) *Марья Гавриловна долго колебалась. Множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась: в назначенный день она должна не ужинать, а удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре, обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за пять верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать* (А. Пушкин).
- (13) *У дебаркадера 4 стоял теплоход «Парижская коммуна». Вниз по реке он должен был уйти по расписанию только в шесть часов вечера, но уже и теперь, в одиннадцатом часу, по его белым опрятным палубам прогуливались пассажиры, приехавшие утром из Москвы* (И. Ильф, Е. Петров).

Обычно такие высказывания о планах и расписаниях употребляются в нарративных текстах (*Он*-высказывания). Поэтому они практически лишены модальной окраски (ср.: *Я*-высказывание в примере (10), где *Я должен* близко к *обещал* и *подтверждаю обещание*, хотя, впрочем, неизвестно, что «черкнул» Петрушка «на листе записном»). Будущие события — части плана — организуются предикатами по типу точечных предикатов: выражают «достижение» независимо от видового значения [Булыгина 1982: 81], [Шелякин 1990: 118].

5.2. Ожидания «по расчету»

Основанием для выделения таких высказываний в особую группу является их чрезвычайная распространенность во всех типах текстов. Всевозможные убеждения в «правильных» расчетах регулируют повседневную деятельность человека (ср. также одно из значений *ждать* — ‘рассчитывать на появление кого-л., чего-л.’ [МАС 1981–1984]). Они не обязательно должны соотноситься с «реальной» жизнью или быть следствием логического суждения. Часто к таким расчетам примешиваются оттенки желания (надежда). Ср:

- (14) *До заката было еще далеко. Но Андрей должен был, по расчетам деда, управиться раньше вечера. Он поглядывал на солнце и решал, что осминник надо досадить именно к этой поре* (И. Бунин).

- (15) — *За мельницу ты должен получить тысячу рублей... так или нет? Залогов из казны ты должен получить обратно восемь тысяч; за сено, которого, по твоему же расчету, можно продать семь тысяч пудов, — кладу по сорок пять копеек, — ты получишь три тысячи; следовательно, всех денег у тебя будет сколько?* (Л. Толстой).
- (16) *Терзаемый видением больших заводских барабанов, намазывающих толстые восковые канаты, отец Федор изобретал различные проекты, осуществление которых должно было ему доставить основной и оборотный капитал для покупки давно присмотренного в Самаре заводика* (И. Ильф, Е. Петров).
- (17) *Хунтов подсчитал авторские проценты. По его расчетам, пьеса должна была пройти в сезоне не меньше ста раз. Шли же «Дни Турбиных», — думалось ему. Гонорару набегало много* (И. Ильф, Е. Петров).

5.3. Ожидания-реминисценции

Ожидание — частный случай представления, в том числе и образного. Данный тип высказываний основан на реминисценции. В основе таких высказываний — смутные воспоминания прошлого опыта. Интересно, что обилие подобных примеров содержится в тексте романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», одним из устойчивых мотивов которого является как раз чудовищное несовпадение ожидаемого и «действительного». Ср.:

- (18) *В этом месте к нему вернулось детское ощущение, что вот сейчас из-за угла двухэтажного дома с длинным балконом обязательно должен выйти знакомый. Ипполит Матвеевич даже приостановился в ожидании.*
- (19) — *...Осторожнее... Держитесь за меня... Тут где-то должен быть несгораемый шкаф.*
- (20) *Воробьянинов стал переводить глаза со стула на стул. — Позвольте, — сказал он наконец, — двадцать стульев. Этого не может быть. Их ведь должно быть всего десять.*

5.4. Интуитивное ожидание

Ожидания, как и установки, могут быть не до конца осознанными и даже бессознательными. Собственно, граница между

сознательным и бессознательным неопределима. В текстах стилизация под «неосознанную» направленность образа достигается введением дополнительной модальности «кажимости». В целом речь идет о нечеткой мотивированности ожидания (убеждения). Ср.:

- (21) — *Мне почему-то кажется, — заметил Ипполит Матвеевич, — что ценности должны быть именно в этом стуле* (И. Ильф, Е. Петров); см. также (2).

Иногда отсутствие эксплицитной мотивированности компенсируется показателями облигаторности (*непрерменно, обязательно*). В таком контексте последние говорят, скорее, о силе убеждения субъекта, а не о «неизбежности» ожидаемого события (*сообразил* — оценка (ирония) повествователя, а не дескрипция).

- (22) *Иван Николаевич смутился, но ненадолго, потому что вдруг сообразил, что профессор непременно должен оказаться в доме № 13 и обязательно в квартире 47* (М. Булгаков).

Стоит заметить, что мотив постоянного несоответствия «рациональному ожидаемому» пронизывает роман «Мастер и Маргарита» от первых до последних глав.

Следующий пример говорит о силе воображения, формирующей ожидание — убеждение. Ср.:

- (23) *Возможно, дело было не в натренированности взгляда, а в воображении, и он успевал не столько разглядеть проносщееся мимо окон, сколько домыслить и воссоздать то, что там должно находиться, пользуясь малейшими намеками, которые давал окружающий мир* (В. Пелевин).
- (24) *Чутье подсказывало, что где-то рядом должен быть еще один кувшин, и Саша решил поискать его* (В. Пелевин).

5.5. Обманутые ожидания

Жизнь часто не оправдывает самые «убедительные» (рациональные) расчеты и ожидания. Высказывания этого типа содержат фрагмент так называемого суждения логической необходимости. Но неожиданные последствия «логического действия» вводят и образный эмоциональный компонент. Как пра-

вило, это высказывания о несбывшихся ожиданиях и надеждах. Ср.:

- (25) *Варфоломееч понадеялся, что музыкальный рейс доконает старуху, которая, действительно, слегла и пролежала в постели три дня, поминутно чихая. Но организм победил. Старуха встала и потребовала киселя. Пришлось в третий раз платить страховые деньги. Положение сделалось невыносимым. Старуха должна была умереть и все-таки не умерла. Тысячерублевый мираж таял, сроки истекали, надо было возобновлять страхование (И. Ильф, Е. Петров).*
- (26) — *Стало быть, с ним заключали договор? — Надо полагать,— отвечал взволнованный Василий Степанович. — А ежели заключали, так он должен был пройти через бухгалтерию? — Всенепременно, — отвечал волнуясь Василий Степанович. — Так где же он? — Нету, — отвечал бухгалтер... (М. Булгаков).*

5.6. Ожидаемое положение дел (негативная оценка)

Данный тип высказываний эксплицирует интенсивную негативную оценку. Яркий модальный прогноз «закономерного» события, с большой долей гиперболизации (*Я-высказывания*), — отличительный признак подобной группы. Экспрессивность как бы вплетена в прагматический смысл модального высказывания. Другой отличительной чертой подобных высказываний является «наблюдаемость ситуации» [Золотова 1973: 346; Бондарко 2001: 133–134]. Наблюдаемость сложным образом взаимодействует с остальными компонентами текста: наблюдаемость не данность, а воображаемая данность, включена в каузальную схему, имеющую мимикрический характер (эксплицируемые «причины» и «следствия» не имеют никакой внутренней смысловой связи). Актуализированный образ «будущих неприятных событий» создает иллюзию непосредственного восприятия. Результатом этого является представление событий, вводимых *должен*, как длящихся в наблюдаемом мире. Ср.:

- (27) *Хлестаков: Нет, я не хочу! Вот еще? мне какое дело? От того, что у вас жена и дети, я должен идти в тюрьму, вот прекрасно! (Н. Гоголь).*

- (28) Тут поднялся новый галдеж. Могучая кучка пронюхала, что все четыре стула автор спектакля утащил в свою каюту. — Так, так, — говорила кучка с иронией, — а мы должны будем репетировать, сидя на койках, а на четырех стульях будет сидеть Николай Константинович со своей женой Густой, которая никакого отношения к нашему коллективу не имеет (И. Ильф, Е. Петров).
- (29) Хлестаков: <...> я не могу жить без Петербурга. За что ж, в самом деле, я должен погубить жизнь с мужиками? Теперь не те потребности, душа моя жаждет просвещения (Н. Гоголь).

Отличие таких высказываний от высказываний вынужденности (Ср.: *Видали, что значит служба? И я должен всему благожелательно улыбаться, терзая свой здравый смысл, а также истрябляя порядок, установленный существом дела!* (А. Платонов) — в отношении к признаку «фактуальность» — *должен улыбаться* = *улыбался* и *улыбается*.

Заключительные замечания

Итак, подведем итоги. Большой соблазн — выделить какую-либо стабильную модальную ситуацию ожидания и типичные языковые средства, ее представляющие. Но это кажется проблематичным. Можно лишь с уверенностью говорить о некоторых ориентирах, благодаря которым каждый раз заново выстраивается картина ожиданий субъекта (в духе Шопенгауэра, балансируя между индивидуальностью действительности и всеобщностью понятия, не сливаясь ни с первым, ни вторым). Предикатив *должен* в таких высказываниях — показатель альтернативы, он расширяет перспективу наблюдения: от внешней ситуации ожидания (с глаголами *ждать*, *ожидать*) к внутренней, ментальной, репрезентирующей смысл ожидания⁹. Специфическое представление ментального ожидания как «точечного» события предполагает участие глаголов обо-

⁹ О внешнем и внутреннем аспектах действия см. подробнее в [Жане 1998: 379]; [Wright 1975: 86–91].

их видов и в любых типах текстов: в нарративных текстах эта точечность встроена в последовательность событий (других «точек»), а в прагматизированных — амальгамирована в оценку.

ЛИТЕРАТУРА

- Бахтин М. М. 1994 — К философии поступка. *Работы 20-х годов*. Киев.
- Беляева Е. И. 1990. — Достоверность. *Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность*. Л. 157–167.
- Бондарко А. В. 2001 — *Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии*. М.
- Булыгина Т. В. 1980 — Грамматические и семантические категории и их связи. *Аспекты синтаксических исследований*. М. 320–355.
- Булыгина Т. В. 1982 — К построению типологии предикатов в русском языке. *Семантические типы предикатов*. Под ред. О. Н. Селиверстовой М. 7–85.
- Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. 1997 — Концепт долга в поле долженствования. *Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики)*. М. 233–248.
- Жане П. 1998 — Эволюция памяти и понятие времени. *Психология памяти*. М. 371–379.
- Золотова Г. А. 1973 — *Очерк функционального синтаксиса русского языка*. М.
- Золотова Г. А. 1988 — *Синтаксический словарь*. М.
- Ишмурагов А. Т. 1987 — *Логический анализ практических рассуждений (формализация психологических понятий)*. Киев.
- МАС 1981–1984 — *Словарь русского языка АН СССР*. Т. 1–4. М.
- Миллер Дж., Галантер Е., Прибрам К. 1965 — *Планы и структура поведения*. М.
- Найссер У. 1981 — *Познание и реальность*. М.
- Падучева Е. В. 1996 — *Семантические исследования*. М.
- Серль Дж. Р. 1987 — Природа интенциональных состояний. *Философия. Логика. Язык*. М. 96–126.
- Степанов Ю. С. 1981 — *Имена, предикаты, предложения*. М.
- Туровская С. 1997 — *Проблемы изучения модальных смыслов: теоретический аспект*. Тарту.
- Цейтлин С. Н. 1990 — Необходимость. *Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность*. Л. 142–155.

- Чвани К. 1985 — Грамматика слова *должен*: словарные статьи как функция теории. *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. 15. М. 50–81.
- Шелякин М. А. 1990 — Модально-аспектуальные связи. *Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность*. Л. 110–122.
- Шопенгауэр А. 1999 — Об основе морали. *Сочинения*. М.–Харьков.
- Wright G. H. 1975 — *Explanation and Understanding*. London.

A CONTRASTIVE STUDY OF THE USE OF POLITENESS STRATEGIES IN RUSSIAN, ESTONIAN AND ENGLISH: SOME METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS

K. VOGELBERG

The present article reports on an on-going empirical project, conducted under the author's supervision, of a contrastive analysis of the use of politeness strategies. The study, initially designed with Estonian and English in view, has now been expanded to include Russian. At its inception, the project, with its focus on requests¹ was, to a considerable extent, modeled on similar studies conducted for other languages, in particular the well-known CCSARP project [Blum-Kulka et al. 1989]. Unlike the latter, however, we proceeded from Brown and Levinson's [1978/1987] model of politeness and formulated as one of our principal goals a study of cultural variation in the prototypical values of the model's main variables — P (power), D (distance) and R (rate of imposition) — as evidenced in differential usage of politeness superstrategies in comparable situations. Meanwhile, in the course of the analysis of the first results, a number of methodological issues have cropped up, a careful unraveling of which is crucial not only to the adequacy of the preliminary conclusions but also to the further development of the project. Foremost among the issues are those concerned with the "sameness" of the situations across cultures and

¹ Requests are here understood broadly as an illocutionary act whereby the speaker conveys to the hearer that he/she wants the hearer to perform an act, normally at a cost to the hearer, that is to the benefit of the requestee [Trosborg 1995]. The definition essentially equates requests with directives in Searle's [1975] sense.

those related to the “sameness” of strategies serving as predictors/indices of the degree of politeness (and hence of the values of P, D and/or R). This article will focus on the latter issue, highlighting and analyzing differences in the repertoires of politeness strategies in the three languages and the impact of these differences on the validity of cross-cultural comparisons.

For creating a corpus of data for the contrastive study of requests, we have used a number of methods, prominent among which have been DCTs (Discourse Completion Tests) in the form modified by Rintell and Mitchell [1989], e.g.

“*You feel it is hot in the room. How would you ask a friend to open the window?*” succeeded by space sufficient for fairly long responses. So far, we have administered DCTs consisting of 16 prompts to 82 native speakers of English, 48 native speakers of Russian and 56 native speakers of Estonian.

We are perfectly aware that even DCTs of the modified form have certain inevitable limitations. *Inter alia*, the repertoire of strategies used in questionnaires tends to be relatively restricted, as revealed by the preliminary results of our ongoing work employing the method of field-notes: it turns out that in real life people use indirect ways of requesting that they would not dream of putting down in a questionnaire (i.e., “Is this your pen?” as a request for a pen). Also, since questionnaires are generally worded in the second person singular and role-plays are public displays of behaviour, respondents generally tend to “end up being remarkably polite” [Eelen 2001: 39] i.e. employ strategies that are more polite than those they would resort to in real life. However, questionnaire results generally do give us a usable corpus of politeness strategies as well as at least a first approximation of an idea of strategies called for in comparable situations in different linguacultures.

It has been claimed that strategies for mitigating the force of speech acts are essentially the same across languages and cultures while it is their appropriate use that is culture-specific [see, e.g., Fraser 1985, Brown and Levinson 1987]. In particular, nearly all of the sentences listed by Searle [1975/1998: 622] as “‘conventionally’ used in the performance of indirect directives” can be translated verbatim into both Estonian and Russian where they carry the

same function. Differences between repertoires decrease further if we bear in mind the fluidity of the borderline between what Blum-Kulka [1989: 38] terms "pragmalinguistic" and "contextual conventions", where the latter category in principle allows the conjunction of almost any expression with almost any illocutionary force.

Most of the politeness strategies in our corpus, too, have literal translation equivalents in all three languages under study. What is divergent, sometimes widely so, is their frequency of use as well as the parameters of the situations where they are deemed appropriate. To cite a case in point, Russian "Bud'(te) dobry, ...", Estonian "Ole/olge hea/kena, ..." and English "Be so nice/kind (as to...)" are word-for-word translation equivalents, yet while, at least according to our corpus, the expressions are of common occurrence both in Russian and Estonian, the use of the English version is extremely restricted.

However, the corpus also reveals important differences between the repertoires of available politeness strategies in the three languages. The obvious case is the lack of T/V variation in English. In fact, English seems to be fairly unique among world languages in not making the distinction that is shared by different languages of the world to the extent "which has perhaps not been appreciated" [Brown and Levinson 1987: 198].

It is probably due to an unconscious impact of the lack of the distinction in English that in much of Anglo-American pragmatic literature the use of the V-form is not classified under the strategy of conventional indirectness. For instance, Brown and Levinson, who treat the distinction in detail, nevertheless describe the use of the V-form, together with other honorifics, as an instance of the politeness strategy "Give deference". They do point out, though, that "'you' plural can be understood as motivated by exactly the same wants that we use ... to account for conventional indirectness" [Brown and Levinson 1987: 199]. Indeed, languages with T/V alternation where, further, the V-form is morphologically marked in the imperative of the verb refute Searle's [1975/1998: 621] implicit claim of a mutually exclusive relation between flat imperatives and indirectness.

In the case of English, it is of course remarkable that the survivor of the original “thou/you” pair is the negatively polite indirect plural form, which, though a great social equalizer, can, in the words of Wierzbicka, also “be seen as a distance-building device” [1991: 47]. Meanwhile, it could be argued that “you” has been conventionalized to the extent that its indirectness is no longer felt, which is certainly not true for the Estonian and Russian indirect forms. In fact, the data of our corpus lends support to the claim that conventional indirectness in the Anglo-American sense and the V-form are, to an extent, mutually compensatory.

For instance, in responses to the prompts forming minimal pairs along Brown and Levinson’s D

- (a) “How would you ask a friend to open the window?”

as against

- (b) “How would you ask someone you do not know very well to open the window?”

and

- (c) “How would you ask a family member to pass the salt at dinner?”

as against

- (d) “How would you ask a stranger to pass the salt at dinner?”

the switch from the T-form to the V-form in the case of the second member of both pairs has so far happened with all respondents both in the Russian and in the Estonian group, while the number of cases where conventional indirectness has been added to the V-form is smaller, nor indeed is conventional indirectness a distinctive feature of responses to the second members of the pairs.

Meanwhile, a separate part of our project also indicates that conventional indirectness and the indirect V-form may not have quite the same psycholinguistic status. It seems reasonable to hypothesize that forms with the same psycholinguistic status would be liable to positive transfer into interlanguage (learner’s language). Meanwhile, in interviews conducted with native speakers of Russian and English who had spent an extended period of time in English-speaking and Russian-speaking environments, respectively [see Konovalov 2001], it was repeatedly revealed that, unlike conventional indirectness, the V-form is not easily trans-

ferred — a fact that appears to apply to both the productive and the receptive forms of interlanguage. In particular, several Russian interviewees reported that they had — usually by accident — found out that their efforts to be polite in making requests in English had in reality produced an impression of rudeness and pushiness. Analyzing their requesting behavior during the interviews, they realized that they had predominantly used the bare imperative mitigated by “please”. The fact that they never compensated by conventional indirectness for the absence of the V-form, which they would have employed as a matter of course in Russian, did not occur to them. Conversely, an American studying Russian was deeply shocked when she overheard a Russian turning to a shop-assistant with *Daite patchku sigaret* (“GivePL me a packet of cigarettes” — “I felt as if he were pointing a knife at her”), “heard” only the imperative form and, though she was perfectly aware of the existence of the V-form, did not “notice” its considerable mitigating effect (after all, the singular *Dai patchku sigaret* in this situation would probably have a comparably shocking effect on a native speaker of Russian).

The mutually compensatory nature of the Russian and Estonian V-form and conventional indirectness in English serves as one of the many arguments against a cut-and-dried normative/instrumental (formal/strategic) distinction of means of expressing politeness (for a detailed discussion, see Vogelberg 2002 a, b). Meanwhile, the bias in interlanguage against the transfer of the V-form does indicate a possible difference in the psycholinguistic status of the closed class of formal forms and the open class of strategies in the narrow sense of the term.

Meanwhile, the intricacies of the relationship between the V-form and conventional indirectness create considerable problems for cross-linguistic comparison. Let us look at the data for the above pairs (a)–(b) and (c)–(d) in our corpus.

The English data present the fewest problems: they essentially confirm results from earlier studies [see, e.g. Faerch and Kasper 1989: 223] that speakers of English demonstrate the least sensitivity to situational constraints in their choice of request strategies, opting for conventional indirectness, predominantly in the form of query

preparatory, across situations with varying values of P, D and R. Most significantly, a considerable proportion of our English-speaking respondents (23% for pair (a)–(b) and 31% for pair (c)–(d)) used exactly the same wording for the two prompts of the pair. Indeed, in a number of cases, the response to the second prompt was actually formulated as “The same”.

By contrast, for the Estonian group the difference of responses to the first and second prompt of the pair was almost drastic. In the case of the first pair, imperative was used in 65% of the responses to the first prompt and in 5% of those to the second prompt, whereas for the questions functioning as directives the respective figures were 5% and 95%. In the case of the second pair, the first prompt elicited no questions at all but overwhelmingly imperatives and elliptical constructions — whereas for the second prompt questions made up as many as 60% of the responses. Thus, even if we disregard the uniform shift to the V-form for the second member of both pairs, we can safely conclude that in choosing their politeness behavior, Estonians tend to be extremely sensitive to the dimension of distance: the values of D are spread relatively evenly over the scale rather than clustered at its one, unmarked, end, and politeness strategies are varied accordingly — a result supported by other methods [see Vogelberg 2002b].

However, with the Russian group difficulties of interpretation begin: while there was a similar tendency to shift from imperative or elliptical constructions to questions with strangers, the tendency was less marked and the imperative more in evidence across situations. For the first pair, the imperative was practically the only choice for the first prompt and as the percentage was still as high as 29 for the second one, i.e. in a request addressed to a stranger. For the second pair, the first prompt again elicited only imperatives, and the second prompt did so for 55% of the responses.

It is tempting to conclude from this that for Russians there is an unmarked value of D which is prototypically small, i.e., at least in comparison with Estonians, D is relatively small both with friends and strangers. However, the conclusion should be treated with caution, since the mitigating force of the V-form in Russian and Estonian might well be different. Also, comparative evaluation of the

values of D with a stranger for speakers of English and Russian can only be tentative since the result depends of the relative mitigating force of conventional indirectness and the Russian V-form. It does not seem to be warranted to conclude on the basis of the absence of conventional indirectness alone, as Wierzbicka [1991: 37] does for Polish and indeed for Slavic linguacultures in general, that distance in them is invariably associated with "hostility and alienation" and therefore not symbolically marked by a greater degree of politeness.

Meanwhile, there are significant differences between English, Russian and Estonian within the bounds of the strategy of conventional indirectness itself, viz. in the area of *negative* questions as conventionally indirect directives. Here, literal translation equivalents, though they exist, do not actually function as *politeness strategies*, or at least conventionalized politeness strategies, in all of the three languages.

In English, negation can hardly be counted a politeness strategy for mitigating requests. In particular

(1) *Won't you (help me)?*

and

(2) *Can't you (help me)?*

are generally not perceived as polite requests, which of course also accounts for their absence in our corpus. Rather, the impatience they convey turns them into reproaches (though admittedly mitigated reproaches). Meanwhile, their Russian equivalents

(3) *Ty mne ne (pomozhesch')/ne (pomozhesch') li ty mne?* ("Won't you/are you not going to (help me)?"²)

(4) *Ty ne mozhesch'/ne mozhesch' li ty mne (pomoch')?* ("Can't you (help me)?"

are clearly polite requests and the same applies to Estonian negative questions introduced by the particle "ega":

(5) *Ega sa ei (aita mind)?* ("I don't suppose you are going to (help me)?"

² For convenience's sake, the verb "help" will be used throughout the examples, which, of course, is not the case with actual examples in the corpus.

and

- (6) *Ega sa ei saa mind (aidata)?* ("I don't suppose you can (help me)?").

In Estonian, only

- (7) *Kas sa ei (aita mind) / kas sa ei saa (mind aidata)?* ("Aren't you going to / can't you (help me)?")

tends to be as impatient and impolite as the respective English translation equivalents.

The functioning of negative questions in Russian and Estonian as conventionally polite indirect requests goes some way to undermine the analysis of their complex logical form along the lines proposed by Leech [1983: 110, 169–171, cf. also Brown and Levinson 1987: 6] — an analysis that works well for English. According to Leech a negative question is 'loaded' in the sense that, regarded purely as information-elicitation, it is logically more complex than necessary: instead of questioning the truth of X, it questions the truth of the negation of X. The implicature is thus created that the speaker's original assumption X has been cancelled by the new assumption that the addressee denies X. If we apply this reasoning to (2) (*Can't you help me?*), the original assumption that the addressee would be able to help the hearer has been cancelled by the new assumption that the addressee denies this. In short, "*Can't you help me?*" can be paraphrased as "Is it true that, contrary to my expectations, you won't be able to help me?" Since reference to ability is only conventional, one could further paraphrase the latter as "Is it really true that, contrary to my natural expectations, you refuse to help me?"³ The same paraphrase also applies to (1) (*Won't/Wouldn't you help me?*) (where "will" can be variously interpreted as an auxiliary [see., e.g., Wierzbicka 1991] or an expression of willingness [see, e.g., Trosborg 1995], an ambiguity that has been recognized by Searle himself [1975/1998: 634]). The conclusion is then drawn that, by attributing impolite intentions to the addressee, negative questions are inherently impatient and impolite.

³ The present analysis builds on Leech 1983: 101, 110, 169–171. However, Leech deals with offers instead of requests.

In the scope of this article, only preliminary considerations can be offered as to why the logical analysis in the vein of Leech, which, moreover, is claimed to be universal, does not seem to tally with data from Russian and Estonian. The starkest case is obviously (3), i.e. the Russian combination of negation with the future tense, with the literal translation "Are you not going to help me?", where the Leechian analysis yields "Is it true that, contrary to my expectations, you are not going to help me?". In our corpus, (3) and (4) were relatively rare (3 and 8 cases all in all, respectively) though according to the Uppsala Corpus of Contemporary Russian and various other corpora, questions in negative future are the most frequently used directive questions in Russian [Betch 2000, 2002]⁴. True, it can be claimed that negation has become conventionalised here, but conventionalised forms typically have rational, i.e. non-arbitrary, origins. Thus, the Russian forms (3) and (4), but also the Estonian forms (5) and (6) challenge the universality of Leech's analysis.

Let us look at the problem in the light of Brown and Levinson's discussion of *You don't want to pass the salt*: while, on the one hand, it falls under their general negative politeness strategy "Be pessimistic about the success of the face-threatening act" (in this case, the request), on the other hand it is impolite as it attributes impolite desires to the hearer [Brown and Levinson 1987: 11]. Extending the analysis, one could say that the same applies to *You are not going to help me*. Yet English does have pessimistic utterances that count as polite, e.g. *I don't suppose there is any hope of you helping me, is there?* [cf. Brown and Levinson 1987: 174]. In this connection, it is worth pointing out that the Estonian particle "ega", with its etymology of "ei + ka" ("no(t) + also"), when it introduces a negative question as in (5) and (6), has a function close to "I don't suppose ...". In this case, of course, what is negated is the expectation of the speaker, with the negation mitigated by the tag question. An appropriate paraphrase would be "I do not ex-

⁴ This difference is probably the result of the method effect described above: in questionnaires respondents tend to overuse more polite strategies, in our case negative questions combined with conditionals, see below.

pect/assume that you are going to help me, though I hope I might be wrong". However, this does not alter the fact that "impolite desires" or at least "impolite intentions" are attributed to the hearer.

The clue seems to lie in the fact that the *expectation* is negated, i.e. the original assumption is not presented as natural, which, in its turn, indicates that a refusal is actually not considered impolite. English has, in fact, a full repertoire of more extended versions of expressing the attitude that a refusal would be regarded as natural (e.g., *I know it is (almost) too much to ask but ...*, *It is perfectly all right if you can't/won't do this*, etc.). Also, English uses pessimistic hedges, as in *Perhaps you'd care to help me?*, in the case of which a refusal is seen as at least likely, and again not impolite. Another language studied by Brown and Levinson, Tzeltal, is more straightforward in "assuming an unhelpful or uncooperative response" with polite expressions whose literal translation into English runs as, e.g.: *You wouldn't sell me any chilis* [Brown and Levinson 1987: 175].

Thus, the intention to refuse attributed to the hearer is not an "inherently impolite" intention. Rather, its politeness value is constructed and given symbolic expression to by the speaker. It seems that cases where negative questions express an original expectation cancelled by a new one, as in (1) (*Won't you/Are you not going to help me?*), transparently paraphrasable as "Is it true that, contrary to my expectations, you are not going to help me?" do constitute symbolic expressions of that fact that a refusal is constructed as impolite. This would account for the impoliteness of (1), (2) as well as that of (7). On the other hand, cases with explicit markers of negation of expectation such as (5) and (6) ("ega", "I don't suppose") emphasize that refusal, far from being considered impolite, is in fact construed as the more natural option. As regards the Russian combination of the negative with the future tense as in (3) and (4), where explicit markers of negation of expectation are missing, their function seems to be carried by the conventionalized status of the forms. In other words, though ostensibly translation equivalents of (1) and (2), respectively, they cannot be subjected to the Leechian analysis of the latter but should rather be regarded as contracted versions of (5) and (6). Thus, the Leechian analysis of

negative questions as directives is indeed not universal but applicable only to languages where their use as directives has not been conventionalized.

This, however, does not invalidate the Leechian approach in general. In their introduction to the second edition of their work, Brown and Levinson themselves [1987: 6–7] admit that their superstrategies under-describe linguistic details and that Leechian analysis — essentially based on generalized conversational implicatures — should “take us half-way”.

On the basis of such an analysis, it could further be claimed that cases such as (3), (4), (5) and (6) leave the hearer more of an ‘out’ than prototypical indirect requests in that they do not just question felicity conditions of the request but in fact almost assume that the conditions do not obtain. The effect is similar to that of the conditional which, likewise, expresses pessimism about the presence of felicity conditions and thereby functions as a negative politeness strategy [cf., e.g., Brown and Levinson 1987: 173]. Accordingly, it comes as no surprise that in both Russian and Estonian the negative question is often combined with the conditional. In particular, (5) moves from being marginally polite to polite as soon as the conditional is added

(8) *Ega sa ei (aitaks mind)?* (“I don’t suppose you would (help me)?”)

and (7) turns from impolite to polite

(9) *Kas sa ei (aitaks mind)/ei saaks (mind aidata)?* (“Wouldn’t you/Couldn’t you (help me)?”).

An important conclusion from the analysis is that politeness strategies subsumed under one and the same superstrategy may actually realize considerably different degrees of politeness. In particular, there is every reason to believe that the Russian combination of negative questions with the conditional (the most frequent conventionally indirect forms in our corpus)

(10) *Ty ne (pomog by mne)/Ty ne mog by (mne pomoch’)/Ne mog li ty (mne pomoch’)?* (“Wouldn’t you/couldn’t you (help me)?”)

actually convey a far higher degree of politeness than the prototypical English

(11) *Can/could you (help me)?*

In conclusion, it could be said that calculation of the degree of politeness (W) and, respectively, estimation and cross-cultural/cross-situational comparison of the values of P, D and R turns out to involve considerably more than a mere tally of the “same” politeness (super)strategies. In particular, sweeping generalizations about prototypical cultural values of P, D and R (e.g. English as a “high-D” linguaculture versus “low-D” Slavic linguacultures) do not seem to be warranted. A more fine-honed methodology will accordingly be elaborated for the analysis of our corpus.

REFERENCES

- Betch, M. 2000. — Questions as indirect requests in Russian and Czech. Paper presented at the Second International Conference in Contrastive Semantics and Pragmatics, Cambridge, 11–13 September 2000.
- Betch, M. 2002. — Questions as indirect requests in Russian and Czech. K. M. Jaszolt, K. Turner (eds). *Meaning Through Language Contrast*. Amsterdam: John Benjamins Publishers.
- Blum-Kulka, S., House, J., Kasper, G. (eds). — *Cross-Cultural Pragmatics: Requests and Apologies*. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation.
- Blum-Kulka, S. 1989 — Playing it safe: The role of conventionality in indirectness. In: Blum-Kulka, S., House, J., Kasper, G. (eds). — *Cross-Cultural Pragmatics: Requests and Apologies*. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 37–71.
- Brown, P., Levinson, S. 1978/1987 — *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Eelen, G. 2001 — *A Critique of Politeness Theories*. Manchester: St. Jerome Publishers.
- Faerch, C., Kasper, G. — Internal and external modification in interlanguage request realization. In: Blum-Kulka, S., House, J., Kasper, G. (eds.) *Cross-Cultural Pragmatics: Requests and Apologies*. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 1989, 221–248.
- Fraser, B. 1985 — On the universality of speech act strategies. In: S. George (ed.). *From Linguistic to Social Context*. Bologna: CLUEB, 43–49.
- Konovalov, V. 2001 — *Politeness in Requests: A Cross-Cultural Study of English and Estonian*. Unpublished Master’s Thesis. University of Tartu.

- Leech, G. 1983 — *Principles of Pragmatics*. London, New York: Longman.
- Rintell, E. M., Mitchell, C. J. 1989 — Studying requests and apologies: An inquiry into method. In: Blum-Kulka, S., House, J., Kasper, G. (eds.) *Cross-Cultural Pragmatics: Requests and Apologies*. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 1989, 221–248.
- Searle, J. 1975/1998 — Indirect speech acts. In: Kasher, A. (ed.) *Pragmatics: Critical Concepts*. London and New York: Routledge, vol. 6, 617–639.
- Searle, John 1975 — A taxonomy of illocutionary acts. Reprinted in J. R. Searle 1979 – *Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1–29.
- Trosborg, A. 1995 — *Interlanguage Pragmatics: Requests, Complaints and Apologies*. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.
- Vogelberg, K. 2002a — Politeness debate continued — notes on some key controversial issues in Brown and Levinson's theory. *Catcher of the Meaning. Publications of the Department of General Linguistics 3*. Tartu: Tartu University Press, 340–355.
- Vogelberg, K. 2002b — Keelelise viisakuse mudelite mõnedest vaieldavatest aspektidest eesti, vene ja inglise keele võrdlevate uuringute valguses. *Publications of the Department of General Linguistics 4*. Tartu: Tartu University Press, 297–312.
- Wierzbicka, A. 1991 — *Cross-Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction*. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В БЕССОЮЗНЫХ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

Э.-О. ХААГ

В современной синтаксической науке существуют два подхода к определению статуса бессоюзного сложного предложения (далее — БСП). В рамках одного из них в «Русской грамматике» БСП выводится из парадигмы сложного предложения со сложносочиненным (ССП) и сложноподчиненным (СПП) предложениями, т.е. не рассматривается как сложное предложение. И. Н. Кручинина отрицает наличие грамматической формы у БСП на том основании, что в них нет грамматического (синтаксического) средства для выражения смысловых отношений между частями, равного по значимости союзам в сложносочиненном и сложноподчиненном предложениях. (Исключение составляют предложения с условным значением, в которых грамматическим средством выступают формы наклонений). Указанные конструкции предлагается именовать бессоюзными соединениями (сочетаниями) предложений, сближая тем самым их с единицей более высокого уровня — с текстом [РГ 1980: 634–636]. Однако необходимо учитывать, что исторически бессоюзие предшествовало подчинению и сочинению [Карцевский 2000: 72] и что бессоюзные конструкции обладают признаками полипредикативности и интонационной цельнооформленности, поэтому более обоснованна традиционная точка зрения, выделяющая бессоюзие как особую синтаксическую связь.

Традиционный подход, сложившийся в лингвистике на основании трудов А. М. Пешковского [Пешковский 1956], Н. С. Поспелова [Поспелов 1950], В. А. Белошапковой [Белошапкина 1977], наиболее полно представлен в работах Е. Н. Ширяева [Ширяев 1986]. Исследователи едины во мнении, что синтаксическая форма БСП характеризуется особым средством выражения смысловых отношений между предикативными конструкциями — определенным интонационным типом. Как известно, для бессоюзного сложного предложения характерна интонационная незавершенность первой части конструкции. Эту антикаденцию последней предикативной конструкции в БСП Е. Н. Ширяев предлагает считать синтаксическим средством, на основании которого и выделяются БСП [Ширяев 1986: 43].

Нерешенным в современной русистике остается и вопрос о принципах классификации БСП. Существующие классификации в целом опираются на намеченную С. И. Карцевским структурную классификацию [Карцевский 2000].

Н. С. Поспеловым была выдвинута лексико-семантическая классификация, по которой БСП делятся на бессоюзные предложения однородного (незамкнутый ряд равнозначных предложений) и неоднородного (части предложения взаимозависимы) состава [Поспелов 1950: 344–347]. Эта классификация не лишена противоречий. Напр., результативное *Сыр выпал — с ним была плутовка такова* (И. Крылов) и следственное предложение *Рана у меня зажила: я здоров* (А. С. Пушкин) попадают в разные группы [там же: 347–350].

Е. Н. Ширяев классифицирует БСП в соответствии с теми типами, которые выявляются в разных языковых сферах: в разговорной речи, языке художественной литературы, научном, деловом и публицистическом стилях [Ширяев 1986]. Продолжая традицию выделения теоретического и эмпирического типов мышления, Е. Н. Ширяев проводит разграничение причинных отношений на те, которые устанавливаются между явлениями и событиями объективной действительности и те, которые объясняют действия, состояния человека [там же: 184], т.е. на объективные и субъективные. Следует, однако,

уточнить, что разграничивать необходимо понятие онтологической причины, т.е. логико-философское толкование причинно-следственных связей, и языковое значение, понятие причины, устанавливаемой говорящим (подробнее см. [Хааг 2001-а]), потому что связь между объективными явлениями и событиями действительности в языке устанавливает все же человек, т.е. она всегда субъективна.

В целом исследователи, выделяя различные функциональные группы БСП, единодушны в констатации полисемантической, недифференцированности отношений между предикативными единицами БСП, которые «могут быть восприняты и как временные, и как условные, и как причинно-следственные» [Золотова 1998: 360]. Однако в процессе коммуникации говорящий и слушающий способны определить смысловые отношения, устанавливаемые между частями БСП. Ситуация усложняется, если их просят сделать это вне контекста, вне акта коммуникации. (О проведенных экспериментах по определению смысловых отношений между предикативными конструкциями в БСП см. [Ширяев 1986: 69–70].)

Поэтому представляется возможным выявить и определить критерии, по которым определенные БСП относятся говорящим к предложениям, выражающим причинно-следственные отношения. Уточним, что причинно-следственные отношения мы понимаем в широком смысле как объяснительные отношения, устанавливаемые в языке говорящим. Поэтому в общую объяснительную категорию нами включены причинные, следственные и объяснительные отношения. Под объяснением понимается аргументированная интерпретация зависимых связей фактуальных событий. В зависимости от коммуникативных установок говорящего в предложении могут быть актуализированы как причина, так и следствие (подробнее см. [Хааг 2001-б]).

Причинно-следственные, или объяснительные, отношения в русском языке имеют свои семантические признаки, которые отличают эти отношения от других типов обусловленности — целевых, условных, уступительных, а также от временных, изъяснительных и др. Такими признаками являются: факту-

альность, имплицитивный характер связей, имплицитное выражение сокращенного силлогизма (энтимемы).

Думается, что типология причинно-следственных БСП может быть представлена соотношением употребления грамматических форм глаголов в этих конструкциях, поскольку и в союзных сложных причинно-следственных предложениях наблюдается определенное соотношение грамматических форм в главной и придаточной частях.

С этой точки зрения к бессоюзным сложным причинно-следственным конструкциям мы относим полипредикативные единицы со следующими грамматическими формами, которые отражают временные отношения, свойственные причинно-следственным событиям.

1. Конструкции, выражаемые в прошедшем времени.

1.1. Форма (предшествующего) прошедшего времени как причина или форма прошедшего времени как фон для проявления последующего следствия — форма (последующего) прошедшего времени как следствие:

Разорился парень бедный: купил девке перстень медный (В. Даль); *Люди в церковь все подходили: было воскресенье; Слой облаков был очень тонок — сквозь него просвечивало солнце; Каждый день ходили купаться/ очень жаркая погода была; Я ничего не мог сообразить/ затемнение какое-то нашли* (РР); *У Лоры было тридцать восемь и три — она простудилась, но на похороны все-таки отправилась...* (Ю. Герман); *Я страшно устал/ до трех работал (до трех часов ночи)* (РР); *Но, получив посланье Тани, Онегин живо тронут был: Язык девических мечтаний В нем роem думы возмутил* (А. С. Пушкин); *Он так заразительно смеялся/ это заяц у него вдруг запищал* (РР); *Князь Андрей не помнил ничего дальше: он потерял сознание от страшной боли, которую причинили ему укладывание на носилки, толчки во время движения и зондирование раны на перевязочном пункте* (Л. Толстой); *Я ничего не помнил/ почти без памяти был с этой температурой* (РР).

1.2. Форма настоящего расширенного времени как причинный фон — следствие в форме прошедшего времени:

Слава богу, что вы сказали про меня: я люблю, когда обо мне правду говорят! (И. Гончаров); *Но суть в том, что это прошлое*

уже отравило меня, — я ужасаюсь пустоты, в которую иду, я не могу жить без смысла и без цели (В. Вересаев); Она совершенно замучилась/ не спит ее Димка по ночам (РР); Утром он чувствовал себя бодрее и мужественнее для всякой борьбы: утро приносит с собой силу, целый запас мыслей и намерений на весь день: человек упорнее налегает на труд, мужественнее несет тяжесть жизни (И. Гончаров); Многое прощали ему: сирота...

1.3. Форма прошедшего времени как причина — форма будущего времени как следствие:

Ветер сменился/ может потеплеет завтра; Я не пойду купаться/ простудилась немного (РР).

1.4. Форма прошедшего времени как причина — футуральный инфинитив как следствие:

Он задумался/ трудно ему было решиться сразу; В хозяйственный я пошла/ полы скоро нам натирать; Ему/ по-моему/ еще в местком надо идти/ вызывали профоргов (РР); Никуда он не годится: Целоваться перестал (А. Твардовский).

Форма инфинитива в русском языке обозначает действие, по отношению к которому проявляется интенциональная установка его субъекта или оценка. При выражении интенциональной установки инфинитив может обозначать действие как футуральное по отношению к интенциональной установке, одновременное с ней или постоянно-потенциальное [Шелякин 2001: 149].

Причинно-следственные отношения могут выражаться с участием императива, поскольку побуждение в отличие от выражения условия является фактуальным в понимании говорящего: оно постулирует фактуальное выполнение определенных действий со стороны адресата.

1.5. Форма прошедшего времени как причина — императив как следствие:

У меня кончились деньги — одолжи; Говори тише: я так устал от шума.

2. Конструкции, выражаемые в настоящем времени.

2.1. Форма расширенного настоящего времени как посылка — форма расширенного настоящего времени как вывод:

Люблю сивка за обычай: кряхтит, да везет (В. Даль); Он не актер, не притворяется: для этого он слишком умен и образован, и притом честен (И. Гончаров); Но вдруг становится очень шумно: из кабака выходят с криками, с песнями мужики в красных и синих рубашках (Ф. Достоевский); Место тут степное, ровное, кажется очень глухим: ничего не видишь, кроме неба и бесконечного кустарника (И. Бунин).

2.2. Форма настоящего времени как причина — форма будущего времени или форма настоящего времени по отношению к будущему действию, профетическое настоящее (см. [Шелякин 2001: 104]) как следствие:

Мама печет пироги: вечером дети зайдут в гости. Я собираю вещи — скоро еду!; Я ему куплю сливочное (мороженое)/ он не ест других; Я зажгу свет/ темно уже совсем стало (PP); Я к вам зайти не успею: много работы.

2.3. Форма настоящего времени как следствие — прошедшее как причина или причинный фон для проявления следствия:

Он дома наверно сегодня/ куда-то вроде не собирался; Они в колхозе все/ их послали; Я всех благодарю/ без вас бы я ничего не сделал конечно; Он хочет как-то особо отблагодарить ее/ помогла она ему с диссертацией все-таки очень много; Она лежит вообще сейчас/ ногу сломала (PP); Кстати, чеховская палата № 6 существует и на моей памяти — я в шестнадцатом году видел буквально такую больницу в местечке Большие Гусищи (Ю. Герман); Он очень у них здоровый ребенок/ они его специально закалывали; Он очень целеустремленно работает/ приучил себя к режиму (PP).

В примерах может изменяться порядок расположения причинно-следственных частей, это зависит от актуального членения, а семантическая структура остается та же.

2.4. Форма настоящего времени — футуральный инфинитив (со значением возможности/невозможности осуществления действия):

На стороне врагов законы: Ему ничем нельзя помочь (О. Мандельштам); Ему эту задачку не решить/ он уравнений ведь не знает (PP).

2.5. Форма повелительного наклонения как следствие, вывод — форма настоящего времени как причина, повод:

Бей: не нашего стада скотина; Тише пыли: не твои бобы-ли (В. Даль); А меня, пожалуйста, извините — вызывают на операцию (Ю. Карелин); Я ничего не вижу: включи свет.

3. Конструкции, выражаемые в будущем времени.

3.1. Форма будущего времени как причина — форма будущего времени или форма настоящего времени по отношению к будущему действию как следствие:

Хитрее теленка не будешь: языком под брюхом не достанешь (В. Даль); В Горький я все же наверно на эту конференцию не сумею поехать/ я в Ленинград точно еду (РР); Я допрошу его осторожно, он и не заметит (А. Чехов).

3.2. Форма будущего времени или форма настоящего времени по отношению к будущему как причина — форма прошедшего времени как следствие:

Он диссертацию защищает скоро/ я к нему и заходить перестал (РР).

3.3. Форма футурального инфинитива как следствие — форма будущего времени как причина:

Кроить не шить: после не распорешь; Зачем тебе идти/ он купит все; Он не придет/ плохо/ не с кем будет играть (РР).

3.4. Форма будущего времени как следствие — футуральный инфинитив как причина:

Я зайду в магазин: хлеба надо купить.

3.5. Форма императива, выражающая причину — форма будущего времени как представляемое следствие:

Ешь, что подороже: завтра не дадут (Л. Леонов); Шевелись, работай — ночь будет короче (то есть хорошо уснешь); Крой да песни пой: шить станешь — наплачешься; Пиши долг на забор: забор упадет, и долг пропадет; Не торопись: смелешь, так в ту пору и уедешь; Не пей, кума, дарового вина: придет дорожке купленного (надо отпотчевать); Не тряс яблока, покуда зелено: созреет, само упадет (В. Даль).

3.6. Форма будущего времени как причина — форма императива как следствие:

Приходите завтра: натоплю баню; Завтра мы будем дома: заходите в гости.

3.7. Форма императива, выражающая следствие — футуральный инфинитив как причина:

Не плюй в колодец: пригодится воды напиться.

Анализируемые конструкции позволяют сделать вывод, что наиболее частотными временными соотношениями являются следующие: прошедшее — настоящее, настоящее — будущее, что объясняется объективным предшествованием причины следствию во времени; частотными являются также: предшествующее прошедшее — последующее прошедшее, настоящее как посылка — настоящее как вывод, при этом характер соотношения сохраняется.

Такие соотношения форм времени могут быть выражены и при других типах обусловленности — условных, уступительных, но их нельзя считать причинно-следственными отношениями в связи с отсутствием выражения в них фактуальности действий.

ЛИТЕРАТУРА

- Белошапкова В. А. 1977 — *Современный русский язык. Синтаксис*. М. Карцевский С. И. 2000 — Бессоюзие и подчинение в русском языке. *Из лингвистического наследия*. М. 71–85.
- Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. 1998 — *Коммуникативная грамматика русского языка*. М.
- Пешковский А. М. 1956 — *Русский синтаксис в научном освещении*. М.
- Поспелов Н. С. 1950 — О грамматической природе и принципах классификации бессоюзных сложных предложений. *Вопросы синтаксиса современного русского языка*. М. 338–354.
- РГ-80 — *Русская грамматика*. Т. II. М.
- Хааг 2001-а — О лингвистической интерпретации причинно-следственных отношений. *Русский язык: система и ее функционирование. Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Новая серия*. V. Тарту. 106–109.

- Хааг 2001-б — К типологии выражения причинно-следственных отношений в современном русском языке. *Теоретические проблемы функциональной грамматики. Материалы Всероссийской научной конференции.* СПб. 129–133.
- Шелякин М. А. 2001 — *Функциональная грамматика русского языка.* М.
- Ширяев Е. Н. 1986 — *Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке.* М.

ИСТОЧНИКИ

- Даль В. 1984 — *Пословицы русского народа.* Т. 2. М.
- Иванчикова Е. А. 1956 — Соотносительное употребление форм будущего времени глагола в составе частей бессоюзного сложного предложения. *Исследования по синтаксису русского литературного языка.* М. 78–130.
- РР — *Русская разговорная речь: Тексты.* М. 1978.

БУКВАЛЬНО ДВА СЛОВА О СЛОВЕ БУКВАЛЬНО

В. С. ХРАКОВСКИЙ

Настоящие заметки посвящены слову (или, может быть, точнее вокабуле) *буквально*, которое активно употребляется в различных текстах, выступая в предложении в функции обстояательства или входя в качестве компонента в группу сказуемого, обстоятельства, подлежащего, дополнения и определения. В толковых словарях современного русского языка это слово характеризуется как наречие, у которого есть два значения. В одном значении слово *буквально* входит в синонимический ряд: БУКВАЛЬНО, ДОСЛОВНО, ФОРМАЛЬНО ТОЧНО, а в другом значении оно входит в синонимический ряд: БУКВАЛЬНО, В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, НА САМОМ ДЕЛЕ. Однако в лингвистической литературе предлагается иная, на наш взгляд, более точная трактовка, в соответствии с которой следует различать два отдельных слова, входящих в одну вокабулу [Яковлева 1994]. Одно слово — это наречие, занимающее в предложении самостоятельную синтаксическую позицию обстоятельства, а другое слово, отпочковавшееся в результате языковой эволюции от первого, является метаязыковым оператором, который не занимает самостоятельной синтаксической позиции и вводит «представление о ситуации (или объекте), имеющей много общих свойств с той, чье имя используется, но не обладающей ее главным, родовым свойством и поэтому не относящейся к классу данных ситуаций» ([Гловинская 2001: 34]; ср. [Апресян 1995: 506–507]).

Исходным для наречия *буквально*, очевидно, является такое его употребление, в котором оно характеризует некоторый устный или письменный текст, в том числе и переводной, как

процитированный или переданный формально абсолютно точно, т.е. буква в букву. Именно так это наречие употребляется прежде всего в предложениях с глаголами устной и письменной речи, стандартно предваряя цитированный текст:

- (1) *Там Андрей написал буквально: «Как трудно здесь, в краю привольных лесов и зеленых лугов, думать, что где-то в мире прогремел выстрел и пролилась кровь на белый мундир случайной жертвы»* (К. Булычев).
- (2) *И тут же мысли, несшиеся в голове, подобно падающему с неба аэроплану, буквально закричали: «Можно убежать!»* (К. Булычев).
- (3) *В голове звучало буквально следующее: «Весной жизнь не может не приносить радость»* (Р. Шорин).
- (4) *Передавая мне данную работу, автор произнес буквально следующее: «Это лучшее из того, что я пока создал»* (А. Баррико).

Точно так же это наречие употребляется в предложениях, где некоторому тексту ставится в соответствие его формально точный переводной эквивалент:

- (5) *«Парамгуру» означает буквально «верховный гуру», указывая на линию или последовательность учителей* (Ш. Йоганада).
- (6) *Алфавит называется «девангари» — буквально обитель богов* (Ш. Йоганада).
- (7) *Кляйнер мэнч — буквально: (Маленький человек) название романа М. С. Менделе* (О. Постнов).

Аналогичным образом это наречие употребляется в предложениях с глаголами, обозначающими произнесение, восприятие, понимание речи, текста, где зачастую специально подчеркивается необходимость разграничивать формальное, буквальное восприятие речи и неформальное, небуквальное, т.е. содержательное восприятие, которое может отличаться от формального, буквального. Иначе говоря, формальный облик текста и его смысл — не тождественные сущности, и носители языка их хорошо различают:

- (8) *Я не помню, как это сказано **буквально**, но смысл такой: нам дана жизнь с неперменным условием храбро защищать ее до последнего дыхания* (Г. Газданов).
- (9) *На вечере Дана мне так мягко-мягко, вежливо-вежливо говорит: у вас, Наум, там момент неточный, вы перевели «эц юхасин» **буквально** как «дерево Юхасина», мне кажется, что тут имеется в виду «генеалогическое древо», попросту родословная* (Н. Вайман).
- (10) *И тогда я подумал: а что если старое выражение — идеи носятся в воздухе — надо понимать не в переносном смысле, а **буквально*** (М. Анчаров).
- (11) *Не ожидал, что вы так **буквально** воспримете мои слова о терапевтическом значении оргазма, — пробубнил Элсон* (Ю. Поляков).
- (12) *Но, кажется, мы слишком **буквально** этот лозунг понимаем?* (И. Ратушинская).

Заметим, что наречие *буквально* обычно находится в фокусе внимания говорящего и занимает позицию ремы. Обратим также внимание на то, что формально абсолютно точное восприятие текста в принципе может искажать его смысл и это искажение фиксируется с помощью операторов типа *так, слишком, совсем, почти*, выступающих в препозиции к наречию *буквально*, см. (11)–(12). Обобщая сказанное, можно утверждать, что сфера употребления наречия *буквально* не слишком широка и, в основном, ограничивается предложениями с глаголами, обозначающими произнесение, написание, восприятие и понимание речи.

Иначе ведет себя метаязыковой оператор *буквально*. У этого слова очень широкая сфера употребления. Не занимая самостоятельной синтаксической позиции, данный оператор может входить в группу практически любого члена предложения, выступая, как правило, в препозиции перед словом или словами, к которым он относится.

Прежде всего рассмотрим те случаи, когда метаязыковой оператор *буквально* употребляется в предложении, выступая в роли компонента группы сказуемого и занимая позицию перед глаголом, к которому он относится. Не претендуя на точность высказываемых ниже соображений, мы полагаем, что при

данном употреблении у оператора *буквально* интерпретирующая и/или экспрессивная функция, однако он не является показателем гиперболы, как это иногда считают [Крысин 1988, Шмелева 1986]. Только экспрессивная функция, по-видимому, присуща этому оператору, когда он сочетается с глаголами, которые сами по себе уже являются в какой-то степени экспрессивными:

- (13) Сонную Нюрку, в ужасе закрывавшую руками зеленые бигуди, она *буквально* вытолкнула из комнаты (Ю. Поляков).
- (14) У нас было много любимцев-животных, в числе их — олененок, которого дети *буквально* обожали (В. Чернобров).
- (15) В это время мы вышли на самый верх, где ветер *буквально* сбивал с ног (А. Сидерский).

По нашему мнению, нет достаточных оснований считать, что в подобных примерах метаязыковой оператор вводит «представление о ситуации, имеющей много общих свойств с той, чье имя используется, но не обладающей ее главным, родовым свойством и поэтому не относящейся к классу данных ситуаций» [Гловинская 2001: 34]. Мы полагаем, что в приведенных примерах речь идет только об одной ситуации и именно о той, чье имя используется в предложении, хотя и допускаем, что в подобных примерах оператор может выполнять и интерпретирующую функцию. Таким образом, в примерах этого типа метаязыковой оператор по своей роли в предложении не очень далеко отстоит от наречия, от которого он произошел, и не всегда служит «показателем смещения, легкого искажения действительного положения дел» [Яковлева 1994: 263]. Возможно, примеры такого рода знаменуют собой первый этап языковой эволюции, в ходе которой от наречия отпочковался метаязыковой оператор.

Иначе обстоит дело в примерах, где метаязыковой оператор выполняет и экспрессивную, и интерпретирующую функцию и где глаголы вовсе не обязательно являются экспрессивными:

- (16) Мескалин, например, настолько изменяет вибрации человека, что он *буквально* катапультируется из своего физического тела и попадает в астрал (Лобсанг).

- (17) *Едва мы вышли из машины, как тарелки буквально растаяли на моих глазах столь же таинственно, как и появились* (Д. Мензел).
- (18) *Я четко видел, как шайба не летела, а буквально ползла по воздуху* (В. Чернобров).
- (19) *Едва связист пополз по ровной как стол площади, асфальт вокруг буквально вскипел от сотен пуль, сплошные фонтанчики и брызги превратились в туман, окутавший человека* (В. Чернобров).

В примерах этого типа говорящий действительно имеет в виду ситуацию, которая соизмерима с называемой глаголом, но фактически не является таковой. В самом деле нормально человек не может катапультироваться из своего тела, см. (16), тарелки не тают, см. (17), шайба не ползет по воздуху, см. (18), асфальт не вскипает, см. (19), но ситуации, которые реально происходят, не имея собственного имени, по многим внешним признакам соизмеримы с названными ситуациями, но не обладают их главным родовым свойством. Такие примеры, очевидно, появляются на втором этапе становления метаязыкового оператора, когда происходит расширение его функций, т.е. к экспрессивной функции присоединяется и интерпретирующая.

Метаязыковой оператор *буквально* довольно широко употребляется в предложении в качестве компонента различных обстоятельств, и прежде всего обстоятельства времени, обозначающего интервал, до которого, см. (20), после которого, см. (21)–(22), или во время которого, см. (23)–(25), осуществляется некоторая ситуация:

- (20) *Много лет спустя, когда в очередной раз нахлынуло «А помнишь?..», она созналась, что делала это по совету матери, постоянно говорившей про то, как от ее подруги очень завидный жених утек, натешившись, буквально за несколько дней до свадьбы* (Ю. Поляков).
- (21) *Оксанин отец пять лет назад завербовался на Север — подзаработать, и его буквально через месяц зарезал в драке расконвоированный зэк* (Ю. Поляков).
- (22) *Он сделал еле заметный жест, охранник что-то крикнул в портативную рацию — и буквально через мгновение из переулка выскочили «мерседес» и джип* (Ю. Поляков).

- (23) Допустим, на секунду *буквально* допустим, что он мог случайно пропустить удар неотесанного, но сильного человека (Ю. Поляков).
- (24) И вдруг, *буквально* за несколько месяцев все изменилось (Ю. Поляков).
- (25) Но для этого, твердил он, нужно *буквально* за несколько лет создать класс собственников (Ю. Поляков).

При таком употреблении метаязыкового оператора *буквально* его роль сводится к тому, чтобы с определенной долей экспрессии фиксировать различия между названным интервалом времени и тем интервалом, который говорящий фактически имеет в виду. Реально говорящий имеет в виду, с его точки зрения, прагматически малый и приблизительный период времени (мгновенья, секунды, минуты, дни, годы), который соизмерим с названным. Расхождение между названным периодом времени и реальным смыслом сказанного особенно заметно, когда назван предельно малый период времени, скажем, мгновенье, секунда, минута, см. (22)–(23). Реально в этих примерах речь идет действительно о небольшом и неопределенном периоде времени, соизмеримом с названным, но фактически превышающим его. В связи с изложенным правомерно задать вопрос. Почему, скажем, абсолютно корректным является предложение (26) и некорректным предложение (27):

(26) *Студент решил все задачи буквально за один час.*

(27) *?Студент решил все задачи буквально за один час и одну минуту.*

Можно думать, что предложение (26) является корректным потому, что час является такой точной единицей времени, которая может рассматриваться в качестве своего рода эталона, а с эталоном, как известно, принято соизмерять любые другие единицы. В то же время один час и одна минута эталоном не являются, и именно по этой причине предложение (27) является некорректным.

Разумеется, оператор *буквально* создает представление о периоде времени, который имеет много общих свойств с периодом времени, имя которого реально используется в пред-

ложении, однако не вполне ясным остается вопрос, обладает ли тот период, который говорящий имеет в виду, главным родовым свойством формально названного периода или нет. Отсутствие такого свойства рассматривается как неперменный атрибут употребления метаязыкового оператора *буквально*, однако мы не уверены, что во всех случаях дело обстоит именно так. Сравним, в частности, примеры (28) и (29):

(28) *Студент решил задачу за несколько минут.*

(29) *Студент решил задачу **буквально** за несколько минут.*

У нас нет уверенности, что период времени, называемый в (29), не обладает главным родовым свойством периода времени, называемого в (28). Во всяком случае мы затрудняемся сформулировать такое свойство, если не считать таковым точность в отличие от приблизительности, хотя считать точными такие интервалы времени как *несколько минут* можно только с определенной натяжкой.

Метаязыковой оператор *буквально* может употребляться в предложении, выступая в роли компонента других обстоятельств времени, см. (30), места, см. (31)–(33), образа действия, см. (34)–(36):

(30) *...о Времени у большинства людей **буквально** с детства вырабатываются сходные стереотипные представления, и эти представления можно назвать мифологизированным временем (В. Чернобров).*

(31) *Горько знать, что пилоты погибли **буквально** на пороге дома, в одной минуте полета (В. Чернобров).*

(32) *Ни разу не видел ни одного комара возле носа бурундука или белки, хотя последние крутились **буквально** рядом с нашим носом (В. Чернобров).*

(33) *Получалось так, что база «духов» была **буквально** на склоне соседней горы (В. Чернобров).*

(34) *И в этот момент Ан-12 попал в мощный грозовой фронт; яркие вспышки молний окружили незащитный самолет **буквально** со всех сторон (В. Чернобров).*

(35) *Колеса вращались с бешеной скоростью, но машина стояла на месте и страшно медленно, **буквально** по миллиметру продвигалась в сторону пропасти (В. Чернобров).*

- (36) *Много суток он провел буквально на грани или даже за гранью жизни и смерти* (В. Чернобров).

И в этих употреблениях у метаязыкового оператора те же экспрессивная и интерпретирующая функции.

Метаязыковой оператор *буквально* может также употребляться в предложении, выступая в роли компонента группы подлежащего, см. (37)–(39), дополнения, см. (40)–(42), определения, см. (43):

- (37) *На каждую действительно яркую комету приходятся буквально сотни гораздо меньших и менее ярких комет* (Д. Мензел).
- (38) *Иногда воскресшие помнят не все этапы, но буквально все или почти все утверждают, что чувствовали себя превосходно* (В. Чернобров).
- (39) *Смерть — это далеко не единственный повод для многочисленных научных (и ненаучных) споров, но это единственный вопрос, по которому буквально каждый находит правильный ответ* (В. Чернобров).
- (40) *Поэтому трудно представить себе, чтобы фараоны придумали бы ДВА ЧИСЛА (!), сочетания которых (сумма, разность, произведение, возведение в степень и т.д.) дали бы буквально тысячи различных дат и сведений* (В. Чернобров).
- (41) *Найти можно буквально все, для чего достаточно прицепить радиомаяк к тонущим каравеллам и набитым награбленным золотом шхунам* (В. Чернобров).
- (42) *Когда на моих глазах шальной снаряд превратил возницу вместе с конем и повозкой буквально в пыль, для меня время полностью остановилось* (В. Чернобров).
- (43) *Столь острой, буквально раздирающей тело на куски боли он никогда не испытывал за всю свою жизнь* (В. Чернобров).

Если считать приведенные примеры прототипическими, то можно полагать, что метаязыковой оператор стандартно входит в группы подлежащего, дополнения и определения, выполняя, как и в группе сказуемого и обстоятельства, экспрессивную и интерпретирующую функцию, обозначая, что тот предмет, множество предметов или свойство, которые говорящий имеет в виду, соизмеримы, но не совпадают с реально

названными в предложении предметом или множеством предметов или свойством.

Наши краткие итоговые замечания сводятся к следующему. Как уже было отмечено в литературе, в вокабулу *буквально* входят две самостоятельные лексические единицы. Исходной единицей является наречие БУКВАЛЬНО, которое имеет ограниченную сферу применения, употребляется в предложениях с глаголами, обозначающими произнесение, восприятие, понимание какого-либо устного или письменного текста и характеризует этот текст, в том числе и переводной, как процитированный или переданный формально абсолютно точно, т.е. буква в букву. Другой производной единицей, возникшей в ходе языковой эволюции, является метаязыковой оператор БУКВАЛЬНО 2, образующий синонимический ряд вместе со словами ПРОСТО 2 (*спит за столом*), ПРЯМО 2 (*так и ахнул*), ФОРМЕННЫМ ОБРАЗОМ. Этот оператор имеет значительно более широкую сферу применения сравнительно с исходным наречием и может употребляться в качестве компонента группы практически любого члена предложения, указывая на то, что ситуация или предмет, которые имеет в виду говорящий и которые, по его мнению, не имеют собственного общепризнанного имени, по многим внешним признакам сходны с реально названными в предложении, но обычно не обладают их родовым признаком. Специфической чертой метаязыкового оператора БУКВАЛЬНО, отличающего его от наречия БУКВАЛЬНО, является то, что при его употреблении речь идет только о реальных ситуациях или предметах, непосредственно воспринятых говорящим до времени речи, но не о ситуациях или предметах, относимых к плану будущего или к одному из возможных миров. Эта особенность оператора определяется тем, что устанавливать сходство одной ситуации с другой известной ситуацией или одного предмета с другим известным предметом говорящий может лишь тогда, когда исходная ситуация или исходный предмет уже находятся в его поле зрения.

ЛИТЕРАТУРА

- Апресян Ю. Д. 1995 — Лексикографические портреты (на примере глагола *быть*). *Избранные труды*. М. Т. 2.
- Гловинская М. Я. 2001 — Размышления говорящего о выборе слова: фрагмент металексикки. *Юбилейн сборник посветен на 70-годишнината на проф. Ирина Червенкова*. София.
- Крысин Л. П. 1988 — Гипербола в русской разговорной речи. *Проблемы структурной лингвистики 1984*. М.
- Шмелева Т. В. 1986 — Средства выражения модусного смысла 'преувеличение'. *Системный анализ значимых единиц языка*. Красноярск.
- Яковлева Е. С. 1994 — *Фрагменты русской языковой системы мира (модели пространства, времени и восприятия)*. М.

МОДЕЛИ ВИДОВЫХ ПАР С ПРЕФИКСОМ С- В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

М. Ю. ЧЕРТКОВА, П.-Ч. ЧАНГ

Глагольные приставки изучаются славистами уже более ста лет, но интерес к ним не ослабевает. Традиция описания глагольной префиксации формировалась в рамках двух областей славистики: аспектологии и словообразования. Исследованию видовых и других корреляций глаголов НСВ и СВ посвящено большое число работ: [Н. С. Авилова, А. В. Бондарко, В. Брой, Т. В. Булыгина, В. В. Виноградов, А. В. Исаченко, С. Кароляк, М. А. Кронгауз, Ф. Леман, Ю. С. Маслов, А. Н. Тихонов, П.-Ч. Чанг, М. Ю. Черткова, М. А. Шелякин, M. S. Filer, L. Janda, M. Vey, C. N. Van Schooneveld и др.]. Обращаясь к данной проблематике, большинство специалистов, так или иначе, высказывают своё мнение и по некоторым теоретическим вопросам: по поводу наличия/отсутствия чистовидовых префиксальных пар, «нулевого» значения приставки в чистовидовой паре глаголов, соотношения вида и т.н. способов глагольного действия и т.п.

Чистовидовыми парами в аспектологии называют обычно пары с десемантизированными (плеонастическими, по Ю. С. Маслову) префиксами типа *строить* — *ПОстроить*, *петь* — *Спеть* в отличие от словообразовательных корреляций, которые не составляют видовых пар, типа *строить* → *ПЕРЕстроить*, *петь* → *НАпеть*.

В действительности же к чистовидовым, или собственно видовым, парам в первую очередь следовало бы отнести суффиксальные пары типа *решАть* — *решить*, *устаВАть* — *устать*, *наказЫВАть* — *наказать*. Супплетивные пары типа

ловить — *поймать*, *брать* — *взять*, *приходить* — *прийти*, несмотря на свою полную формальную аграмматичность, признаются всеми лингвистами как чистовидовые, и довольно необычная (гораздо более необычная, чем у префиксальных пар) «чистота» пар супплетивного типа не вызывает сомнений. Тем не менее вопрос о чистовидовом характере префиксальных пар остается дискуссионным. Почему это происходит?

Приставочное глагольное словообразование в славянских языках обширно и чрезвычайно продуктивно. Перфективация была и остается базой, на которой данные языки первоначально строили и продолжают строить свое видообразование. На это указывал еще Ю. С. Маслов [Маслов 1958]. Предметом пристального внимания аспектологов остаются и так называемые способы глагольного действия (Aktionsart): активно разрабатываются критерии разграничения префиксальных способов глагольного действия и префиксальных видовых пар (ср. *говорить* — *сказать*, *говорить* — *поговорить*, *говорить* — *проговорить что-либо*, и *говорить* → *отговорить*, *говорить* → *разговориться*). Разброс мнений относительно сущности перфективации и наличия/отсутствия чистовидовых пар в видообразовании очень широк. Приведем некоторые точки зрения. «Отрицательными» являются, например, следующие мнения.

А. В. Исаченко считал, что в отличие от имперфективации — чисто грамматического процесса — перфективация является процессом образования нового лексического значения [Исаченко 1960].

С. И. Карцевский также рассматривал перфективацию как словообразовательный процесс и считал, что единственными видовыми парами, реально существующими в языке, являются грамматические пары (а именно суффиксальные) [Карцевский 1962: 229].

Имеются, конечно, и противоположные суждения. Так, сторонники чистовидовых приставочных пар Р. И. Аванесов и В. Н. Сидоров писали, что в ряде случаев глаголы СВ с приставкой отличаются от соответствующих бесприставочных глаголов НСВ исключительно или главным образом своим ви-

дом и могут образовывать видовые пары [Аванесов, Сидоров 1945: 172].

П. С. Кузнецов считал, что в некоторых случаях приставки служат только для образования глаголов СВ и не вносят в глагол никакого нового лексического значения. Такие приставки он назвал «приставками грамматического значения» [Кузнецов 1952].

В. В. Виноградов признавал наличие чистовидовых префиксов: «Некоторые глагольные приставки превращаются в чисто видовые префиксы и служат простым грамматическим средством образования форм совершенного вида. Из словообразующих приставок они становятся формообразующими префиксами» [Виноградов 1972: 422].

Сторонником существования чистовидовых приставок и пар так же является А. Н. Тихонов, который считает, что перфективацию нельзя рассматривать только как словообразовательный процесс. По его мнению, роль чистовидового префикса сводится к выражению грамматического значения совершенности [Тихонов 1964: 52; 1998б: 472].

Кроме указанных точек зрения, существует третья. Так, М. Вей при анализе чешского языка указал на возможность структурного объяснения нулевого семантического эффекта от присоединения приставки в чистовидовой паре глаголов. По его мнению, значение префикса **не отсутствует и не равно нулю**: оно совпадает со значением глагола, поэтому и появляется **нулевой эффект** [Vey 1952].

Для русского языка это явление наиболее отчетливо сформулировал К. Ван Схоневельд [Schooneveld 1958], показав, что та или иная глагольная приставка может фигурировать в качестве чистовидовой («preverbe vide») только при глаголах определенных семантических групп, например, приставка **НА-** — при глаголах, обозначающих конечный местный результат. По мнению К. Вана Схоневельда, приставка является чистовидовой в случае, когда конечный результат действия, обозначенного глаголом, совпадает с конечным результатом действия, обозначенного приставкой. Таким образом, чистовидовая семантика приставки полностью сохраняет свое словообразова-

тельное значение, которое накладывается на значение глагола, что само по себе избыточно [Schooneveld 1958: 161].

Сходной точки зрения придерживается большинство западных русистов. Российские исследователи относятся к данному объяснению неоднозначно, что связано с отсутствием надежной проверки согласовательных возможностей глаголов и их чистовидовых приставок в парах.

Проанализировав 11680 глагольных лексем в созданной нами компьютерной базе русских глаголов [Черткова 1996, Чанг 1999] на основе «Словаря русского языка» С. И. Ожегова [Ожегов 1989] и ряда других словарей¹, мы пришли к выводу, что точка зрения, высказанная М. Веем и К. Ван Схоневельдом, справедлива.

1. В русском языке насчитывается 29 глагольных приставок. Из них 18 были использованы языком как **видообразующие** [Черткова 1996: 123–125].

2. В современном языке продуктивными являются лишь пять чистовидовых префиксов: **ПО-, С-, ПРО-, ЗА- ОТ-** [Черткова 1996].

При этом прослеживается закономерность сочетаемости определенной приставки с глаголами той или иной определенной семантики [Черткова, Чанг 1998].

3. Префикс **С-** стоит на втором месте на шкале продуктивности. Тем не менее данная приставка является недостаточно исследованной в русском видообразовании.

Префиксальные пары представляют широкий спектр семантико-видообразовательных моделей [Черткова 1996: 113–127], объединенных в три основные семантические типа ‘ПРОТ’ — ‘РЕЗУЛЬТ’ (протяженность — результативность) типа *строить* — **ПО**строить (дом), ‘ПРОТ’ — ‘МОМЕНТ’ (протяженность — моментальность) типа *идти* — **ПО**йти, *чувствовать* — **ПО**чувствовать, и ‘ПРОТ’ — ‘ЛИМИТ’ (протяженность — лимитативность) типа *работать* — **ПО**работать. Префикс-

¹ См. список сокращений в конце статьи.

сальные видовые пары представлены в каждом из этих трех типов [Черткова 1994, 1996].

При помощи приставки **С-** (**СО-**) образуются видовые пары только одного семантического типа: 'ПРОТ' — 'РЕЗУЛЬТ', напр.: *делать* — *Сделать*, *комплектовать* — *Скомплектовать*.

В числе пар с приставкой **С-** (**СО-**) имеются глаголы следующих семантических групп.

1) Глаголы со значением «производить что-либо», напр., *делать* — *Сделать*, *мастерить* — *Смастерить*, *варганить* — *Сварганить*, *шить* — *Сшить*:

Ложное-то завещание кто смастерил? (Н. Гоголь); *Они из консервной банки летательный аппарат сварганить могут, но реальность гонит на базар* («Веч. М», 1998).

2) Глаголы той же первой группы, но со значением приготовления пищи, напр., *варить* — *Сварить*, *готовить* — *Сготовить*, *стряпать* — *Состряпать*, *варганить* — *Сварганить*:

[Жена] сварила макароны, чтобы утром их можно было быстро разогреть (В. Токарева).

3) Глаголы со значением соединения из разных частей в одно целое, напр., *брошюровать* — *Сброшюровать*, *группировать(ся)* — *Сгруппировать(ся)*, *компоновать* — *Скомпоновать*, *клеить* — *Склеить*, *лепить(ся)* — *Слепить(ся)*, *концентрировать(ся)* — *Сконцентрировать(ся)*, *фокусировать* — *Сфокусировать*:

Бедствия, претерпеваемые французской армией..., здесь вдруг сгруппировались в один момент и в одно трагическое зрелище (Л. Толстой); *Где еще может быть сконцентрировано половозрелое население?* («АиФ», 1998).

4) Глаголы со значением «делать что-либо, копируя с оригинала», напр., *имитировать* — *Сымитировать*, *калькировать* — *Скалькировать*, *копировать* — *Скопировать*, *фотографировать* — *Сфотографировать*:

Шоковая терапия была скопирована у соседних стран, которые в свою очередь сделали её по подсказке других («Веч. М», 1998).

5) Группа глаголов со значением «находиться в искривленном состоянии или делать что-то или кого-то каким-либо», напр., *гнуть* — *Согнуть*, *горбить(ся)* — *Сгорбить(ся)*, *корезить* — *Скорезить*, *морщиться* — *Сморщиться*, *корчить(ся)* — *Скорчить(ся)*:

Он <прокуратор> как будто на глазах постарел, сгорбил-ся (М. Булгаков); *Серый Глаз начал с того, что сморщил нос и презрительно фыркнул в сторону первого к нему на увале рога-ча* (М. Пришвин).

6) Группа глаголов со значением «делать что-либо или поступать каким-либо образом (обычно плохо)», напр., *грешить* — *СОгрешить*, *глупить* — *Сглупить*, *озорничать* — *Созорничать*, *умничать* — *Сумничать*, *хитрить* — *Схитрить*:

Но в этот раз она даже и не схитрила, а просто снизу вверх подтолкнула рукой ложку, и все лекарство выплеснулось прямо на манишку и на лицо бедному старичку (Ф. Достоевский); *великодушничают* — *Свеликодушничают*, *двурушничают* — *Сдвурушничают*, *малодушничают* — *Смалодушничают*, *мошенничают* — *Смошенничают*:

Я молча покачал головой и смалодушничал (В. Беляев).

7) Глаголы «непосредственного эффекта» со значением речи (содержащие указание на особый образ, какое-либо чувство, умысел и т.п.), напр., *острить* — *Сострить*, *лукавить* — *Слукавить*, *язвить* — *Сязвить*, *агитировать* — *Сагитировать*, *каламбурить* — *Скаламбурить*, *командовать* — *Скомандовать*, *лгать* — *СОлгать*:

Я слукавлю, если скажу, что нынешняя жизнь и муж не нравятся («Профиль», 1998); *И это «да» много значило, потому что он никогда не лгал ей, не солгал бы и на этот раз* (К. Симонов).

8) Глаголы с общим значением уничтожения предмета, напр., *губить* — *Сгубить*, *ломать* — *Сломать*, *комкать* — *Скомкать*, *гнуть* — *Сгнуть*, *гореть* — *Сгореть*:

Рутилов наклонился, оторвал шерстистый стебель белены, скомкал его вместе с листьями и грязно-белыми цветами (Ф. Сологуб); *За пятнадцать лет столько родилось и столько умерло*

своей смертью людей, столько погибло от злодейских рук, спилось, отравилось, сгорело, заблудилось, утонуло... (В. Астафьев).

9) Глаголы со значением движения сверху вниз², напр., *валить(ся) — Свалить(ся), пикировать — Спикировать*:

Я чуть в воду от смеха не свалился, а Степан угрюмо покраснел (Евтушенко); *Оператор с телекамерой спикировал прямо к ногам лже-Шуфутинского* («Веч. М», 1998).

10) Глаголы со значением развивающегося состояния, напр., *зреть — Созреть, тихнуть — Стихнуть, темнеть — Стемнеть, вечереть — Свечереть*:

Когда подъезжали к усадьбе, совсем свечерело, снега и белые шапки крыш резко выделились в последнем свете от заката (И. Бунин).

11) Глаголы со значением принятия пищи, напр., *есть — Съесть, кушать — Скушать, жрать — СОжрать* (груб.):

Кто кого свалит — Фотий ли министра Голицына, Голицин ли Фотия, или Аракчеев съест их обоих (Ю. Тынянов).

12) Глаголы со значением «не тратить, скрывать», напр., *экономить — Сэкономить, прятать — Спрятать, хоронить(ся) — Схоронить(ся)*:

Кот вскочил на заднюю дугу последнего, <...> и укатил, сэкономив, таким образом, гривенник (М. Булгаков).

13) Группа глаголов со значением «исполнять что-нибудь», напр., *играть — Сыграть, петь — Спеть, танцевать — Станцевать*:

Я пойду на улицу и станцюю хорошенькой вальс перед публичкой (А. Толстой).

14) Группа глаголов со значением кражи, напр., *воровать — Своровать, красть — Скрасть* (прост.), *лямзить — Слямзить* (груб.), *тянуть — Стянуть* (прост.):

Взял как-то мальчишку с улицы, воспитать думал, а он скрал у меня часы — и удрал (М. Горький).

² Хотя, казалось бы, это пространственное (абсолютно словообразовательное) значение.

В современном языке *С-* является продуктивной видообразующей приставкой. Спор идет о том, какой из двух префиксов — *С-* или *ПО-* — более употребителен. О продуктивности *С-* в современном видообразовании свидетельствуют следующие факты.

1. Префикс *С-* используется для образования формы СВ от многочисленных глаголов, существовавших в нем ранее как одновидовые глаголы НСВ, напр., *работать* — *Сработать* (что-либо), *гримасничать* — *Сгримасничать*, *любезничать* — *Слюбезничать*, *робеть* — *Сробеть*, *щучить* — *Сщучить* (разг.):

У меня ощущение, что Ельцин воспользовался тем, что вся политэлита в отпуске, и решил вернуться и сщучить местность для ведения последующих боевых действий, как говорят военные («Интерфакс-АиФ», 1998); Однако вряд ли этот крепко срежиссированный фильм покорит берлинское жюри («Коммерсантъ-daily», 1996).

2. Префикс *С-* широко используется для образования видовых коррелятов от двувидовых глаголов. Поскольку категория вида представляет собой бинарную систему, многие (особенно новые) двувидовые глаголы благодаря своим лексико-грамматическим особенностям развивают видовые пары и таким образом «вписываются» в систему вида славянского типа. В современном русском языке наблюдается общая тенденция все более широкого образования видовых пар от двувидовых глаголов, так как большинство двувидовых глаголов представляет собой заимствованные лексемы, которые таким образом приспособляются к функционированию в грамматической системе русского языка. При образовании видовых пар от двувидовых глаголов в русском языке используется 10 приставок, среди которых приставка *С-* занимает второе место [Черткова, Чанг 1998], напр., *акцентировать* — *Сакцентировать*, *амортизировать* — *Самортизировать*, *нивелировать* — *Снивелировать*, *унифицировать* — *Сунифицировать*, *цементировать* —

Цементировать; оперировать — Соперировать, катапультироваться — Скатапультироваться:

Нужно где-то точнее сакцентировать эту тему — тему одиноких женщин... (Н. Мордюкова); Мы все статьи наконец-то сунифицировали (устн.); А вдруг кто-то сфальсифицировал протоколы? («Моск. комсомолец», 1995).

3. Особенно широко распространено образование видовых пар при помощи приставки *С-* в разговорной речи, напр., *кокетничать — Скокетничать, нервничать — Снервничать, наушничать — Снаушничать, халтурить — Схалтурить, подхалимничать — Сподхалимничать, вредничать — Свредничать, ветреничать — Светреничать* [Тихонов 1958, Черткова 1998]; *готовить — Сготовить*³ (обед), *терпеть — Стерпеть*⁴ (боль, обиду), *губить — Сгубить*⁵, *хоронить — Схоронить*⁶; *анализировать — Санализировать*⁷, *оперировать — Соперировать*⁸, *нивелировать — Снивелировать*⁹:

Завидев на противоположной стороне проспекта палатку, Клинков не стерпел («Коммерсантъ-daily», 1995); Нужно суметь санализировать всё это (устн.); Его придется соперировать в мае (устн.).

4. О продуктивности приставки *С-* в образовании видовых пар говорит также существование вариантов пар. В словарях можно столкнуться с наличием следующих вариантов пар с приставкой *С-* и другими приставками: *дублировать — ПРОдублировать (СО*¹⁰*)* и *дублировать — Сдублировать (СО), ком-*

³ Ср. *готовить — приготовить*.

⁴ Ср. *терпеть — потерпеть* (боль).

⁵ Ср. *губить — погубить*.

⁶ Ср. *хоронить — ПОхоронить, хоронить — ЗАхоронить* (в значении «закапывать в землю, помещать в гробницу (тело или прах умершего), обычно с соблюдением принятых обрядов»); *хоронить — Похоронить* (в значении «считая отжившим, ненужным, предавать забвению»).

⁷ Ср. *анализировать — ПРОанализировать*.

⁸ Ср. *оперировать — ПРОоперировать*.

⁹ Ср. *нивелировать — ПРОнивелировать*.

¹⁰ См. список сокращений в конце статьи.

кать — *ИС*комкать (СО) и *ком*кать — *С*комкать (СУ, МАС, СО), *коп*ить(ся) — *С*копить(ся) (СО, МАС) и *коп*ить(ся) — *НА*копить(ся) (МАС, СО), *лом*ать — *С*ломать (СУ, МАС, СО) и *лом*ать — *ПО*ломать (СО), *плани*ровать — *ЗА*планировать (ОРД, МАС, СО) *плани*ровать — *С*планировать (МАС, СУ), *репет*ировать — *ОТ*репетировать (СО), *репет*ировать — *ПРО*репетировать (СО) и *репет*ировать — *С*репетировать (СУ, СО), *цент*рировать — *ОТ*центрировать (МАС) и *цент*рировать — *С*центрировать (МАС).

Подсчёты показывают, что из 118¹¹ вариантов префиксальных пар около 38 глаголов (32%) имеют в качестве конкурирующей приставку *С-*. Префикс *С-* может выступать как заместитель приставок *НА-* (*Сол*гать и *НА*лгать), *ИС-* (*С*комкать и *ИС*комкать), *ОТ-* (*С*прессовать и *ОТ*прессовать), *ЗА-* (*С*вечереть и *ЗА*вечереть), *ОБ-* (*С*лупить и *ОБ*лупить), *ПЕРЕ-* (*С*путать и *ПЕРЕ*путать), *ПРО-* (*С*дублировать и *ПРО*дублировать). Возможность сочетания глагола с разными приставками с одним и тем же результативным значением объясняется, прежде всего, не семантической природой глагола, а активизацией, универсализацией префикса *С-*, вытесняющего конкурирующие «результативные» приставки. Например, глагол *ком*кать по своему значению «мять, превращать в комок» может использовать приставку *ИС-* в значении «приводить в негодность или причинять какой-либо ущерб»: *у*родовать(ся) — *ИЗ*уродовать(ся), *ко*веркать — *ИС*коверкать, *пач*кать(ся) — *ИС*пачкать(ся), *порт*ить(ся) — *ИС*портить(ся), *мя*ть — *ИЗ*мять, — и одновременно сочетать приставку *С-* в значении «уничтожение предмета»: *губ*ить — *С*губить, *лом*ать — *С*ломать, *гно*ить — *С*гноить, *гн*ить — *С*гнить, *прет*ь — *СО*преть, *гор*еть — *С*гореть, *же*чь — *С*жечь.

Вариативность свидетельствует о том, что подходящие корреляты ещё «подбираются». Поэкспериментировав, язык

¹¹ Данная цифра включает лишь семантический тип пар 'ПРОТ' — 'РЕЗУЛЬТ'. Если учитывать семантический тип 'ПРОТ' — 'ЛИМИТ' и семантический тип 'ПРОТ' — 'МОМЕНТ', то цифра увеличится.

в конечном счёте останавливает свой выбор на наиболее удачном, с его точки зрения, глаголе СВ, который имеет самую «десемантизованную» приставку. Наш анализ показал: при сосуществовании двух или большего количества видовых приставок у одного и того же глагола приставка **С-** имеет наибольший потенциал и может вытеснять корреляты с другими приставками, напр., *плутовать* — *Сплутовать* вместо *плутовать* — *НАплутовать*, *лгать* — *СОлгать* вместо *лгать* — *НАлгать*. Возможно, это связано с меньшей семантической нагрузкой приставки **С-**, т.е. с ее большей «десемантизованностью».

В системе вариантных форм в тройках типа *читать* → *прочитать* → *прочитывать* наблюдаются некоторые общие тенденции: если вариантные формы имеют различные смысловые оттенки или стилистическую дифференциацию, то они медленнее «уходят» из языка. Если же между формами нет семантических или стилистических различий, то исчезновение одной из форм неизбежно, поскольку в грамматической системе языка дублетность избыточна.

Рассмотренный материал позволил нам сделать следующие выводы.

Категория вида активно использует в видообразовании перфективацию. Если первичный глагол НСВ не имеет видового коррелята, то язык обеспечивает корреляцию путем перфективации.

Язык стремится к унификации средств видообразования. В настоящее время видообразование осуществляется путем имперфективации, перфективации и в редких исключениях — супплетивизма. В морфологии между имперфективацией и перфективацией нет принципиальной разницы. Для образования грамматических форм имеются разные аффиксы. Префиксация — продуктивный способ видообразования глаголов в современном русском языке.

Некоторые чистовидовые приставки являются формообразующими. В. В. Виноградов считал, что приставки *О-*, *ПО-*, *С-*¹² служат простыми формальными признаками СВ [Виноградов 1972: 423]. А. Н. Тихонов рассматривает приставки *ПО-*, *С-*, *ЗА-*, *О-* как чистовидовые морфемы [Тихонов 1998а: 36–135]. По мнению Р. И. Аванесова и В. Н. Сидорова, наиболее грамматическими являются приставки *С-*, *ПО-*, *О-* [Аванесов, Сидоров 1945: 172]. Как видим, приставка *С-* всеми исследователями признается как одна из наиболее продуктивных.

Однако говорить о полной грамматикализации этих чистовидовых префиксов, как показывает наш анализ, пока рано. Тем не менее продуктивность приставки *С-* в современном видообразовании, особенно в разговорной речи, является бесспорным языковым фактом.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- СО — *Словарь русского языка*. М., 1989, С. И. Ожегов.
 БАС1 — *Словарь современного русского литературного языка*. Л., 1950–1965. 17 т.
 БАС2 — *Словарь современного русского литературного языка*. Под ред. К. С. Горбачевича. М., 1991–1994. В 6 т.
 ГС — *Грамматический словарь русского языка* А. А. Зализняка. М., 1977.
 СУ — *Толковый словарь живого великорусского языка* В. И. Даля. М., 1998; *Толковый словарь русского языка*. Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1935–1940.
 МАС — *Словарь русского языка*. Под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1981–1984.
 РТС — *Русский толковый словарь* В. В. Лопатина и Л. Е. Лопатиной. М., 1997.
 РКС1 — *Русско-китайский словарь*. Под ред. Лу. Тайбей, 1985.
 РКС2 — *Компактный большой русско-китайский словарь*. Под ред. Пу и др. Пекин, 1989.

¹² По мнению В. В. Виноградова, такая «формализация» приставки *С-*, превращение ее в видовой префикс возможна лишь у глаголов без ярко выраженного пространственного значения (ср. локальные значения предлога с).

СТ — *Словарь-справочник по русскому языку*. Под ред. А. Н. Тихонова. М., 1995.

ORD — *501 Russian Verbs*. Под ред. Thomas R., Beyer Jr. New York, 1992; *The Oxford Russian dictionary*. Под ред. M. Wheeler и др. New York, 1995.

ЛИТЕРАТУРА

Аванесов Р. И., Сидоров В. Н. 1945 — *Очерк грамматики русского литературного языка*. М.

Авилова Н. С. 1976 — *Вид глагола и семантика глагольного слова*. М.

Апресян Ю. Д. 1995 — Лексикографическая трактовка вида: нетривиальные случаи. *Труды аспектологического семинара филологического факультета МГУ*. Под ред. М. Ю. Чертковой. Т. II. М.

Бондарко А. В. 1975 — Глагольный вид в русском языке как морфологическая категория. *Вопросы русской аспектологии*. Воронеж.

Виноградов В. В. 1972 — *Русский язык. Грамматическое учение о слове*. М.

Волохина Г. А., Попова З. Д. 1997 — Категория глагольного вида в свете семантического устройства глагольных приставок. *Труды аспектологического семинара филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова*. Под ред. М. Ю. Чертковой. Т. III. М.

Исаченко А. В. 1960 — *Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким. Т. 2. Морфология*. Братислава.

Кароляк С. 1997 — *Вид глагольной семантемы и видовая деривация. Семантика и структура славянского вида*. Т. 2. Краков.

Карцевский С. И. 1962 — *Система русского глагола. Вопросы глагольного вида*. М.

Кронгауз М. А. 1997 — Исследование в области глагольной префиксации: современное положение дел и перспективы. *Глагольная префиксация в русском языке*. М.

Кронгауз М. А. 1997 — Префиксация как аспектологическая проблема. *Труды аспектологического семинара филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова*. Под ред. М. Ю. Чертковой. Т. III. М.

Кузнецов П. С. 1952 — *Современный русский язык. Морфология*. М.

Леман Ф. 1997 — Грамматическая деривация у вида и типы глагольных лексем. *Труды аспектологического семинара филологического*

- го факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Под ред. М. Ю. Чертовой. Т. III. М.
- Маслов Ю. С. 1958 — Роль так называемой перфективации и имперфективации в процессе возникновения славянского глагольного вида. *Исследования по славянскому языкознанию*. М.
- Тихонов А. Н. 1964 — Чистовидовые приставки в системе русского видового формообразования. *ВЯ*. № 1.
- Тихонов А. Н. 1968 — Чистовидовая приставка *С-* в современном русском языке. *Исследование по русскому и славянскому языкознанию*. Самарканд.
- Тихонов А. Н. 1998 — *Русский глагол*. М.
- Тихонов А. Н. 1998 — Видовые корреляции в современном русском языке. *Типология вида. Проблемы, поиски, решения*. Под ред. М. Ю. Чертовой. М.
- Чанг П.-Ч. 1999 — *Лексикографические проблемы представления видовой парности в современном русском языке*: дисс. на соискание учен. степ. канд. филологическ. наук. МГУ, М.
- Чертова М. Ю. 1996 — *Грамматическая категория вида в современном русском языке*. М.
- Чертова М. Ю., Чанг П. Ч. 1998 — Эволюция двувидовых глаголов в современном русском языке. *Russian Linguistics*. Volume 22, № 1, March.
- Чертова М. Ю. 1997 — Видовая пара в современном русском языке: к определению понятия. *Семантика и структура славянского вида*. Т. II, Краков.
- Шелякин М. А. 1978 — О причинах устойчивости двувидовых глаголов в современном русском языке. *Вопросы русской аспектологии*. Т. IV, Тарту.
- Шелякин М. А. 1983 — *Категория вида и способы действия русского глагола*. Таллинн.
- Flier M. S. 1975 — Remarks on Russian Verbal Prefixation. *Slavic and East European Journal*. Vol.19, № 2.
- Van Schooneveld C. H. 1958 — The so-called 'preverbe vides' and neutralization. *Dutch contributions to the forth International Congress of Slavistics*. The Hague.
- Vey M. 1952 — Les preverbes 'vides' en tcheque moderne. *Revue des etudes slaves*.
- Janda L. A. 1985 — The Meanings of Russian Verbal Prefixes: Semantics and Grammar. *The Scope of Slavic Aspect*. Ed. By Flier M. S., Timberlake A. Columbus, Ohio.

О «СВОБОДНОМ» ПОРЯДКЕ СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В. П. ЩАДНЕВА

Введение

Хотя словорасположение интересует философов, логиков, психологов и языковедов с давних времен, порядок слов в предложении относится к числу вопросов, о которых сравнительно мало пишут и в научной литературе, и в учебниках. В то же время эта проблема имеет как теоретическую, так и практическую значимость, поскольку словорасположение а) национально специфично и б) непосредственно связано с закономерностями текстообразования. Тем самым нарушения норм в области порядка слов сразу обнаруживают, что данный язык — неродной для говорящего.

Однако методически ориентированных лингвистических исследований порядка слов существует явно недостаточно. Это объясняется не только а) сложностью феномена, но и б) дискуссионностью вопроса о статусе порядка слов, а также в) необходимостью уточнения научно-понятийного аппарата, который используется при описании данной языковой сферы. В связи с этим мы сочли полезным остановиться на отдельных понятиях, которые в научной литературе получили неоднозначное освещение. Сказанное в первую очередь относится к термину «свободный порядок слов».

Следует обратить внимание на то, что определения понятий «свободный» / «несвободный» порядок слов мы нигде не найдем. Неудивительно поэтому, что неспециалисты воспринимают утверждение о свободном порядке слов в русском языке буквально: как признание того, что в области русского слово-

расположения царит бессистемность и чуть ли не анархия. В действительности же абсолютизация указанного тезиса неприемлема, особенно в школьной практике. Она провоцирует серьезные логико-синтаксические ошибки в письменной речи.

Миф о свободном порядке слов в русском языке активно поддерживается, прежде всего, художниками слова (особенно поэтами), а также теми филологами, для которых эталоном закрепленного словопорядка оказывается в первую очередь английский язык. Но такой подход следует признать поверхностным и даже спекулятивным, поскольку присвоение словорасположению статуса свободного или фиксированного требует исследования вопроса о том, способен ли порядок слов выполнять те или иные функции в языке, и если да, то какие. Излагая свое отношение к проблеме, мы будем опираться на тезис о полифункциональности словорасположения в русском языке (см. об этом подробнее: [Щаднева 2001: 165–169]).

Отмеченная полифункциональность неизбежно отражается на состоянии понятийно-терминологического аппарата, поэтому прежде всего следует уточнить содержание тех терминов, которые используются в данной сфере научного знания. Обсуждение темы «порядок слов» затрагивает, как известно, целый блок взаимосвязанных, но различающихся понятий: а) свободный (нефиксированный) / несвободный (фиксированный) порядок слов, б) прямой / не прямой (обратный или инверсированный) порядок слов, в) экспрессивный (стилистически маркированный) / неэкспрессивный (стилистически нейтральный) порядок слов. Существующую терминологию пока что нельзя признать четко дифференцированной, напротив, наблюдается неоправданное синонимическое употребление таких терминов, как нейтральный и прямой порядок слов, экспрессивный и инверсированный (не прямой) порядок слов. Между тем эти ряды, на наш взгляд, смешивать неправомерно уже в силу того, что они обладают разной значимостью: или формально-структурной, или стилистической. В данной статье мы попытаемся дать предварительный анализ приведенной выше системы бинарных оппозиций.

Актуальное членение, дискурс, прямой порядок слов

Трактовка порядка слов в русском языке как свободного возникла в ту пору, когда господствовал формальный подход к синтаксису. С позиций традиционного синтаксиса, не выходящего за рамки предложения, точнее, считавшего предложение высшей синтаксической единицей, порядок слов для русского языка — явление вторичное и как бы внешнее по отношению к синтаксической структуре. Такой подход имплицитно проявляется и в современной как учебной, так и научной литературе, несмотря на активную разработку коммуникативного (функционального) аспекта языка, ориентирующегося на связный текст. Как это ни парадоксально, но бурное развитие теории актуального членения (функциональной перспективы предложения) только закрепило лингвистический миф о свободном словорасположении в русском языке. Между тем, согласно этому же учению, коммуникативная значимость словопорядка проявляется в построении связного текста: реальное предложение в реальном контексте имеет достаточно определенный порядок размещения тематических и рематических элементов. Например, изменение словопорядка во втором предложении следующего отрывка привело бы к нарушению постулата связности:

Прохожих никого не было, люди работали в поле, и женщина-странница долго сидела одна. Потом из одного двора вышла девочка. Она увидела чужую женщину и приблизилась к ней.

(А. Платонов, «Уля»)

Иными словами, порядок слов в русском языке на уровне предложения воспринимается как нежесткий, нефиксированный потому, что местонахождение ремы внутри предложения может изменяться в зависимости от специфики дискурса. Значит, с текстовых позиций словорасположение произвольным считать нельзя. Сравните текстовый потенциал порядка слов в двух предложениях с одинаковым лексическим наполнением:

1. [Поезд отправляется] ^{тема} [в пять] ^{рема}. Так что у нас в запасе еще целый час!

2. Автобус уходит в три часа, мы на него не успеем. [Но в пять]^{тема} [отправляется поезд]^{рема}.

Как показывают лингвистические исследования последних десятилетий, привязка предложения-высказывания к коммуникативно-прагматическому контексту осуществляется с помощью самых разных языковых средств, нередко сопутствующих изменению словорасположения: частиц, экспрессивных лексем и словоформ, вводных конструкций, разного рода обособлений, однородных членов предложения, нулевого замещения в неполных вариантах предложений, а также с помощью интонационных средств — эмфатического ударения, паузирования. Однако в современном русском литературном языке важнейшим средством выражения актуального членения предложения, т.е. его деления на тему (исходный пункт сообщения) и рему (сообщаемое), можно признать именно порядок слов.

В современных научных публикациях, посвященных порядку слов, даются не совпадающие по наименованиям и по объему перечни его функций (ср., напр., [Золотова и др. 1998: 373] и [Гак 1998: 388]), но в разных качественно и количественно отличающихся друг от друга концепциях прежде всего учитывается коммуникативный аспект словорасположения. Коммуникативная функция порядка слов большинством исследователей признается ведущей в силу того, что, упорядочивая смысловую информацию в линейной цепи, порядок расположения членов предложения привязывает предложение к конкретной речевой ситуации, в которой осуществляется коммуникативный акт. Поэтому неудивительно, что основное внимание синтаксистов в последние десятилетия сосредоточено на закономерностях формирования в предложении его коммуникативной структуры. Последняя является свойством высказывания, т.е. предложения в дискурсе, в реальном тексте.

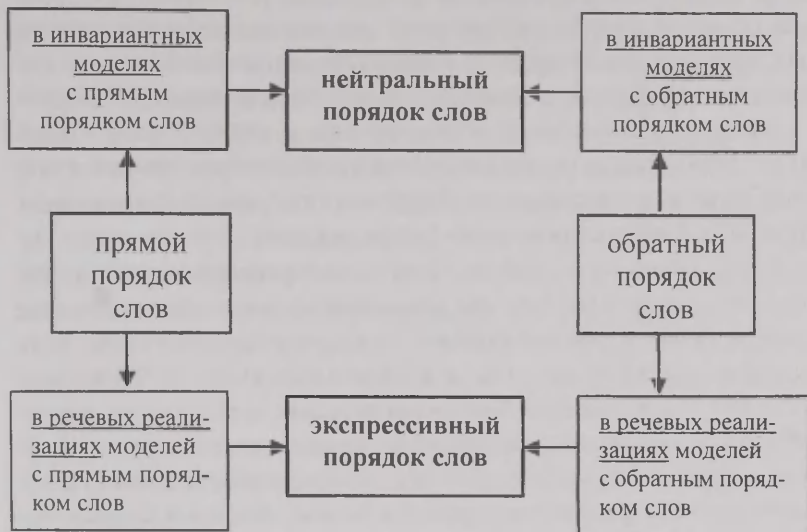
Хотя современная лингвистика исходит из того, что предложение в принципе редко выступает в изолированной позиции, то есть обособленно от конситуации, лингвистов всегда будут интересовать и базовые инвариантные синтаксические структуры, независимые от условий употребления: такие

«идеальные» предложения с нейтральным порядком слов формируют своего рода системно-нейтральную синтактико-стилистическую основу. И только на этом нейтральном фоне возможна полная и объективная оценка дискурсивно обусловленных вариантов, выполняющих разные функции.

Отличие словопорядка от других перечисленных выше языковых средств, привязывающих предложения-высказывания к коммуникативно-прагматическому контексту, заключается в том, что изменение расположения словоформ как бы «ломает» поверхностную линейную структуру, которую носители языка интуитивно воспринимают в качестве нейтральной, инвариантной. Иными словами, в реальных текстах в результате изменения базового расположения слов формально-грамматическая и коммуникативная структуры предложения по большей части не совпадают.

Нейтральным (базовым) для русского простого повествовательного предложения является расположение основных членов предложения по ведущей формуле: **Подлежащее + Сказуемое + Дополнение**, что соответствует предложенной Дж. Гринбергом краткой записи SVO (т.е. субъект + глагол + объект) [Гринберг 1970]. Такой порядок слов принято называть прямым¹. На наш взгляд, прямой порядок слов точнее было бы определять как соответствие а) нейтральному инвариантному словорасположению в той или иной структурно-семантической модели предложения и б) типичному расположению компонентов сочетания слов (и знаменательных, и служебных). Соответственно, обратным порядком слов следует называть любое отступление от наиболее регулярного расположения слов относительно друг друга. Соотношение бинарных оппозиций «прямой — обратный» и «нейтральный — экспрессивный» предварительно можно представить в схеме:

¹ Приведенная выше формула базового нейтрального порядка слов относится не ко всем моделям повествовательных предложений (см. Золотова и др. 1998), напр., *Наступил декабрь; Приближается Рождество*, поэтому составление исчерпывающего списка таких моделей, которые в качестве базовых нейтральных имеют формулы с обратным порядком слов, можно считать актуальным.



Необходимо иметь в виду, что фразовое ударение в литературной русской речи падает на конец фразы, т.е. позиция конца изначально является коммуникативно более значимой, чем другие позиции в предложении. Поэтому член предложения, занимающий конечную позицию, оказывается естественным образом актуализированным: *Отец привез подарки детям / Отец привез детям подарки.*

Инверсированный порядок слов способен порождать эмфазу — смысловое (логическое) ударение, подчеркивающее наиболее актуальную часть содержания высказывания и являющееся довольно эффективным средством выделения той или иной части фразы в качестве наиболее важной. При этом инверсия делает текст экспрессивным и нарушает нейтральность стиля: нейтральный стиль требует господства прямого порядка слов.

Именно ему и отдается предпочтение в текстах официально-делового и научного стиля, в которых все подчинено задачам наиболее точной и эффективной передачи информации. Поэтому подавляющее большинство фраз здесь включает тему, предшествующую реме, что в итоге обеспечивает цепную

связь между предложениями. Такое распределение информации обусловлено общей логикой изложения научных и деловых текстов: движением от известного к неизвестному, от постановки проблемы к выводу. В результате можно говорить о функционально-стилевых ограничениях порядка слов. Именно на фоне этих ограничений-тенденций особую значимость и приобретает стилистическая допустимость / недопустимость т.н. обратного (инверсированного) порядка слов.

Итак, признаком нейтрального, экспрессивно неокрашенного стиля для простых предложений является расположение темы и ремы в соответствии с прямым порядком слов. Есть основания утверждать, что и в отдельных типах нейтральных сложных предложений тема-рематическая информация располагается в определенном порядке (правда, этот вопрос нуждается в особом изучении): условие, причина обычно выступают как тема, а следствие оказывается ремой: *Если ты будешь соблюдать диету, то похудеешь. Она соблюдала диету, поэтому и похудела.*

Функции порядка слов

1. Материалы, введенные в научный оборот исследователями актуального членения, показывают, что формирование коммуникативно актуализированной информации осуществляется через предложения-высказывания, т.е., как уже говорилось, только в рамках реального текста того или иного функционального стиля, и тем самым неизбежно сопровождается функцией связи синтаксических структур. Поэтому в сфере порядка слов обозначенная нами **коммуникативная функция** (как общая) проявляется в двух частных: **1) актуализирующей** (выделяющей коммуникативно значимый в конкретном дискурсе компонент предложения) и одновременно **2) актуализирующе-связующей** (организующей предложения в текстовые фрагменты).

Но повышенный интерес к коммуникативной значимости порядка слов создает одностороннее представление о русском языке, поскольку остальные функции расположения слово-

форм, естественно, отходят на второй план, а нередко они и вовсе не упоминаются. На этом фоне особый интерес представляет, на наш взгляд, концепция И. И. Ковтуновой [Ковтунова 1976; см. также написанные ею параграфы в «Русской грамматике» 1980 года]. В данной концепции учитывается тот факт, что порядок слов может становиться носителем не только коммуникативной, но и стилистической, а также формально-грамматической информации. И хотя в указанных изданиях эти аспекты представлены менее детально, чем коммуникативный, обобщение результатов разных исследований с опорой на указанный подход позволяет говорить о достаточно сложной системе значимых функций словопорядка в русском языке.

С точки зрения коммуникативной организации реального, а не потенциального предложения свобода словорасположения ограничена, как уже говорилось, контекстуальными (дискурсивными) условиями: порядок слов в конкретных предикативных единицах определяется особенностями связи как словоформ внутри предложения, так и предикативных единиц между собой. Ярким свидетельством этого являются примеры ошибочной организации конструкций с сочинительными (однородными) отношениями. Игнорирование закономерностей построения однородного ряда (обязательный формальный и содержательный параллелизм компонентов этого ряда) проявляется и в порядке слов: постановка в рематизированную позицию случайного слова приводит к сбою в коммуникации (примеры взяты из пособия Б. С. Мучника «Культура письменной речи» [1996]):

В период раздробленности возникают диалектные различия, а в период централизации — сглаживаются (здесь и в следующем примере подчеркнуты те компоненты, которые должны занимать однотипную позицию).

У Пушкина половина хореических строк начинается с ударного слога, а у Есенина — 25%.

2. Формально-грамматическая функция заключается в том, что порядок слов служит для выражения определенных семан-

тико-грамматических отношений а) между членами предложения и б) между частями речи — компонентами словосочетаний.

Семантико-грамматические правила, формализующие синтаксические отношения, исследователю-носителю языка порой кажутся очевидными и не заслуживающими особого внимания, тем более что в отношении русского языка говорить о ярко проявляющейся грамматикализации в области порядка слов, конечно же, не приходится. Но полностью отрицать ее проявление нельзя. Обычно названный аспект в теоретических работах по русскому языку специально не обсуждается, хотя детальная разработка этой проблематики была бы полезной не только для языковой теории, но и для практики преподавания русского языка. Сведения об элементах грамматикализации как бы «рассыпаны» по грамматическим исследованиям, обсуждающим разные морфологические и синтаксические вопросы. Хотелось бы привести некоторые свидетельства таких ограничений в сфере словорасположения, которые связаны с этим явлением.

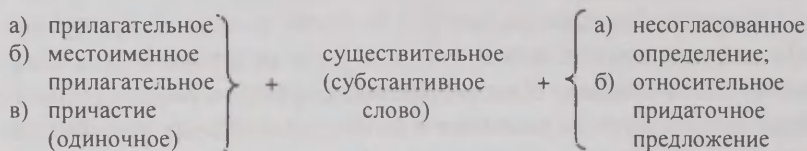
Прежде всего напомним, что в синтаксисе предложения кроме свободных (базовых) моделей выделяют и целый ряд так называемых фразеологизированных структур. С обычными фразеологическими единицами модели типа КУДА (ГДЕ) + Сущ./Мест.^{дат. пад.} + Инф. и т.п. объединяет только общая идея стандартизованности. На самом же деле это качественно иные — коммуникативные — единицы, в которых проявляется синтаксическая грамматикализация самой модели. В условиях конкретного дискурса отдельные инвариантные модели могут быть реализованы и в речевых вариантах с нулевым замещением [Щаднева 2001а: 90–94]. Но при этом в большей части подобных моделей имеется представленный лексемой-частицей облигаторный компонент, не допускающий элиминации. Последнее отличает эти служебные лексемы от других составляющих синтаксической единицы. Однако существенно и то, что подобные предложения — в случае полной вербализации всех структурных звеньев — характеризуются закрепленностью позиции не только служебных слов, но и жестким

порядком следования других обязательных словоформ, входящих в структурную схему: *Куда ей плясать! Где же мне угадать, какая у вас новость!* Фиксированный порядок слов характерен и для других фразеологизированных моделей: *Работать так работать. Чем не жених!*

Порядок слов служит также для различения синтаксических функций прилагательных, причастий, местоимений «в словосочетании — в качестве определения, в предложении — в качестве предиката» [Золотова и др. 1998: 375]: *талантливые стихи* и *Стихи — талантливые*. Кроме того, расположение компонентов дифференцирует модели предложений как одинакового, так и разного структурно-семантического состава [там же: 374], ср. синтаксические единицы: *Хозяйка стирает* и *Наступила зима*.

Обычно обсуждается вопрос о порядке слов в предложении, однако обязательный порядок слов реализуется и в рамках словосочетания. Уже на уровне словосочетания проявляются существенные различия в синтаксисе разных языков, например, русского и эстонского. Хотя для обоих названных языков (в отличие от английского) в целом не характерен жестко фиксированный порядок основных членов предложения, свобода расположения отдельных компонентов последнего может быть ограничена грамматической и смысловой связью между словоформами [Štšadneva & Vellearu 2002]. Наиболее четко это показывают субстантивные словосочетания с атрибутивными отношениями (генитивные словосочетания с зависимым родительным падежом): в рамках таких единиц проявляются существенные различия в синтаксисе порядка слов сопоставляемых языков. Русский и эстонский языки в названных сочетаниях отличаются направлением линейной зависимости: если в русском языке каждый новый компонент генитивного словосочетания присоединяется к стержневому слову справа, то в эстонском, по общему правилу, — слева от главного слова: *позиция автора повести — jutustuse autori positsioon; анализ содержания текста — teksti sisu analüüs; содержание анализа текста — teksti analüüsi sisu*. Однако при наличии согласованных распространителей подобный «зеркальный»

перевод с одного языка на другой возможен уже далеко не всегда. Анализ сопоставительного материала показывает, что в русских генитивных словосочетаниях наблюдается очень жесткая цепная последовательность с препозицией согласованных словоформ (см. подробнее [там же]). Иными словами, если в русском литературном языке согласованное определение, выраженное прилагательным, местоименным прилагательным или одиночным причастием, располагается перед определяемым субстантивом, то несогласованное определение, выраженное генитивом существительного, обязано следовать непосредственно за определяемым существительным (в отличие от эстонского языка), как и русское определение, представленное присубстантивным (относительным) придаточным предложением:



Хотя остальные компоненты русского предложения располагаются в рамках высказывания более свободно, но и здесь имеются известные ограничения словопорядка. Например, как прагматически ориентированную можно рассматривать тенденцию располагать зависимое слово или вплотную к главному, или как можно ближе к нему. Это способствует быстрой и однозначности понимания информации, поскольку соотносится с объемом оперативной памяти человека.

3. На функцию с условным названием «**семантико-смысловая**» внимание обращают редко. Уточним, что речь идет не о грамматикализованной частеречной семантике, а об экстралингвистически обусловленной, связывающей высказывание с объективной действительностью. Выполняя эту функцию, порядок слов прежде всего **отображает реальную последовательность** событий и объектов [Гак 1998: 388]. Например, в ответе на вопрос *С чего мы сегодня начнем работу?* — мы, как правило, учитываем естественный ход событий: *Сначала вскопаем землю в парнике, а потом посадим огуречную расса-*

ду. С формальной точки зрения естественный ход событий отражается прежде всего в сочинительных структурах, т.е. при наличии равноправных отношений между единицами. При этом перестановка компонентов, объединяемых сочинительной связью, в письменной речи может быть просто невозможна. В частности, так обстоит дело и в предыдущей иллюстрации, и в предложении *В автобус вошел контролер, показал пассажирам рабочее удостоверение и стал проверять билеты.*

Кроме того, благодаря выбору соответствующего словорасположения, может быть устранена двусмысленность, возникающая а) при омоформии (**Кислород выделяет перекись водорода*) и б) в том случае, когда словоформа (или слово) обладает способностью соединяться — по грамматическим или семантическим причинам — не с одной, а с двумя словоформами (**Сегодня в продаже пальто для девочек семи фасонов*).

Данная функция словорасположения, как уже сказано, не грамматикализована. Она проявляет себя в случае одноформенности членов предложения. Отмеченные смысловые различия денотативного характера выражаются порядком слов в языках любого грамматического строя. Для русского языка как флективного данное явление не очень характерно.

4. Порядок слов в русском языке традиционно используется и как стилистически маркированное средство. Обобщение языковых фактов со стилистической значимостью словорасположения позволяет условно дифференцировать различные случаи маркированности на две группы: **функционально-стилевые** и **эмоционально-экспрессивные**.

Во-первых, типизированный словопорядок по сути дела является приметой функционального стиля, его стилиеобразующей чертой: практически тотальный прямой порядок слов в официально-деловых документах обеспечивает цепную связь между синтаксическими единицами и тем самым способствует реализации нацеленной на адресата логичности и последовательности изложения. В данной сфере прямой порядок слов облегчает восприятие сложной интеллектуальной информации. Сходное явление наблюдается и в научном стиле, однако допустимость обратного порядка слов создает в научных тек-

стах уже несколько иную количественную характеристику словоупорядка. Своей спецификой в данной сфере обладает и газетно-публицистический стиль (особенно отдельные его жанры, ориентированные на оценочность), поскольку информативная и воздействующая функции здесь в целом уравновешены. При этом экспрессивность реализуется не только через вербализованные стилистически маркированные средства, но и посредством инверсии. Что же касается разговорно-обиходного стиля, то в первую очередь именно его характеризует такой порядок слов, который принято именовать «свободным» и который объясняется не только спонтанностью устной обиходной речи, но и нашей речевой небрежностью.

Во-вторых, о наличии у словорасположения стилистической функции свидетельствует и употребление в филологии таких понятий, как фольклорный, а также поэтический порядок слов. Анализируя, в частности, словорасположение в стихотворной речи, И. И. Ковтунова отмечает, что оно определяется ритмической организацией речи: реализация повторяющейся метрической схемы имеет своим следствием большую подвижность и своего рода узаконенную вариативность в расстановке слов [Ковтунова 1976: 195–235], например, в расположении дополнений, согласованных и несогласованных определений:

*Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.
Это век волну колышет
Человеческой тоской,
И в траве гадюка дышит
Мерой века золотой.*

(О. Мандельштам, «Век»)

Типичные для поэтической речи варианты размещения слов — в силу и своей обычности, и своей неизбежности — не обладают, по мнению И. И. Ковтуновой [там же], тем экспрессивным потенциалом, который свойствен актуализированным вариантам предложений прозаической речи. Следовательно, при

переносе свойственного поэзии словопорядка на прозаические тексты наблюдается и экспрессивная маркированность:

По взгорью, что далеко простерто над рекою Потудань, уже вторые сутки шел ко двору, в малоизвестный уездный город, бывший красноармеец Никита Фирсов.

(А. Платонов, «Река Потудань»)

Тем самым есть основания говорить и об эмоционально-экспрессивной функции словорасположения. Последняя связана также с эмфатическим выделением коммуникативного центра в составе рематической группы предложения-высказывания (*Друга это машина, не моя. Удивительные происходят события! Новость-то какая! Прочитать это за ночь я могу, но не хочу*).

И наконец, стилистическая функция проявляется в имитации «порядка слов прежних эпох развития языка» [Гак 1998: 388], то есть в художественной стилизации.

Заключение

Способность словорасположения выполнять разные взаимодействующие между собой функции существенно усложняет и сам порядок слов в русском языке, и его научное описание. Поэтому недифференцированность и нечеткость существующей в данной области терминологии вполне объяснима.

Очевидно, что мнение о свободном расположении слов поддерживается практикой устной речи, а также сопоставлением с типологически иными языками. Указанный тезис базируется на различиях в степени регламентированности данной сферы. Если при так называемом свободном словорасположении имеется в виду нефиксированность, а точнее — подвижность порядка слов, то при так называемом несвободном словорасположении — его фиксированность. Благодаря последней практически исключается необходимость использования таких грамматических средств, как флексии, обозначающие грамматические связи между компонентами предложения и передающие необходимые аспекты значения.

Фиксированный порядок основных членов предложения характерен, как известно, для французского, английского и немецкого языков, на фоне которых русский действительно воспринимается как язык с нежестким расположением словоформ. Эта нежесткость в значительной степени объясняется преимущественно флективным характером русской грамматики, что, по-видимому, и способствовало развитию полифункциональности порядка слов, выработке своеобразной достаточно гибкой системы словорасположения со своими нормами и предпочтениями.

Достаточно жесткая стандартизованность в области порядка слов свидетельствует о системно закрепленной грамматикализации словорасположения, которая становится крайне значимой формальной приметой языка. В то же время это не означает, что в подобных языках выбор порядка слов осуществляется абсолютно механически: В. Г. Адмони, например, поддерживал мнение о наличии значительных маневренных возможностей в области словорасположения даже у английского языка [Адмони 1964: 29].

Напомним, что в акцентологии дифференцированно рассматриваются такие свойства ударения, как свобода и подвижность, см., например, [Матусевич 1976: 226–227]. Свободное ударение заключается в том, что ударными в разных словах могут быть различные слоги, благодаря чему выполняется дистинктивная функция на уровне слов: *замо́к* — *замо́к*, *мука́* — *мука́* и под. Таким образом, вследствие свободы ударение способно различать денотативные смыслы. Подвижность — свойство ударения менять место в разных формах одного слова, в пределах парадигмы: *о́кна* — *о́кна*, *во́ды* — *во́ды*. Подвижность позволяет ударению различать члены одной парадигмы.

Как показано выше, в русском языке использование порядка слов в семантико-смысловой функции, для описания денотативных ситуаций нехарактерно, не грамматикализовано и не обладает национальной спецификой. Основные функции русского словорасположения — коммуникативная, грамматиче-

ская и стилистическая — осуществляются в рамках парадигм, соответственно актуализирующих, грамматических и стилистических. Поэтому, может быть, русский порядок слов лучше называть не свободным, а подвижным.

Это не меняет радикальным образом существующих представлений о порядке слов в русском языке. Но определение «подвижный» лучше соответствует функциональным характеристикам русского словорасположения. Что касается других языков, следует учитывать релятивный (относительный) характер стандартов и регламентированности в данной сфере. Поэтому и в типологическом аспекте корректнее было бы говорить о преимущественно фиксированном (т.е. относительно неподвижном) и преимущественно подвижном (иными словами, относительно свободном, нефиксированном) порядке слов.

ЛИТЕРАТУРА

- Гак В. Г. 1998 — Порядок слов. *Большой энциклопедический словарь*. М.
- Гринберг Дж. 1970 — Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов. *Новое в лингвистике*. Вып. V. М.
- Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. 1998 — *Коммуникативная грамматика русского языка*. М.
- Ковтунова И. И. 1976 — *Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения*. М.
- Матусевич М. И. 1976 — *Современный русский язык. Фонетика*. М.
- Мучник Б. С. 1996 — *Культура письменной речи*. М.
- Русская грамматика 1980 — Ч. 2. М.
- Щаднева В. П. 2001 — К вопросу о функциях порядка слов в русском языке. *Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Новая серия*. V. Тарту, 165–175.
- Щаднева В. П. 2001a — О специфике синтаксических фразеологизмов с начальной частицей *куда*. *Valoda–2001. Humanitārās fakultātes XI. zinātniskie lasījumi*. Даугавпилс, 90–94.
- Štšadneva V., Vellearu V. 2002 — Nimisõnafaaside sõnajärjest vene ja eesti keeles. *Emakeel ja teised keeled III*. Tartu, 221–230.

ОБ АНАЛИТИЧНОСТИ В ЯЗЫКЕ (на материале сопоставления русского и эстонского глагола)

П. ЭСЛОН

Предметом обсуждения являются пары синтетический/аналитический глагол эстонского языка, которым в русском языке соответствуют в основном парновидовые, реже — одновидовые глаголы несовершенного вида (НСВ) и совсем редко — одновидовые глаголы совершенного вида (СВ), напр.: *mõjuta/mõju avaldama* — *влиять/новлиять*, *tagastama/tagasi andma* — *возвращать/возвратить*, *väitlema/vastu väitma* — *возражать/возразить*, *paranema/terveks saama* — *выздоровливать/выздороветь*, *lõpetama/lõpule viima* — *завершать/завершить*, *teatama/teatavaks tegema* — *сообщать/сообщить* и др. Синтетический глагол, как правило, описывает ситуацию длительности, процессности, неисчерпанности, постоянности действия или нахождения в состоянии, а аналитический глагол указывает на фазисную ситуацию начала или завершения действия, возникновения нового состояния или перехода в новое состояние, в новую фазу в развитии действия, на исчерпанность или результативность действия. В связи с этим можно отметить, что пары синтетический/аналитический глагол являются в эстонском языке близкими грамматическому противопоставлению видовых форм НСВ и СВ в русском языке.

Материал анализа был извлечен из составляемого нами *Русско-эстонского словаря сочетаемости глаголов*¹. Сопо-

¹ Принципы составления словаря и отбора лексики описаны в [Эслон 2001: 176–195].

ставление на базе русского языка исследовательски выгодно в том отношении, что в русском языке грамматическая категория вида отличается особой устойчивостью (о чем свидетельствует возможность вторичной имперфективации, наличие противопоставленных по виду пар), в то время как в эстонском языке отсутствует как сама грамматическая категория вида, так и видовые пары. Мы можем говорить лишь о субститутах этой категории в эстонском языке, см. [Эслон, Пихлак 1993]. Именно поэтому сопоставление с русским языком помогает обнаружить те возможности, которыми располагает эстонский язык. При имманентном изучении многое остается вне поля зрения исследователя, и порою именно этим объясняются случаи неадекватного описания языка, а также большое количество исключений из правил. В частности, на базе имманентного описания эстонского языка трудно говорить о наличии в нем семантически тождественных пар синтетический/аналитический глагол, противопоставленных аспектуально. Вместе с тем, по данным *Русско-эстонского словаря сочетаемости глаголов*, из 999 глаголов русского языка 41 (4%) имеет в качестве соответствия на эстонском языке аспектуальную пару синтетический/аналитический глагол, в основном соотносящуюся с парновидовыми глаголами русского языка; семь глаголов относится к группе *imperfectiva tantum* (*тревожиться, скучать, значить, завидовать, греть, болеть¹, вредить*), а один — к *perfectiva tantum* (*соскучиться*).

Глагольному слово- и формообразованию эстонского языка аналитизм не чужд — его строю это типологически присуще. Однако далеко не все аналитические глаголы способны сочетаться с семантически тождественными им синтетическими и образовывать пары, члены которых противопоставляются лишь по аспектуальному компоненту значения.

По способу образования аналитических глаголов в эстонском языке преобладает модель *inf* + **падежные формы существительного** (в нашем случае — 2/3 из 41 глагола), напр.: *nalja tegema* (партитив от *nali* ‘шутка’) — *пошутить* (СВ), *arvesse võtma* (иллатив от *arve* ‘счет’) — *учесть* (СВ), *nõus olema* (инессив от *nõu* ‘совет’) — *согласиться* (СВ) и др. Значи-

тельно реже встречались **сочетания инфинитива с формой падежа прилагательного** (в нашем материале — 8 примеров), напр.: *terveks saama* (от *terve* ‘здоровый’) — *выздороветь* (СВ), *vihaseks saama* (от *vihane* ‘сердитый’) — *рассердиться* (СВ), *vabaks laskma* (от *vaba* ‘свободный’) — *освободить* (СВ) и др. Более редкими в нашей выборке оказались **инфинитивные сочетания** типа *kuulda saama* — *услышать* (СВ), *teada andma* — *известить* (СВ), а также **сочетания инфинитива с причастиями** типа *väsinud olema* — *устать* (СВ), *vaimustatud, kütkestatud, võlutud olema* — *восхититься* (СВ) и с **аффиксальными наречиями** типа *tagasi andma* — *возвратить* (СВ), *vastu väitma* — *возразить* (СВ).

По степени спаянности компонентов описываемые аналитические глаголы, парные синтетическим в аспектуальном значении, являются словосочетаниями относительно свободными, в которых инфинитив достаточно легко сочетается со словами разных лексико-семантических групп. При этом, однако, в семантике аналитического глагола наблюдаются сдвиги, может нарушиться также их способность образовывать новые аспектуальные пары синтетический/аналитический глагол. Напр., в случаях *lõpetama/lõpule viima* — *завершать/завершить* и *juurutama/sisse viima* — *вводит/ввести* изменение касается семантики, но не способности образовать аспектуальную пару, в то время как в случаях типа *alla viima* — *отнести вниз*, *üles viima* — *отнести наверх* наравне со сдвигом в семантике нарушается также способность аналитического глагола образовывать пару с семантически тождественным ему синтетическим глаголом, отличающимся аспектуально. Подобные аналитические глаголы показывают, как происходит действие. Содержание их аспектуальных ситуаций раскрывается при помощи истолкования или приведения диагностирующего контекста. Следовательно, между компонентами аналитических глаголов нет обязательной обусловленности, что свидетельствует о слабой степени их грамматикализованности. Компоненты словосочетания сохраняют связь со своим первичным лексическим значением, каждый из них имеет собственную словоизменительную парадигму (за исключением,

конечно, неизменяемых слов), каждый из них способен участвовать в процессе образования новых слов. Так, по данным *Ортологического словаря эстонского языка* (Таллинн, 1999), компоненты аналитического глагола *muret tundma* (болеть¹) имеют свою полную словоизменительную парадигму: существительное *mure* — согласно 8-му, а глагол *tundma* — согласно 63-му словоизменительному типу. Суффиксальным способом можно от существительного образовать глагол — *muretsema*, от которого, в свою очередь, произведено отглагольное абстрактное существительное — *muretsemine*. Аналогичное образование возможно также от глагола *tundma* — *tundmine*.

В академическом изложении, см. [ЕКГ I 1995; ЕКГ II 1993; ЕКК 2000], анализируемые аналитические глаголы эстонского языка определяются в целом как перифрастические, представляющие собой единое смысловое и синтаксическое целое личной формы глагола с инфинитивом, формой имени или аффиксальным наречием. Семантическим ядром может быть или глагол, или имя. Если ядерным компонентом является имя, то перед нами слова идиоматического характера (ср. *tähele panema* — заметить, *korrale kutsuma* — призвать к порядку, *araks lööma* — оробеть), если же ядерным компонентом является глагол, то может быть как группа идиоматических (ср. *peale käima* — настаивать, *taha võtma* — снимать/снять), так и группа свободных словосочетаний, которая, в свою очередь, состоит из глаголов определенной семантики и определенно-возможного лишь при них набора аффиксальных наречий (напр., с глаголами движения типа *minema*, *jooksma*, *astuma*, *kihutama*, *sõitma* сочетаются аффиксальные наречия *alla*, *eemale*, *juurde*, *kohale*, *ligi*, *pärale*, *tagasi*).

Исследователь А. Пихлак, рассматривающий перифрастические глаголы эстонского языка в сопоставлении с русским языком, называет их «лексико-аналитическими структурами», способными выражать значения некоторых способов действия [Pihlak 1985б: 92–93], а также «аналитическими аспектуальными конструкциями» [Pihlak 1985б: 64].

А. Пихлак предлагает разделить их на две большие группы. С одной стороны, им выделяются фразальные (составные) гла-

голы — сочетания полнозначного глагола и наречия в связанном значении, в которых наречие «усложняет» глагол (типа *arstis* → *arstis terveks* — *лечил* → *вылечил*). С другой стороны, выделяются перифрастические глаголы — сочетания полнозначного имени или инфинитива с глаголом в связанном значении, когда глагол выражает динамические признаки имени или инфинитива (типа *põles* → *läks põlema* — *горел* → *загорелся*) [Pihlak 1985b: 92]. Термин «фразальный (составной) глагол» А. Пихлак связывает с глаголами, ядерным компонентом которых является глагол, и «перифрастический глагол» — с глаголами, ядерным компонентом которых является имя [Пихлак 1985а]. Поскольку фразальные и перифрастические глаголы эстонского языка «фиксируют в своем значении один и тот же референт в каком-то ином ракурсе», то их целесообразно «включить в глагольную парадигму наряду с синтетическими формами» [Пихлак 1985а: 138–139] и это должно быть учтено «при разработке принципов лексикографического представления глагольного значения в <...> эстонско-русских словарях» [Пихлак 1985а: 141]. По мнению А. Пихлака, фразальные и перифрастические глаголы, выражающие аспектуальные значения, не являются фразеологизмами и функционируют в качестве предикативного ядра предложения [Pihlak 1985b: 64].

По сути дела, А. Пихлак тоже считает, что в известных условиях пары синтетический/аналитический глагол в эстонском языке могут быть признаны формами одного слова, отличающимися по аспектуальному компоненту значения. Встает вопрос, о каких условиях может быть речь? Что представляет собой семантически тождественная пара синтетический/аналитический глагол?

Чтобы ответить на поставленный вопрос, обратимся к анализу материала двуязычного *Русско-эстонского словаря сочетаемости глаголов*.

Если рассматривать, как вообще на эстонский язык переводятся **парновидовые глаголы русского языка, образованные с помощью суффиксации**, то наблюдается тенденция переводить их одним из следующих способов: 1) различными синтетическими глаголами, семантически расходящимися или

близкими; 2) с помощью аналитических глаголов; 3) смешением синтетических и аналитических глаголов, которые не образуют пар, противопоставленных по аспектуальному значению; 4) аспектуальными парами синтетический/аналитический глагол. Напр.:

1) Различные синтетические глаголы

**ДОБЫВАТЬ (НСВ) —
ДОБЫТЬ (СВ)**

**HANKIMA, MURETSEMA;
KAEVANDAMA; TOOTMA**

1. что

д. книги

д. сведения

д. средства на жизнь

д. билеты

д. железную руду

д. сланец

д. нефть

1. *mida*

gaamatuid hankima

andmeid hankima

elatist hankima

pileteid hankima, muretsema

rauamaaki kaevandama

põlevkivi kaevandama

naftat tootma

2. в чем

д. в шахте

д. в горах

2. *milles*

kaevanduses kaevandama

mägedes kaevandama

Подобного рода примеры показывают, что выбор разных по значению синтетических глаголов мотивируется особенностями семантической сочетаемости в эстонском языке. Так, книги, сведения, средства к существованию сочетаются с глаголом *hankima* 'доставать/достать', однако руда и сланец — с глаголом *kaevandama* 'добывать' и нефть — *tootma* 'производить'.

Если русской суффиксальной видовой паре соответствует в эстонском языке только один синтетический глагол (см. ниже глагол *доказывать/доказать*), то внешне семантическая сочетаемость слов в русском и эстонском языках не расходится. Различие выражается в интерпретации осуществления действия, что может сопровождаться расхождениями в грамматической сочетаемости слов. Так, в русском языке доказывать/доказать можно *чем* и можно *на чем*. В эстонском языке употребляется из них один вариант — *чем*. В качестве соответст-

вий возможны также истолкования типа *faktide najal tõestama* (доказывать, опираясь на факты), однако вместо этого предпочитают употреблять другой глагол — *tuginema millele* (опираться на что). Таким образом, за расхождениями в грамматической сочетаемости стоят, как правило, ограничения в семантической сочетаемости.

ДОКАЗЫВАТЬ (НСВ) — ТÕESTAMA
ДОКАЗАТЬ (СВ)

1. что

д. необходимость
 д. невиновность
 д. правильность
 д. теорему

1. *mida*

vajalikkust tõestama
süütust tõestama
õigsust tõestama
teoreemi tõestama

2. кому-чему

д. студентам
 д. коллегам

2. *kellele-millele*

üliõpilastele tõestama
kolleegidele tõestama

3. чем

д. фактами
 д. делом
 д. опытом

3. *millega*

faktidega tõestama
tegudega tõestama
kogemustega tõestama

4. на чем

д. на деле
 д. на фактах
 д. на практике

tegudega tõestama
faktidega tõestama
praktikaga tõestama

2) Аналитические глаголы

ДОГОВАРИВАТЬСЯ (НСВ) -- КOKKU LEPPIMA
ДОГОВОРИТЬСЯ (СВ)

1. с кем

д. с другом
 д. с директором
 д. с руководством

1. *kellega*

sõbraga kokku leppima
direktoriga kokku leppima
juhtkonnaga kokku leppima

2. о чем

д. о цене
 д. о времени

2.1. *milles*

hinnas kokku leppima
ajas kokku leppima

д. о консультации	2.2. <i>mille suhtes</i> konsultatsiooni suhtes kokku leppima
д. о встрече	kohtumise suhtes kokku leppima
д. об обмене	vahetuse suhtes kokku leppima
д. о сроках	tähtaegade suhtes kokku leppima
	2.3. <i>mille asjus</i> sõidu asjus kokku leppima

Аналитический глагол, как соответствие русской видовой паре суффиксального образования, характеризуется тем, что не образует аспектуальной пары с соответствующим ему однокоренным синтетическим глаголом, а является самостоятельной лексической единицей. Так, описанный выше в словарной статье эстонский аналитический глагол *kokku leppima* ‘договариваться/договориться’ имеет однокоренное соответствие *leppima*, которое, однако, означает ‘мириться/смириться’. Следовательно, перед нами два разных самостоятельных глагола, отличающихся референциально. Кроме того, значение синтетического глагола *leppima* шире и абстрактнее значения аналитического глагола *kokku leppima*. В приведенном примере наблюдается также расхождение в грамматической сочетаемости, что вызвано различиями в семантической сочетаемости слов.

3) Синтетические и аналитические глаголы, не образующие пар по аспектуальному значению

**ЗАВЕРТЫВАТЬ (НСВ) —
ЗАВЕРНУТЬ (СВ)**

**(SISSE) PAKKIMA, MÄHKIMA;
(SISSE) PÕÖRAMA, ASTUMA;
KINNI, SISSE KEERAMA**

1. кого-что
3. больного
3. ребенка
3. колбасу
3. бутерброды
3. покупки
3. кран
3. гайку
3. газ

1. *keda-mida*
haiget (sisse) mähkima
- last (sisse) mähkima
- vorsti pakkima
- võileibu pakkima
- oste pakkima
- kraani kinni keerama
- mutrit kinni keerama
- gaasi (kraani) kinni keerama

2. во что	2. <i>millesse</i>
3. в газету	ajalehte mähkima
3. в одеяло	tekki mähkima
3. в платок	rätikusse mähkima
3. в бумагу	paberisse pakkima
3. в салфетку	salvrätikusse pakkima
3. в переулок	kõrvaltänavasse pöörama
3. в деревню	külla sisse keerama
3. в закуснуюю	einelauda sisse astuma
3. за что (обычно СВ)	3. <i>mille taha</i>
3. за угол	nurga taha keerama
4. к кому-к чему (обычно СВ)	4. <i>kelle-mille juurde</i>
3. к дому	maja juurde keerama
3. к приятелю	sõbra juurde sisse keerama

Выбор аналитического или синтетического глагола мотивирован скорее всего референциально; знание о соотносительности описываемого действия с действительностью содержится в языковом сознании носителя языка. В целях перевода или обучения эстонскому языку необходимо привести диагностирующие контексты. Например: *Ema mähkis lapse* (генитив) *teki sisse* — Мама завернула (СВ) ребенка в одеяло, но *Ema mähkis last* (партитив) — Мама пеленала ребенка и *Ema mähkis last* (партитив) *tekki (teki sisse)* — Мама завертывала (НСВ) ребенка в одеяло. При партитивном объекте и отсутствии указания на то, во что объект завертывается, в эстонском языке выбирается только синтетический глагол *mähkima* (пеленать). Следовательно, *mähkima* и *sisse mähkima* — разные глаголы с разной референцией, более конкретной у аналитического глагола.

Кроме того, данный пример показателен и в другом отношении: в зависимости от референциальной соотносительности объекта семантическая сочетаемость слов в эстонском языке варьируется — больного и ребенка заворачивают во что; колбаса, бутерброды, покупки упаковываются во что-то; а кран, гайку и газ «закрывают» и т.д.

4) Аспектуальная пара синтетический/аналитический глагол

Из анализируемых 42 глаголов 24 являются переводами русских парновидовых глаголов суффиксального образования. Напр.:

ПРОЩАТЬ (НСВ) — ANDESTAMA / ANDEKS ANDMA
ПРОСТИТЬ (СВ)

обычно СВ

1. кого — что

п. невнимание

п. обиду

п. мальчика

1.1. *mida*

tähelepanematust andestama / andeks andma

solvangut andestama / andeks andma

1.2. *kellele*

poisile andestama / andeks andma

2. кому

п. сыну

п. брату

pojale andestama / andeks andma

vennale andestama / andeks andma

3. за что

п. за опоздание

п. за беспокойство

3. *mille pärast*

hilinemise pärast andestama / andeks andma

tülitamise pärast andestama / andeks andma

Синтетический глагол обозначает потенциально предельное действие, которое в момент речи мыслится абстрактным, в то время как аналитический глагол обозначает конкретно-результативное действие. Эти глаголы семантически тождественны; они отличаются лишь своей аспектуальной характеристикой. Следовательно, перед нами две формы одного глагола — синтетическая и аналитическая.

Обращает на себя внимание, что грамматическая сочетаемость данного глагола зависит от одушевленности/неодушевленности объекта (см. компоненты значения 1.1. и 1.2.).

В примерах с аспектуальными парами синтетический/аналитический глагол встречаются, наряду с однокоренными парами, также пары с супплетивными основами. Напр.:

**ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ (НСВ) —
ВЫЗДОРОВЕТЬ (СВ)****PARANEMA /
TERVEKS SAAMA**1. *после чего*

- в. после болезни
- в. после простуды
- в. после воспаления легких

- в. после кори
- в. после скарлатины
- в. после ветрянки

1. *millest*

haigusest paranema / terveks saama
 külmetusest paranema / terveks saama
 kopsupõletikust paranema / terveks
 saama

leetritest paranema / terveks saama
 sarlakitest paranema / terveks saama
 tuulerõugetest paranema / terveks saama

Русские **видовые пары, образованные с помощью префиксации**, переводятся на эстонский язык или 1) разными аналитическими и синтетическими глаголами, употребляемыми в качестве самостоятельных лексических единиц, или 2) только синтетическими глаголами, или 3) только аналитическими глаголами, или 4) аспектуальными парами синтетический/аналитический глагол. Напр.:

- 1) Синтетические и аналитические глаголы, не образующие пар по аспектуальному значению

**ГЛЯДЕТЬ (НСВ) —
ПОГЛЯДЕТЬ (СВ)****(OTSA, SISSE, ALLA, VÄLJA)
VAATAMA; NÄIMA**1. *на кого - на что*

- г., п. на друга
- г., п. на улицу

- г., п. на картину

1.1. *kellele-millele*
 sõbrale otsa vaatama
 tänavale vaatama
 1.2. *mida*
 pilti vaatama

2. *во что*

- г., п. в окно

2.1. *millest*
 aknast sisse vaatama

г., п. в прошлое

- г., п. в глаза

2.2. *millesse*
 minevikku vaatama
 silma vaatama

3. *с чего*

- г., п. с крыши

3. *millelt*
 katuselt alla vaatama

4. из чего г., п. из окна	4. <i>millest</i> aknast (välja) vaatama
5. из-за чего г., п. из-за туч	5. <i>mille tagant</i> pilve tagant (välja) vaatama
6. через что г., п. через стекло	6. <i>läbi mille</i> läbi klaasi vaatama
7. с чем г., п. с ужасом г., п. со страхом г., п. с нежностью	7. <i>millega</i> õudusega vaatama hirmuga vaatama õrnusega vaatama
8. за кем г., п. за больным	8. <i>kelle järele</i> haige järele vaatama

Выбор разных аналитических глаголов (*otsa vaatama* — смотреть в глаза, *sisse vaatama* — заглянуть, *alla vaatama* — посмотреть вниз, *välja vaatama* — выглянуть) указывает на различия в способе осуществления действия и является, тем самым, лексико-семантическим средством выражения акциональности. Трудными при этом являются случаи типа *глядеть/поглядеть из чего* — *vaatama* и *глядеть/поглядеть из чего* — *välja vaatama*, соответственно *aknast vaatama* и *aknast välja vaatama*, когда различие в способе действия нелегко заметить, однако все же возможно; *aknast vaatama* означает видеть вообще, следить за кем-, чем-либо, в то время как *aknast välja vaatama* является конкретным действием — мы смотрим или решили посмотреть на улицу. Опять-таки наблюдается различие в референциальной соотнесенности действия, и перед нами два самостоятельных глагола — *vaatama* ‘смотреть’ и *välja vaatama* ‘выглянуть, поглядеть’.

2) Различные синтетические глаголы

**КРАСНЕТЬ (НСВ) —
ПОКРАСНЕТЬ (СВ)**

**PUNETAMA, ÕHETAMA;
PUNASTAMA**

1. *ot* чего
к., п. от мороза

1.1. *millest*
pakasest punetama, õhetama

к., п. от ветра
к., п. от волнения
к., п. от радости

к., п. от стыда

2. за кого-что (только НСВ)

к. за сына
к. за поведение

3. перед кем (только НСВ)

к. перед коллегами

tuulest punetama, õhetama
erutusest õhetama, punetama
rõõmust õhetama, punetama
1.2. mille pärast
häbi pärast punastama;
õhetama, punetama

2. kelle-mille pärast

poja pärast punastama
käitumise pärast punastama

3. kelle ees

kolleegide ees punastama

Выбранные варианты перевода зависят от семантической сочетаемости слов в эстонском языке — со щеками связывается прежде всего глагол *õhetama* ‘покраснеть/покраснеть’, если щеки покраснели от волнения или радости, однако если от мороза или ветра, то предпочитается глагол *punetama* ‘раскраснеть’, и если от стыда, то глагол *punastama* ‘краснеть/покраснеть’. Расхождение в семантической сочетаемости отражается также в грамматической сочетаемости (см. 1.1 и 1.2.).

Аналогичное можно наблюдать и в других случаях перевода видовых пар префиксального образования, например, в эстонских соответствиях русского глагола *делить/поделить, разделить*, когда выбор синтетического глагола зависит от семантической сочетаемости слов: ученики, наследство, земля, горе, радость, прибыль сочетается с глаголом *jagama* ‘делить/поделить, разделить’, деньги и время — с глаголом *jaotama* ‘распределять/распределить’, а растения и существительные — с глаголом *rühmitama* ‘группировать’. Все это свидетельствует о довольно строгой зависимости семантической сочетаемости слов в эстонском языке от референциальной соотнесенности описываемого события.

ДЕЛИТЬ (НСВ) — ПОДЕЛИТЬ (СВ), РАЗДЕЛИТЬ (СВ)

1. кого-что
д., п., р. учеников

**JAGAMA, JAOTAMA;
RÜHMITAMA**

1. keda-mida
õpilasi jagama

д., п., р. наследство
 д., п., р. землю
 д., п., р. горе
 д., п., р. радость
 д., п., р. прибыль
 д., п., р. деньги
 д., р. время
 д., р. существительные
 д., р. растения

pärandust jagama
 maad jagama
 muret jagama
 rõõmu jagama
 kasumit jagama
 raha jaotama
 maad jaotama
 nimisõnu rühmitama
 taimi rühmitama

3) Аналитические глаголы

**ЛОМАТЬ (НСВ) —
 СЛОМАТЬ (СВ)**

**(МАНА, КАТКИ) MURDMA;
 (ÄRA, МАНА) LÕHKUMA,
 LAMMUTAMA**

1. что

л. сучья
 л. деревья
 л., с. дверь
 л., с. замок
 л., с. мебель
 л., с. лыжи
 л., с. игрушку
 л. дом
 л. сарай

1. mida

oksi (katki) murdma
 puud (maha) murdma
 ust (ära) lõhkuma, maha murdma
 lukku (ära) lõhkuma, maha murdma
 mööblit (ära) lõhkuma
 suuski (ära) lõhkuma
 lelu (ära) lõhkuma
 maja (maha) lammutama
 kuuri (maha) lammutama

2. чем

л. руками

 л. ломом

2. millega

kätega (ära) lõhkuma, (maha)
 lammutama
 kangiga (ära) lõhkuma, (maha)
 lammutama

Приведенный пример довольно хорошо демонстрирует то разнообразие, которое мы наблюдаем между аналитическими и синтетическими глаголами в эстонском языке.

С одной стороны, синтетический/аналитический глагол могут образовывать пары по аспектуальному значению (см. выше перевод русских видовых пар, образованных суффиксальным способом), с другой стороны, они могут таких пар не образовывать, а аналитический и соответствующий ему синтети-

ческий глагол указывают на разную референциальную соотнесенность действия (см. выше перевод русских видовых пар префиксального образования). Наконец, имеются случаи типа *ломать/сломать*, при переводе которых на эстонский язык аналитический/синтетический глагол образуют пару по аспектуальности, но только в пределах какой-то определенной семантической сочетаемости слов, что предопределено референциально. Напр.: *ломать/сломать дверь, замок* — *ust, lukku lõhkuma/ära lõhkuma* (пара по аспектуальности), однако лишь *ust, lukku maha murdma* (аналитический глагол результативно-го СД). Попутно отметим, что слово *ära*, определяемое обычно как почти единственное собственно перфектирующее наречие в эстонском языке, имеющее высокую степень грамматизированности, выполняет эту свою функцию по отношению далеко не ко всем глаголам, а лишь к некоторым из них и только при ограниченной семантической сочетаемости этих глаголов. В целом же префиксальному видообразованию русского глагола в эстонском языке соответствуют непарные аналитические глаголы, указывающие, как действие происходит.

4) Аспектуальные пары синтетический/аналитический глагол

Среди переводов русских парновидовых глаголов, образованных префиксально, пара синтетический/аналитический глагол встретилась 10 раз. Напр.:

**ВЛИЯТЬ (НСВ) —
ПОВЛИЯТЬ (СВ)**

MÕJUMA / MÕJU AVALDAMA

1. на кого - на что
в., п. на человека
в., п. на больного
в., п. на ученого
в., п. на писателя
в., п. на детей
в., п. на события
в., п. на развитие
в., п. на характер
в., п. на образ жизни
в., п. на мировоззрение

1. *kellele - millele*
inimesele mõjuma / mõju avaldama
haigele mõjuma / mõju avaldama
teadlasele mõjuma / mõju avaldama
kirjanikule mõjuma / mõju avaldama
lastele mõjuma / mõju avaldama
sündmustele mõjuma / mõju avaldama
arengule mõjuma / mõju avaldama
iseloomule mõjuma / mõju avaldama
eluviisile mõjuma / mõju avaldama
maailmavaatele mõjuma / mõju avaldama

в., п. на отношение	suhtumisele mõjuma / mõju avaldama
в., п. на жизнь	elule mõjuma / mõju avaldama
в., п. на результаты	tagajärgedele mõjuma / mõju avaldama

2. чем

2. millega

в., п. своим авторитетом	oma autoriteediga mõjuma / mõju avaldama
в., п. своей личностью	oma isiksusega mõjuma / mõju avaldama
в., п. собственным примером	isikliku eeskujuga mõjuma / mõju avaldama

Синтетический глагол характеризует действие неопредельное и абстрактное, а аналитический глагол — действие результативное и относящееся к чему-, кому-либо конкретному.

Глаголы группы imperfectiva tantum переводятся на эстонский язык 1) с помощью синтетических глаголов, либо 2) синтетическим или аналитическим глаголом, которые не образуют пар по аспектуальности, либо 3) аналитическим глаголом; либо 4) парой синтетический/аналитический глагол. Первая возможность наблюдается чаще всего. Напр.:

- 1) Один синтетический глагол или несколько семантически близких синтетических глаголов

ЛЮБИТЬ (НСВ)**ARMASTAMA**

1. кого-что

1. keda-mida

- л. детей
- л. жену
- л. родину
- л. книги
- л. работу
- л. искусство
- л. музыку
- л. театр

- lapsi armastama
- naist armastama
- kodumaad armastama
- raamatuid armastama
- tööd armastama
- kunsti armastama
- muusikat armastama
- teatrit armastama

2. за что

2. mille pärast

- л. за доброту
- л. за ум
- л. за красоту

- headuse pärast armastama
- tarkuse pärast armastama
- ilu pärast armastama

Перевод одиночным синтетическим глаголом представляет собой межязыковые семантические соответствия, т.е. случаи

семантического тождества, что в целом сопровождается также одинаковой семантической и грамматической сочетаемостью слов. Это своего рода ядерная лексика, единая как для русского, так и для эстонского языков. В основном это активно употребляемые глаголы, такие как *болеть*² — *valutama*, *бороться* — *võitlema*, *бояться* — *kartma*, *висеть* — *riputama*, *гнуть* — *rainutama* и под.

Наряду с однозначными соответствиями имеются и такие, в которых русский глагол *imperfectiva tantum* переводится на эстонский язык несколькими, но семантически близкими синтетическими глаголами. Как правило, это сопровождается расхождением в семантической и синтаксической сочетаемости слов (см. ниже глагол *кричать*). Напр.:

КРИЧАТЬ (НСВ)**KARJUMA, KISENDAMA;
HÜÜDMA, HÕIKAMA, HÕISKAMA**

1. <i>что</i> к. караул	1. <i>mida</i> appi hüüdma
2. <i>от чего</i> к. от боли к. от страха к. от восторга	2.1. <i>mille pärast</i> valu pärast karjuma hirmu pärast karjuma 2.2. <i>millest</i> vaimustusest karjuma hirmust karjuma
3. <i>кому</i> к. другу к. прохожим	3. <i>kellele</i> sõbrale hüüdma möödakäijatele hõikama, hüüdma
4. <i>на кого</i> к. на ребенка	4. <i>kelle peale</i> lapse peale karjuma
5. <i>кого</i> к. кучера	5. <i>keda</i> voorimeest hõikama
6. <i>кем-чем</i> к. петухом	6. <i>kellena-millena</i> kukena kirema

- 2) Синтетические и аналитические глаголы, не составляющие пар по аспектуальному значению

КОРМИТЬ (НСВ)**TOITMA, SÖÖTMA, ÜLAL PIDAMA**

1. <i>кого</i>	1. <i>ked</i>
к. больного	haiget toitma, ülal pidama
к. детей	lapsi toitma, ülal pidama
к. семью	peret toitma, ülal pidama
к. скот	loomi söötma
2. (<i>кого</i>) <i>чем</i>	2.1. (<i>ked</i>) <i>millega</i>
к. кашей	pudruga toitma, söötma
к. пирогами	pirukatega toitma, söötma
к. грудью	rinnaga toitma, söötma
	2.2. (<i>kellele</i>) <i>mida</i>
к. сеном	heina söötma
3. (<i>кого</i>) <i>с чего</i>	3. (<i>ked</i>) <i>millest</i>
к. с ложки	lusikast toitma, söötma
к. с рук	käest söötma
4. (<i>кого</i>) <i>из чего</i>	
к. из бутылочки	pudelist toitma, söötma

Выбор между аналитическим и синтетическим глаголом определяется в переводе референциальной соотнесенностью действия: больного, детей, семью можно и кормить (*toitma*) и содержать (*ülal pidama*), а животных — только *söötma* 'кормить'. В результате перед нами расхождения как в семантической, так и в грамматической сочетаемости слов.

3) Аналитические глаголы

В данном случае мы имеем дело в основном с такими случаями, когда глаголам *imperfectiva tantum* в эстонском языке соответствует один-два аналитических глагола, отличающихся по какому-либо компоненту значения и имеющих разную семантическую сочетаемость. Напр., аналитический глагол *koostööd tegema* возможен при сотрудничестве над словарями, монографиями, статьями и т.д., в то время как *kaastööd tegema* означает сотрудничать в газете, журнале, на телевидении и радио:

**СОТРУДНИЧАТЬ (НСВ) KOOSTÖÖD TEGEMA;
KAASTÖÖD TEGEMA**

- | | |
|--|---|
| 1. <i>с кем-с чем</i>
с. со всеми странами
с. с директором
с. с коллегами | 1. <i>kellega-millega</i>
kõigi maadega koostööd tegema
direktoriga koostööd tegema
kolleegidega koostööd tegema |
| 2. <i>в чем</i>
с. в составлении словаря

с. в написании монографии | 2.1. <i>millel</i>
koostööd tegema sõnaraamatu
koostamisel
koostööd tegema monograafia kirjutami-
sel |
| с. в газете
с. в журнале | 2.2. <i>millele</i>
ajalehele kaastööd tegema
ajakirjale kaastööd tegema |
| 3. <i>на чем</i>
с. на телевидении
с. на радио | televisioonile kaastööd tegema
raadiole kaastööd tegema |

4) Пара синтетический/ аналитический глагол

Среди переводов русских глаголов *imperfectiva tantum* было найдено 10 примеров. Синтетический глагол указывает на длительность, процессность действия, а аналитический — на разовость действия. Перед нами опять-таки семантически тождественные глаголы, различающиеся аспектуально. Напр.:

ТРЕВОЖИТЬСЯ (НСВ) MURETSEMA / MURET TUNDMA

- | | |
|--|---|
| 1. <i>за кого-за что</i>
т. за сына
т. за судьбу | 1. <i>kelle-mille pärast</i>
poja pärast muretsema / muret tundma
saatuse pärast muretsema / muret tundma |
|--|---|

Глаголы группы *perfectiva tantum*. В *Русско-эстонском словаре сочетаемости глаголов* их очень мало. Обычно в переводе на эстонский язык глаголам *perfectiva tantum* соответствуют как синтетический, так и аналитический глагол, отличие которых в разном характере протекания действия. Расхождения в референции обуславливают в переводе на эстонский язык выбор самостоятельных, семантически не тождественных гла-

голов, в которых способ осуществления действия четко раскрывается. Напр.:

ДВИНУТЬСЯ (СВ)**LIIKUMA HAKKAMA, SUUNDUMA;
ALUSTAMA**1. *во что*

д. в лес

1.1. *mille poole*

metsa poole liikuma hakkama

2. *к чему*

д. к выходу

д. к центру

väljapääsu poole liikuma hakkama

kesklinna poole liikuma hakkama

1.2. *mida*

д. в гору

mäkketõusu alustama

3. *на что*

д. на площадь

3. *millele*

platsile suunduma

4. *с чего*

д. с места

4. *millelt*

paigalt liikuma hakkama

Итак, в целом русским парновидовым и одновидовым глаголам соответствуют в эстонском языке то синтетические, то аналитические глаголы. Пара синтетический/аналитический глагол встречается в основном в переводах русских парновидовых глаголов суффиксального образования — их в нашем материале 60%.

Пара синтетический/аналитический глагол различается семантическим тождеством компонентов и расхождением аспектуальной семантики. Следовательно, перед нами две формы одного глагола. Как правило, синтетическая форма обозначает действие длительное, постоянное, процессное, а аналитическая указывает на завершенность, достижение, результативность, начальную или финальную фазу в осуществлении действия. Как правило, аналитическая форма образуется по модели *inf + надежные формы существительного* и по модели *инфинитивного сочетания*. Наряду с единством основы синтетической и аналитической формы наблюдаются также случаи супплетивизма (типа *paranema/terveks saama — выздоравливать/выздороветь*). По лексико-семантическому составу и

частотности употребления в функции инфинитива в нашем материале встречались чаще всего глаголы *tundma* (*kadedust tundma* — позавидовать), *tegema* (*soojaks tegema* — согреть), *andma* (*teada andma* — известить), *olema* (*vastu olema* — возразить) и *saama* (*terveks saama* — выздороветь). На основе проанализированного материала частотность употребления приведенных глаголов колеблется от трех до шести. Лексико-семантическая соотнесенность остальных глаголов в роли инфинитива, как стержневого компонента аналитической формы глагола, самая разная, а с точки зрения частотности они преимущественно одноразовые.

Все вышеизложенное свидетельствует о развитии грамматикализации в системе эстонского глагола, не обладающего грамматической категорией вида. Осуществляется этот процесс через присущее эстонскому языку явление — аналитизм.

Вторая сторона в развитии аналитизма связана с противоположным явлением — тягой эстонского глагола к лексикализации и образованию новых аналитических глаголов как самостоятельных единиц словаря. По своему лексическому значению аналитические глаголы всегда конкретнее синтетических. Причина скрывается, видимо, в том, что синтетический и аналитический глагол, которые наблюдаются в переводах русских парно- и одновидовых глаголов, указывают на разную референциальную соотнесенность описываемой ими акциональной ситуации и имеют в результате расхождения как в семантической, так и в грамматической сочетаемости слов. Такого рода аналитические глаголы, полученные путем лексикализации, в свою очередь не склонны грамматикализироваться и, имеют тенденцию в сочетании с синтетическими глаголами образовать пары по аспектуальному значению.

Практическим приемом, помогающим различать аналитические формы глагола от аналитических глаголов, является возможность/невозможность их синонимической замены одним, семантически тождественным словом. Ср.:

а) Аналитическая форма глагола → синонимическая замена допускается:

<i>muret tundma</i> 'чувствовать заботу'	→ <i>muretsema</i> заботиться, болеть', беспокоиться, опасаться, тревожиться
<i>mõju avaldama</i> 'оказать воздействие'	→ <i>mõjuma</i> воздействовать, повлиять
<i>tagasi andma</i> 'отдать назад'	→ <i>tagastama</i> возвратить, вернуть и т.д.

б) Аналитический глагол → синонимическая замена не допускается:

<i>kinni püüdma</i>	→ ∅ поймать, схватить
<i>läbi vaatama</i>	→ ∅ осмотреть, просмотреть
<i>kaela langema</i>	→ ∅ броситься на шею
<i>taga ajama hakkama</i>	→ ∅ броситься в погоню
<i>liikuma panema</i>	→ ∅ сдвинуть и т.д.

Обратные переводы на русский язык показывают, что эстонский аналитический глагол описывает, как происходит действие, соотнеся его обычно с выражением перфективности, реже имперфективности действия.

В заключение отметим, что грамматикализация и лексикализация — живые процессы развития языка. Не менее интересным оказался бы аналогичный сопоставительный эстонско-русский словарь сочетаемости глаголов, который помог бы осветить в совершенно неожиданном аспекте многие вопросы функционирования русского глагола.

ЛИТЕРАТУРА

- Пихлак А. И. 1985a — Составные и перифрастические глаголы эстонского языка с аспектуальным значением результативности. *Уч. зап. ТГУ. Вып. 719. Функциональные аспекты грамматики русского языка.* Тарту. 132–143.
- Pihlak, A. 1985b — Eesti ühendverbid ja perifrastilised verbid aspektitähenduse väljendajana. *Ars Grammatica 1985.* Tallinn. 62–93.
- Эслон П., Пихлак А. 1993 — *Вид и время.* Таллинн.
- Эслон П. 2001 — Русско-эстонский словарь сочетаемости глаголов: исходные положения. *Русский язык: система и функционирование. Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Новая серия. V.* Тарту. 176–195.
- ЕКК 2000 — *Eesti keele käsiraamat.* Teine, täiend. trükk. Tallinn.
- ЕКГ I 1995 — *Eesti keele grammatika I: Morfoloogia. Sõnamoodustus.* Tallinn.
- ЕКГ II 1993 — *Eesti keele grammatika II: Süntaks. Lisa: Kiri.* Tallinn.

SUMMARIES

SOME ISSUES OF THE SYSTEMIC-FUNCTIONAL ANALYSIS OF GRAMMATICAL UNITS

A. Bondarko

The article focuses on the notion of function, specifically on the correlation of teleological and causal aspects of the functions of linguistic units. Also discussed are principles of the functional-grammatical analysis of the linguistic material on the basis of the notions of the invariant and the prototype.

ON THE MEANING OF OLD RUSSIAN PERFECT

B. Gasparov

Perfect tense in Old Russian had a double origin: on the one hand, its usage followed the way it had been used in OCS texts; on the other, it reflected the speech practice of East Slavic vernacular, where perfect was used as the prevalent, perhaps even sole form of past tense. These two strategies of using perfect were mutually contradictory: in OCS, perfect, in contradistinction with aorist, was reserved for emphatic statements, often implying transcendental, extra-experiential meaning (references to God's will, a miracle, eternal salvation or condemnation, etc.); in vernacular, on the contrary, perfect was the main vehicle for depicting quotidian situations related to everyday life. This difference in connotation was reinforced by a formal difference, particularly in 3. person: while the OCS perfect always featured an analytical construction, Old Russian, beginning with the oldest texts, showed a tendency to use the 3. person perfect as a simple form, i.e., without the auxiliary verb.

Coexistence of those two contradictory strategies opened way for utilizing the opposition between aorist and either of the two

versions of perfect for expressing complex stylistic connotations and symbolic semantic overtones related to the narrator's position. In a contrast with a simple perfect, the Old Russian aorist appears as a "bookish" form bestowed with spiritual and intellectual values, while perfect carried an empirical and quotidian aura. At the same time, the analytical form of perfect retained the emphatic and transcendental orientation inherited from the OCS tradition. In a juxtaposition with this form, aorist expressed factual information, the same way it did in OCS. The two strategies conflated in the cases of the 1. and 2. person, since there no formal difference between the OCS and Old Russian perfect existed. The analytical form of 1-2 person in Old Russian can be interpreted as consisting of two homonymous sources characterized by the opposite sets of stylistic values: one, inherited from the OCS form, carried on its mystical and emphatic connotations, while the other, indigenous, was associated with the quotidian and colloquial mode of discourse.

Observations of how the contrast between perfect and aorist could be used in Old Russian texts suggest, first of all, that strategies for using either form had a fragmented, rather than global, character; and second, that symbolic spiritual and ideological values carried by the act of selecting one or another form, as well as their stylistic connotations, were factors of primary importance for creators and receivers of Old Russian texts, whose weight was capable of superceding whatever temporal and/or aspectual meaning proper those forms might have.

ON THE PROBLEM OF SYSTEMS IN RUSSIAN GRAMMAR

G. Zolotova

The article discusses the issue of semantic and grammatical criteria for systematic structures. The well-known thesis of V. V. Vinogradov that lexis and grammar are mutually defined receives confirmation from the correspondence between the semantic classification of verbs and the typology of phrases. The differentiation of animate/inanimate subjects permits the differentiation of actional

and non-actional verbs, as well as of the corresponding types of phrases, which reveals the closeness of the non-actional and the so-called impersonal models via the category of *non-voluntarity*. The perspective outlined, which is supported by paradigmatic and functional differences between phrase types, is closer to the ontological substance of phenomena reflected by the language.

THE SEMANTICS AND PRAGMATICS OF SOME ESTONIAN CONCESSIVE CONSTRUCTIONS AND THEIR RUSSIAN COUNTERPARTS

K. Karu

The article discusses some types of concessive sentences hitherto uninvestigated in the Estonian grammar, attempts to give them a semantic and pragmatic description and to find out possible Russian counterparts. Russian counterparts to the cases considered vary as different Russian sentences with different counterparts can correspond to one and the same Estonian sentence. The same ambiguity in the choice of possible equivalents is observed also when we proceed from Russian. This indicates that Russian and Estonian cut up the sphere of concessive relations, with all their semantic shades and pragmatic nuances, in different ways. Unequivocal equivalents that do not allow variants are met only in a few exceptional cases.

ON THE PROBLEM OF FUNCTIONAL PECULIARITIES OF COORDINATIVE CONNECTION

J. Kostandi

The article analyzes I. Turgenev's novel "Diary of Unnecessary Man". All subtypes and means of coordinative connection of words are considered, the most typical cases are revealed, the correlation between syntactic connection and such functional peculiarities as the type of text, author's contextual heuristics and evaluation is

discussed. Special attention is paid to the debatable cases. This article continues a series of works of the author on the problem.

DIRECTION OF TENSE IN THE SENSE OF PERFORMATIVES

J. Krékits

The paper analyses the direction in the tense of performative verbs ("Zeitrichtungsbezug"). The tense in the constative verbs is going straight from left to right, in the performative verbs — in the opposite direction. The paper is based on the E. Koschmieder's theory of tense.

METHODOLOGICAL ISSUES IN THE PHILOLOGICAL ANALYSIS IN RUSSIAN HISTORICAL PHONETICS

J. Kudryavtsev

The article deals with methodological issues involved in the philological analysis in Russian historical phonetics. Phonetic interpretation of the data of ancient manuscripts constitutes a complicated problem whose solution requires taking into account a wide range of factors in an attempt to reconstruct hypothetical facts on the basis of known (extant) facts. The article focuses primarily on the views of representatives of the Petersburg school of Russian philology — A. A. Shahmatov, A. I. Sobolevsky, L. L. Vasilyev, V. M. Markov, V. V. Kolesov.

THE HERETICAL VOICE OF THE PARTICIPLE (ABOUT ONE FORM IN "NASTAVLENIYE O PRAVOY VERE" BY CONSTANTIN-PHILOSOPHER)

A. Kuznetsov

The article considers reasons for using the active participle instead of the passive one in the translation of a phrase of Gregory the

Theologian's from Greek to Old Church Slavonic. According to the Christian doctrine man's purification depends on God rather than his own free will. Therefore the passive voice and the active voice of the verb *purify* mean the same. The claim is supported with different examples from Old Russian manuscripts.

VERBLESS ITERATIVE-RELATIVE CONSTRUCTIONS IN RUSSIAN

I. Külmoja

Prototypical iterative-relative constructions contain at least two verb forms that express two interrelated events recurring an unrestricted number of times. The constructions are characterized by a specific functioning of verb forms, viz. they allow the use of forms of the perfective future to denote abstract (indefinite, non-actual) present, as well as synonymous use of the perfective and the imperfective. The present article draws attention to a marginal type of iterative-relative constructions where in one of the parts the verb is missing. The verbless part reflects either a static or a dynamic event. The static event is represented in existential sentences or in sentences with a predicative adverbial. The dynamic event can be expressed a) by a sentence with and interjection (*inter alia*, one derived from a verb), b) by a sentence with an omitted verb that can be restored on the basis of the context, c) by compressive anaphoric components *opyat'* ('again') and *snova* ('anew'). A separate type is represented by the construction *net'-net' (da) i (no-no (yes) and)* which, rather than linking up two events, connects an event with its absence.

THE ROLE OF ACTANTS IN THE CONCEPT OF FUNCTIONAL SYNTAX

A. Mustajoki

The paper discusses various semantic roles (deep cases) that can be defined in the framework of functional grammar: Subject-Agent (*Pe-*

tya is running), Subject-Possessor (*Petya has a dog*), Subject-Experiencer (*Petya is cold*), Subject-Neutral (*Petya is from Russia*), Object-Resultative (*Petya has written a book*), Object-Directive (*Petya gave a book to Nina*), Object-Deliberative (*Petya talked about Nina*), Recipient (*Petya gave a book to Nina*), Instrument (*Petya opened the bottle with a new corkcrew*), Subject-Locative (*It is raining here*), Locative (*The house is situated by the sea*). Also, the basic terms of a semantics-based functional syntax are dealt with.

THE UNIT OF AESTHETIC COMMUNICATION

L. Novikov

The article deals with the principal features of the main unit of the poetic communication — the poememe, investigating its structure and semantics. The principles of building a taxonomy of these units are discussed on the basis of the concept of “ostranenie” (estrangement) (V. Shklovsky).

GRAMMATICAL INFORMATION IN A DICTIONARY VS LEXICAL INFORMATION IN GRAMMAR

B. Norman

Lexical and grammatical meanings are inherently interdependent and mutually conditioned in the native speaker’s consciousness. In particular, the peculiarities of the inflexion of a noun determined by the grammatical categories of gender, number, case, make it possible to realize the minutest lexical-semantic variants of a lexeme. This is showed on the examples of the Russian words as *капля, варяг, дом, окно* and others. In such cases grammar appears like a way of packing, “enciphering” of the lexical information, a fact that should be reflected in an adequate integral description of the language system.

ABOUT THE "EGOCENTRIC DIMENSION" IN GRAMMAR

N. Onipenko

The article gives a brief summary of the main ideas involved in the concept of communicative grammar and demonstrates their explanative power as they are applied to fictional texts by different authors. The idea is put forward that any communicative register emerges as a result of an interaction of lexis, morphology and syntax and different registers are characterized by different relationships between the components of this interaction.

GRAMMAR AND REFLEXIVE DISCOURSE

E. Remchukova

The article deals with the reflexive activity of the linguistic person via the meta-linguistic function of the language. Grammatical reflexives, i.e. complete statements where the speaker interprets, qualifies and assesses grammatical elements of the language, motivating his choice, are viewed as a manifestation of "grammatical psychologism". Verbalization of linguistic self-consciousness as related to grammatical meanings is one of the means of their actualization and can be met in various types and genres of present-day speech.

The article presents contexts that allow such interpretation of the usage of grammatical forms of tense, gender, number, case, aspect, person, as well as grammatical symbols (past tense, subjunctive mood).

INGRESSIVE VERBS IN RUSSIAN DIALECTS

O. Rovnova

The focus of the paper is the special character of ingressive verbs in modern Russian dialects. Due to the conservation of archaic features and new formations, the inventory of ingressive prefixes and derivational ties in dialects differs significantly from that in Stan-

dard Russian. Our data demonstrate that from the formal (morphological) point of view the ingressive semantics is manifested more explicitly in dialects. High emphasis is laid on the unity of the actional and modal semantics characteristic of the verbs of motion. Aspectological observations are supplemented by ethnolinguistic data.

DOUBLE NEGATION IN RUSSIAN AND ITS ESTONIAN COUNTERPARTS

J. Sidorova

Double negation is a widespread linguistic phenomenon that functions in different languages. This grammatical category is very typical of the Slavonic languages, among them Russian, where its analysis, however, presents serious difficulties. The article shows that a few cases of double negation also exist in Estonian, though this language in general evinces a clear predilection for mononegative constructions.

A PERSON'S METAPHORICAL PORTRAIT (ON THE MATERIAL OF RUSSIAN NOUNS)

T. Troyanova

Metaphors play an important role in the development of the lexical system since they reflect the creative thought about the surrounding world in language. It is interesting to investigate how metaphors can be used for describing a human being: the language does not preclude the most remote comparisons in the formation of the anthropocentric metaphors.

In this article we analyze different models of metaphors used about a human being. It can be said that in Russian a person's metaphorical portrait is created according to its own laws and it has its own possibilities and restrictions.

UTTERANCES WITH *DOLZHEN*
IN THE CONTEXT OF COGNITIVE ACTIVITY:
A SEMANTICS OF EXPECTATION

S. Turovskaya

The article examines some unusual meanings of utterances with the modal predicate *dolzhen*. In traditional linguistics utterances with *dolzhen* are divided into deontic and epistemic utterances, whereby utterance semantics is equated to the corresponding concepts in deontic and modal logic. However, real-life utterances cannot be neatly divided between logical concepts. For instance, in narrative texts the predicate *должен* in a context that indicates the presence of expectations acquires new semantic nuances. Pertinent text fragments are rather stable and regular, which means that we can speak about a special meaning of *dolzhen* — the meaning of expectation.

The article conducts a detailed analysis of *expectations* both as a cognitive phenomenon and as an object of the logic of practical reasoning: expectations do not possess any semantics, the cumulative effect of expectations is particularly emphasized. In the text, expectations are expressed not only from the external perspective (predicates *zhdat'*, *ozhidat'*), but also from the internal one (constructions with *dolzhen*).

К МЕТОДИКЕ КОНТРАСТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
СТРАТЕГИЙ ВЕЖЛИВОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ
РУССКОГО, АНГЛИЙСКОГО И ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКОВ)

К. Вогелберг

В статье рассматриваются некоторые методологические вопросы, возникшие в ходе предварительного анализа результатов проекта, исследующего в контрастивном аспекте применение стратегии вежливости в русском, эстонском и английском языках. Основная цель проекта — выявление лингвокультурных различий в применении стратегий в одинаковых ситуациях и оценка на этой основе прототипических для каж-

дой лингвокультуры (соотв. для конкретных ситуаций в этих лингвокультурах) значений P, D и/или R в известной формуле П. Брауна и С. Левинсона. Оказывается, однако, что для адекватной оценки степени вежливости W (соотв., значений P, D и/или R) недостаточен широко практикуемый простой подсчет конкретных стратегий (например, случаев конвенциональной косвенности) или же стратегий, принадлежащих к одной и той же суперстратегии (например, негативной или позитивной вежливости). На первый план выдвигается методологический вопрос о том, что в таких подсчетах можно считать «одной и той же стратегией». В статье в качестве примера рассматриваются сложные взаимоотношения между русской и эстонской «Вы»-формами и прототипической английской конвенциональной косвенностью (“Could you help me?”), которые, с одной стороны, можно считать взаимно компенсирующимися, но с другой стороны, все же имеющими различный психолингвистический статус. Подробному анализу подвергается также русский отрицательный вопрос в функции вежливой просьбы («Не поможете?») и его эстонские аналоги. Последним классический логический анализ в русле Дж. Лича, основывающийся на обобщенных импликатурах, вообще отказывает в вежливости, однако на самом деле они могут оказаться более вежливыми, чем прототипическая английская конвенциональная косвенность. В заключении подчеркивается необходимость тщательного взвешивания вклада каждой конкретной стратегии в каждом конкретном языке в степень вежливости высказывания в целом, без которого контрастивные исследования лингвокультур могут привести к упрощенным, необоснованным обобщениям.

EXPRESSION OF CAUSE-AND-EFFECT RELATIONS
IN COMPOUND SENTENCES WITHOUT CONJUNCTIONS
IN MODERN RUSSIAN

E.-O. Haag

The most frequent temporal relations in the structures analyzed in are past-present and present-future, which can be accounted for by the objective antecedence of the cause to the effect. Also frequent are the relations precedent past-subsequent past, present as a premise-present as a conclusion, where the nature of the relationship is preserved.

The same relations between tense forms can also be found to express other causal relations, e.g., conditional and concessive, but these cannot be considered cause-and-effect relations since they do not express factuality.

HOW ONE CAN FIND LITERALLY TWO MEANINGS
IN THE WORD "LITERAL"

V. Khrakovski

The paper deals with the Russian vocable *bukval'no* 'literally' that comprises two independent lexical units. The basic lexical unit is the adverb BUKVAL'NO which has a relatively restricted distribution, being found with verbs denoting utterance, perception, or understanding of oral/written texts, where it states that those texts (including translated texts) have been quoted/transmitted with absolute formal precision, i.e. "letter for letter". The other, derived, lexical unit BUKVAL'NO 2 is a product of language evolution. It is a metalanguage operator that falls in the same synonymic row as the words PROSTO 2 (*spit za stolom*) 'is literally sleeping (dozing) at the table', PR'AMO 2 (*tak i axnul*) '(he) simply gasped', and FORMENNYM OBRAZOM 'downright', 'positively'. This operator has a much wider distribution than the original adverbial and may appear in any sentence member group. By using BUKVAL'NO 2, the speaker emphasizes that a given situation or object has no generally recognized name but bears a strong resemblance to

the situation or object actually indicated in the sentence, while typically lacking the generic features thereof.

ABOUT "FREE" WORD ORDER IN RUSSIAN

V. Shtchadneva

The degree of freedom as against regulation/standardization in the domain of word order is by its very nature relative. In the article it is suggested that word order in Russian be termed not "free", but "mobile". The view is supported by the concept of polyfunctionality of word order in Russian and by comparing Russian with other languages. In the analysis of the word order in a specific language unit it is expedient to make a precise distinction between several dichotomous oppositions which, though interrelated, are not coterminous, viz. 1) mobile versus fixed, 2) direct versus inverted, and 3) neutral versus expressive.

ON THE DEVELOPMENT OF ANALYTICALITY (BASED ON A COMPARISON OF THE ESTONIAN AND THE RUSSIAN VERB)

P. Eslon

The article focuses on Estonian synthetic/analytical pair verbs that are most frequently comparable to Russian aspectual pair verbs and, less frequently, to mono-aspectual verbs of the type *imperfectiva tantum*. Correspondence with *perfectiva tantum* mono-aspectual verbs is extremely rare. Synthetic/analytical pairs correspond mostly to Russian pair verbs formed by means of suffixation (60% of the material analysed). Juxtaposition with Russian is methodologically fruitful since the category of aspect in Russian is characterised by stability while Estonian lacks the category of aspect as well as aspectual opposition.

Estonian synthetic/analytical pair verbs differ only in aspectual semantics. We therefore essentially have to do with two forms of the same verb. The synthetic form usually has a durative, habitual

or progressive meaning, while the analytical form conveys perfective, inchoative or terminative action. Thus, analytic verbs together with their synthetic counterparts form aspectual pairs. This phenomenon is evidence of ongoing grammaticalisation in the Estonian verb system.

The development of analyticity in Estonian has yet another side, viz., a tendency towards lexicalisation and towards a formation of new analytical verbs as independent lexical units. The lexical meaning of analytical verbs is always more concrete than that of synthetic verbs. A possible reason may lie in the different referentiality of Estonian synthetic and analytical verbs that correspond to Russian aspectual pairs and mono-aspectual verbs, as a result of which there emerges a discrepancy in semantic and grammatical combinability. Analytical verbs that are formed by the means of lexicalisation are usually not susceptible to grammaticalisation, neither do they form aspectual pairs with synthetic verbs.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ПРОФЕССОРА М. А. ШЕЛЯКИНА

ДИССЕРТАЦИИ, ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ, СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

1. *Работа И. С. Тургенева над языком «Записок охотника»*. Кандидатская диссертация. 1954. 500 с.
2. *Работа И. С. Тургенева над языком «Записок охотника»*. Автореферат кандидатской диссертации. М.: МГУ. 1954. 20 с.
3. Рукописи «Записок охотника» в Москве. *«Записки охотника» И. С. Тургенева. Статьи и материалы*. Орел. 1955. С. 405–427.
4. Тургенев о словоупотреблении в художественном произведении. *Ученые записки Таллинского педагогического института им. Э. Вильде. Том 1. Серия общественных наук. Вып. 1*. Таллин. 1957. С. 130–158.
5. *Полногласные и неполногласные формы в современном русском языке*. Материалы по курсу «История русского языка». Таллин. 1958. 40 с.
6. *И. С. Тургенев о народности русского литературного языка*. Материалы по курсу «История русского литературного языка». Таллин, 1958. 42 с.
7. Рецензия: Н. М. Шанский. *Очерки по русскому словообразованию и лексикологии*. М., 1959. *Русский язык в школе*. 1960, № 3. С. 99–103.
8. Письмо (совместно с Вал. В. Ивановым) в редакцию журнала «Филологические науки» НДВШ по поводу книги И. В. Устинова «Очерки по русскому языку». Ч. 1. *Филологические науки. НДВШ*. 1960, № 3. С. 170–175.
9. Стилистические функции народно-разговорной лексики в «Записках охотника» И. С. Тургенева. *Труды кафедр русского языка и литературы Новосибирского государственного университета*.

- ственного педагогического института. *Вопросы языка и творчества русских писателей. Вып. 1.* Новосибирск, 1960. С. 71–109.
10. *Отражение влияния j на согласные в русском языке.* Учебное пособие по курсу «Историческая грамматика русского языка». Новосибирск. 1961. 29 с.
 11. Принципы отбора диалектных и просторечных слов в «Записках охотника» И. С. Тургенева. *Труды кафедр русского языка и литературы Новосибирского государственного педагогического института. Вопросы творчества и языка русских писателей. Вып. 3.* Новосибирск, 1962. С. 2–25.
 12. Наблюдения над лексико-грамматическими особенностями глаголов звучания в русском языке. *Филологические науки. НДВШ.* 1962, № 4. С. 49–53.
 13. Работа Тургенева над частицами и союзами в «Записках охотника». *Труды кафедр русского языка и литературы Новосибирского государственного педагогического института. Вопросы творчества и языка русских писателей. Вып. 4.* Новосибирск, 1962. С. 3–14.
 14. Рецензия: В. А. Звегинцев. Очерки по общему языкознанию. МГУ, 1960. *Филологические науки. НДВШ.* 1963. С. 211–217.
 15. Историко-семантическая структура образований с приставкой *пре-*. *Ученые записки Новосибирского государственного педагогического института. Вып. 19. Лингвистический сборник.* Новосибирск, 1963. С. 3–50.
 16. Длительно-комитативное значение русских глаголов. *Вестник МГУ. Серия: филология, журналистика.* 1964, № 2. С. 78–88.
 17. Комплетивное значение приставочных глаголов в русском языке. *Филологические науки. НДВШ.* 1965. С. 11–19.
 18. К вопросу о понятиях морфемы и основы слова. *Вопросы морфологии и синтаксиса современного русского языка.* Новосибирск. 1966. С. 3–14.
 19. Морфологические чередования «беглых» *о, е* в формах существительных и прилагательных в современном рус-

- ском языке. *Тезисы докладов к X научной конференции, посвященной 215-летию Новосибирского государственного педагогического института*. Новосибирск. 1966. С. 41–43.
20. Приставочные глаголы с аттенуативным значением в русском языке. *Филологические науки. НДВШ*. 1966, № 4. С. 110–121.
 21. Функции и словообразовательные связи детерминативно-временных приставок в русском языке. *Филологические науки. НДВШ*. 1969, С. 100–112.
 22. Функции и словообразовательные связи начинательных приставок в русском языке. *Лексико-грамматические проблемы русского глагола*. Новосибирск. 1969. С. 3–33.
 23. О значениях и образовании невозвратных глаголов с приставкой *до-* в современном русском языке. *Русский язык в национальной школе*. 1969, № 5. С. 77–80.
 24. Употребление вида в повелительном наклонении русского языка. *Fremdsprachenunterricht*. 1969, № 9. S. 374–380.
 25. О художественной речи И. С. Тургенева. *Pädagogische Hochschule Potsdam. Wissenschaftliche Zeitschrift. Jahrgang 13. Heft 2/1969. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe*. S. 557–563.
 26. Der Gebrauch der Aspekt- und Tempusformen des Indikativs in der russischen Sprache. Versuch einer algorithmischen Beschreibung. *Fremdsprachenunterricht*. 1969, № 3. S. 108–120.
 27. Употребление видов глагола в сослагательном наклонении русского языка. *Pädagogische Hochschule Potsdam. Wissenschaftliche Zeitschrift. Jahrgang 14. Heft 3/1970. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe*. S. 465–478.
 28. Der Gebrauch des russischen Verbalaspekts / Teil 1. Theoretische Grundlagen (& H. Schlegel). *Pädagogische Hochschule Potsdam*. 1970. 280 с.
 29. Historische Vokalwechsel in der russischen Sprache der Gegenwart. *Pädagogische Hochschule Potsdam*. 1970. S. 60.

30. Финитивные глаголы русского языка. *Pädagogische Hochschule Potsdam. Wissenschaftliche Zeitschrift. Jahrgang 15. Heft 2/1971. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe.* S. 289–295.
31. О семантической корреляции совершенного/несовершенного вида в русском языке. *Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogischen Hochschule K. F. W. Wander, Dresden / Heft 1/1972/ S. 59–60.*
32. *Приставочные способы глагольного действия и категория вида (К теории функционально-семантической категории аспектуальности).* Докторская диссертация. 1972. 580 с.
33. *Приставочные способы глагольного действия и категория вида в современном русском языке (К теории функционально-семантической категории аспектуальности).* Автореферат докторской диссертации. ЛГУ, 1972. 46 с.
34. Лингвистические основы обучения иностранцев употреблению видов глаголов русского языка. *Hamburger Beiträge für Russischlehrer. Band 4. Helmut Buske Verlag. Hamburg, 1973. S. 57–76.*
35. Основные проблемы современной русской аспектологии. *Известия Воронежского государственного педагогического института. Т. 146. Вопросы русской аспектологии. Вып. 1.* Воронеж, 1975. С. 5–27.
36. К вопросу о сущности структурно-словообразовательного анализа. *Ученые записки Ташкентского государственного педагогического института имени Низами, том № 143. Тезисы 2-й Республиканской конференции «Актуальные проблемы русского словообразования».* Самарканд, 1975. С. 30–33.
37. Задачи организации учебного процесса на филологических факультетах в современных условиях. *Всесоюзное совещание-семинар по совершенствованию качества подготовки учителей русского языка для средней школы. Тезисы.* Иваново, 1975. С. 38–39.

38. Аспектуальное употребление глаголов сообщения в русском языке (К проблеме синонимии видов). *Филологические науки. НДВШ*. 1976, № 3. С. 56–64.
39. Лингвистические основы обучения иностранцев употреблению видов русского глагола. *Die russischen Verbalaspekte in Forschung und Unterricht. Verlag Lambert Lening*. Dortmund, 1976. S. 21–40.
40. Об особенностях семантики и употребления местоимений *все, каждый, всякий, любой* в русском языке. *Ученые записки Тартуского государственного университета*. 405. *Русский язык в эстонской школе, IV*. Тарту, 1976. С. 47–54.
41. Об особенностях семантики и употребления местоимений *все, каждый, всякий, любой* в русском языке. *Русский язык за рубежом*. 1977, № 3. С. 86–89.
42. Основные проблемы современной русской аспектологии (2). *Ученые записки Тартуского государственного университета*. Вып. 434. *Вопросы русской аспектологии*. Вып. II. Тарту, 1977. С. 3–22.
43. Об одном значении приставки *про-* в русском языке. *Ученые записки Тартуского государственного университета*. Вып. 434. *Вопросы русской аспектологии*. Вып. II. Тарту, 1977. С. 142–145.
44. К вопросу о методологических основах системно-структурного описания грамматических категорий. Статья первая. *Ученые записки Тартуского государственного университета*. 425. *Труды по русской и славянской филологии. Серия лингвистическая. Проблемы языковой системы и ее функционирования*. Тарту, 1977. С. 3–23.
45. О лингвистических основах преподавания русского языка в эстонской школе (К постановке проблемы). *Nõukogude kool*. 1977, № 7. С. 598–607.
46. Объем и содержание курса «Морфология русского языка» для студентов-русистов в национальных вузах. *Методы и формы обучения русскому языку в национальной аудитории*. Межреспубликанская 5-я зональная научно-

- методическая конференция. Тезисы докладов. Вильнюс, 1977. С. 136–138.
47. Рецензия: Л. Л. Буланин «Трудные вопросы морфологии». М., 1976. *Русский язык в школе*. 1977, № 4. С. 114–117 (совместно с П. С. Сигаловым).
 48. О семантике и употреблении неопределенных местоимений в русском языке. *Ученые записки Тартуского государственного университета*. 442. *Семантика номинации и семиотика устной речи*. Тарту, 1978. С. 3–22.
 49. О предельных и непредельных глаголах несовершенного вида. *Ученые записки Тартуского государственного университета*. 439. *Семантика и функционирование категории вида русского языка. Вопросы русской аспектологии III*. Тарту, 1978. С. 43–63.
 50. О значении и образовании кумулятивного (накопительного) способа действия. *Ученые записки Тартуского государственного университета*. 439. *Семантика и функционирование категории вида русского языка. Вопросы русской аспектологии III*. Тарту, 1978. С. 136–141.
 51. Об общих и частных значениях категории вида русского языка. *3-й Международный симпозиум по преподаванию русского языка в финно-угорских школах. Тезисы докладов*. Таллин, 1978. С. 66–68.
 52. О лингвистической подготовке учителей русского языка национальных школ. *Актуальные проблемы подготовки учителя русского языка для национальной школы. Межвузовская научная конференция. Тезисы докладов*. Тарту, 1978 (совместно с Б. М. Гаспаровым и П. С. Сигаловым). С. 42–45.
 53. Ситуативность устной речи как фактор нейтрализации грамматических значений. *Ученые записки Тартуского государственного университета*. 481. *Семиотика устной речи*. Тарту, 1979. С. 3–24.
 54. К вопросу о методологических основах системно-структурного описания грамматических категорий. Статья вторая. *Ученые записки Тартуского государственного уни-*

- верситета. 486. Проблемы описания системы языка и ее функционирования. Тарту, 1979. С. 3–22.
55. О причинах устойчивости двувидовых глаголов в современном русском языке. *Ученые записки Тартуского государственного университета. 482. Категория вида и ее функциональные связи. Вопросы аспектологии IV.* Тарту, 1979. С. 3–17.
56. Терминативно-продолжительные и терминативно-интенсивные способы действия в современном русском языке. *Ученые записки Тартуского государственного университета. 482. Категория вида и ее функциональные связи. Вопросы аспектологии IV.* Тарту, 1979. С. 64–74.
57. Acerca de los fundamentos lingüísticos de la enseñanza de la lengua rusa como extranjera. *Resúmenes 2 evento científico de la Habana.* Habana, 1979. P. 8.
58. О спорных вопросах видо-временной системы современного русского глагола. *Ученые записки Тартуского государственного университета. 524. Проблемы внутрисктурного и функционального описания языка.* Тарту, 1980. С. 3–23.
59. Дистрибутивно-суммарный способ действия русского глагола. *Ученые записки Тартуского государственного университета. 524. Проблемы внутрисктурного и функционального описания языка.* Тарту, 1980. С. 43–53.
60. Acerca de la semántica de los pronombres negativos. *II Reunión científica profesoral (тезисы). Instituto superior pedagógico de lenguas extranjeras.* Habana, 1980. P. 4–5.
61. El sistema de significados espaciales de los prefijos verbales en el idioma ruso. *II Reunión científica profesoral (тезисы). Instituto superior pedagógico de lenguas extranjeras.* Habana, 1980. P. 6.
62. Предисловие к *Antología de lingüística general.* Universidad de La Habana. 1980. P. 1–2.
63. Русский язык на Кубе. *Русский язык за рубежом.* 1981, № 4 (совместно с А. Барсена). С. 114–115.
64. О семантической структуре отрицательных местоимений и происхождении конструкций с непарным отрица-

- нием. *Ученые записки Тартуского государственного университета*. 579. *Вопросы становления и развития языковой системы. Труды по русской и славянской филологии*. Тарту, 1981. С. 71–80.
65. Об аспектуальном понимании способа, характера и типа действия. *Ученые записки Тартуского государственного университета*. 625. *Семантика аспектуальности в русском языке. Вопросы русской аспектологии V*. Тарту, 1982. С. 21–31.
66. О моделировании функционально-семантической категории аспектуальности. *Ученые записки Тартуского государственного университета*. 625. *Семантика аспектуальности в русском языке. Вопросы русской аспектологии V*. Тарту, 1982. С. 32–39.
67. Принципы построения функциональной морфологии русского языка. *Филологические науки в Тартуском университете (Тезисы конференции)*. Тарту, 1982. С. 122–124.
68. Категория рода существительных русского языка. *Русский язык в эстонской школе*. 1983, № 1. С. 12–20.
69. Категория рода существительных русского языка (окончание). *Русский язык в эстонской школе*. 1983, № 2. С. 9–14.
70. *Категория вида и способы действия русского глагола (Теоретические основы)*. Таллин, 1983. 216 с.
71. О единстве функционального и системного описания грамматических форм в функциональной грамматике. *Проблемы функциональной грамматики (Тезисы докладов Всесоюзной конференции)*. М., 1983. С. 52–54.
72. Опыт семантико-синтаксического описания дательного падежа русского языка. *Ученые записки Тартуского университета*. 651. *Грамматические и лексико-семантические проблемы описания языка*. Тарту, 1983. С. 43–57.
73. О семантической структуре категории степеней сравнения прилагательных, ее частных значениях и морфологических формах. *Ученые записки Тартуского универси-*

- мета. 651. *Грамматические и лексико-семантические проблемы описания языка*. Тарту, 1983. С. 70–74.
74. О задачах и принципах теоретического описания грамматической системы русского языка в учебных целях. *Описание языковой системы и методика преподавания русского языка в вузах республики. Тезисы докладов Межвузовской научно-методической конференции*. Таллин, 1984. С. 110–112.
75. Аспектуальность и акциональность как объекты сопоставительного изучения. *Типы языковых общностей и методы их изучения. Тезисы докладов III Всесоюзной конференции по теоретическим вопросам языкознания*. М., 1984. С. 165–166.
76. Нормативная грамматика русского языка для нерусских (Проспект ИРЯ РАН). *Принципы описания и построение раздела морфологии*. М., 1984. С. 63–110.
77. On the essence of the category aspectuality and its lexical-semantic level in Russian. *Casper de Groot and Hannu Tommola (eds.). Aspekt Bound. A voyage into the realm of Germanic, Slavonic and Finno-Ugrian aspectology*. Dordrecht–Holland/Cinnaminson–U.S.A., 1984. P. 39–52.
78. О единстве функционального и системного описания грамматических форм в функциональной грамматике. *Проблемы функциональной грамматики*. М., 1985. С. 37–49.
79. Употребление видов в причастиях. *Русский язык в эстонской школе*. 1985, № 2. С. 7–10.
80. Употребление форм вида в деепричастиях. *Русский язык в эстонской школе*. 1985, № 3. С. 4–7.
81. Употребление видов в формах повелительного наклонения. *Русский язык в эстонской школе*. 1985, № 6. С. 16–19.
82. О функциональной модели форм числа существительных в русском языке. *Ученые записки Тартуского государственного университета*. 719. *Функциональные аспекты грамматики русского языка*. Тарту, 1985. С. 3–22.
83. О функциях видовых форм русского глагола при отрицании действия. *Ученые записки Тартуского государст-*

- венного университета. 719. *Функциональные аспекты грамматики русского языка*. Тарту, 1985. С. 109–114.
84. О сопоставительном изучении грамматических категорий разных языков. *Сопоставление языков как средство выявления особенностей их структуры. Тезисы семинара АН Эстонской ССР*. Таллин, 1985. С. 1–5.
85. К основам сопоставительного изучения падежных форм разных языков. *Сопоставление языков как средство выявления особенностей их структуры. Тезисы семинара АН Эстонской ССР*. Таллин, 1985. С. 23–25.
86. О специфике грамматической семантики словесных форм. *Семантические категории языка и методы их изучения. Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции*. Уфа, 1985. С. 75–89.
87. *Русские местоимения (Значение, грамматические формы, употребление)*. Материалы по спецкурсу «Функциональная грамматика русского языка». Тарту, 1986. 91 с.
88. Аспектуальность и акциональность русского глагола как объекты сопоставительного изучения. *Функционирование языковых единиц и категорий*. Таллин, 1986. С. 3–6.
89. Выходить замуж, жениться на ... *Русская речь*, 1986, № 2. С. 136–139.
90. Принципы составления справочников по русской грамматике для национальных школ. Проблемы коммуникативно ориентированного учебника русского языка. *Тезисы докладов межвузовской научно-методической конференции*. Тарту, 1986. С. 140–141.
91. О принципах функционально-грамматических описаний «от формы к содержанию». *Тезисы Научно-практической конференции ЛО ИЯ АН СССР, Вологод. гос. пед. ин-та «Функциональное и типологическое направление в грамматике и их использование в преподавании теоретических дисциплин в вузе»*. Часть 2. Вологда, 1986. С. 152–153.
92. Функциональная грамматика и обучение русскому языку. *Шестой Международный конгресс преподавателей русского языка и литературы. Научные традиции и но-*

- вые направления в преподавании русского языка и литературы. Доклады советской делегации. М., 1986. С. 268–275.
93. О лексико-семантическом уровне категории аспектуальности в русском языке. *Русский язык. Языковые значения в функциональном и эстетическом аспектах. Виноградовские чтения XIV–XV*. М., 1987. С. 3–22.
94. К основаниям сопоставительного изучения падежной системы русского языка в учебных целях. *Сопоставительная лингвистика и обучение неродному языку*. М., 1987, С. 200–208.
95. Опыт семантического описания творительного падежа русского языка. *Ученые записки Тартуского государственного университета. 760. Грамматическая семантика слова и предложения. Труды по русской и славянской филологии*. Тарту, 1987. С. 108–119.
96. Способы действия в поле лимитативности. *Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис*. Л., 1987, С. 63–84.
97. О системном моделировании функций грамматических форм. *Abstracts der Sektionsvorträge und Rundtischgespräche. XIV Internationales Linguistenkongress*. Berlin, 1987.
98. Категория вида и модальность. *Ученые записки Тартуского государственного университета. 825. Системные и функциональные аспекты языка. Труды по русской и славянской филологии*. Тарту, 1988. С. 8–23.
99. Об историзме в описании падежной системы современного русского языка. *Всесоюзная конференция «Методология и методика историко-словарных исследований, историческое изучение славянских языков, славянской письменности и культуры»*. Тезисы докладов. Л., 1988. С. 147–149.
100. О репрезентации русских предложений в коммуникативно ориентированных учебниках. *МАПРЯЛ. Теория и практика создания коммуникативно ориентированных индивидуализированных учебников русского языка. Тези-*

- сы докладов и сообщений международной конференции. Таллин, 1988. С. 271–272.
101. *Морфология современного русского языка (Введение в морфологию. Имя существительное. Имя числительное)*. Учебное пособие. Тарту, 1989. С. 121.
 102. *Имя прилагательное. Современный русский язык. Теоретический курс. Словообразование. Морфология. Учебник для студентов-иностранцев*. М., 1989. С. 84–101.
 103. *Местоимение. Там же*. С. 108–128.
 104. *Глагол. Там же*. С. 131–210, 221–236.
 105. *Наречие. Там же*. С. 236–239.
 106. *Служебные части речи. Там же*. С. 239–247.
 107. *Междометие. Там же*. С. 247–24.
 108. *Категория вида и императив русского языка. Функционально-типологические аспекты анализа императива. Часть I. Грамматика и типология повелительных предложений*. М., 1990. С. 59–64.
 109. *Опыт семантического описания родительного падежа русского языка. Ученые записки Тартуского государственного университета. 896. Функциональные и семантические проблемы описания русского языка. Труды по русской и славянской филологии*. Тарту, 1990. С. 31–46.
 110. *Опыт семантического описания винительного падежа русского языка. Ученые записки Тартуского государственного университета. 896. Функциональные и семантические проблемы описания русского языка. Труды по русской и славянской филологии*. Тарту, 1990. С. 31–46.
 111. *Модально-аспектуальные связи. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность*. Л., 1990. С. 110–122.
 112. *О семантике неопределенно-личных предложений. Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость*. СПб., 1991. С. 62–72.
 113. *Русские возвратные глаголы в общей системе отношений залоговости. Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость*. СПб., 1991. С. 312–326.

114. О функциональной сущности русского инфинитива и его системных связях. *Категории грамматики в их системных связях. Тезисы докладов конференции ЛО ИЯ АН СССР, Вологод. гос. пед. ин-та.* Вологда, 1991. С. 112–113.
115. О системных связях грамматических единиц в высказывании. *Тезисы 2-й школы-семинара «Синтагматические и парадигматические связи языковых единиц и категорий».* Таллин, 1991. С. 66–67.
116. О семантике и прагматике неопределенно-личных предложений русского языка. *Ученые записки Тартуского государственного университета. 882. Культура. Текст. Нарратив. Труды по знаковым системам. XXIV.* Тарту, 1992. С. 78–88.
117. О функциональном описании грамматики славянских языков. *Jornadas Andaluzas de Eslavística. La eslavística Europea: problemas y perspectivas. Resumen de ponencias y comunicaciones.* 1992. P. 111.
118. *Справочник по русской грамматике.* М.: Русский язык. 1993. 356 с.
119. Лингвистические заметки: О понятии структурно-фактовых и событийных членов предложения. О функциях, употреблении и субъектно-предикатной структуре предложения тождества. К вопросу об историческом становлении инфинитива в системе глагольных форм русского языка. *Acta Universitatis scientiarum socialium et artis educandi Tallinnensis. Tallinna Pedagoogikaülikooli Toimetised. Humaniora A2. Contrastive linguistics.* Tallinn, 1994. С. 11–18.
120. Опыт описания предложного падежа русского языка. *Acta Universitatis scientiarum socialium et artis educandi Tallinnensis. Tallinna Pedagoogikaülikooli Toimetised. Humaniora A2. Contrastive linguistics.* Tallinn, 1994. С. 38–48.
121. О спорных вопросах видо-временной системы русского языка. *Глагол и его категории. Международный семинар в Твярминне. Тезисы докладов.* Хельсинки, 1995. С. 34–39.

122. О типах употребления формы 2-го лица ед. ч. изъяв. накл. в русском языке. *Международная юбилейная сессия, посвященная 100-летию со дня рождения В. В. Виноградова. Тезисы докладов*. М., 1995. С. 126–127.
123. Рецензия: Йожеф Крекич. Побудительные перформативные высказывания. Сегед, 1993. 241 с. *Studia Slavica Hung.* 41. 1996. С. 337–379.
124. О соотношении видо-временных форм глагола как способе выражения итеративности взаимосвязанных событий в кратко-соотнositельных конструкциях русского языка. *Взаимодействие грамматических категорий в языке и речи. Тезисы докладов конференции Института ЛИН РАН и Вологодского государственного педагогического университета*. Вологда, 1996. С. 42–43 (совместно с И. П. Кюльмоя).
125. О функциональной сущности русского инфинитива. *Словарь. Грамматика. Текст. РАН, ОЛЯ, ИРЯ им. В. В. Виноградова*. М., 1996. С. 288–302.
126. Язык как феномен культуры. *Emakeel ja teised keeled II*. Tartu. 1996. С. 31.
127. Аспектология. *Русский язык. Энциклопедия. 2-е изд.* М.: Большая Российская энциклопедия. 1997. С. 38–40.
128. Вид. *Там же*. С. 65–67.
129. Несовершенный вид. *Там же*. С. 268.
130. Совершенный вид. *Там же*. С. 518.
131. О сущности и функциях грамматической семантики. *Тезисы докладов Международной конференции «Функциональная семантика языка, семиотика знаковых систем и методы их изучения». Часть I. Российский университет Дружбы народов*. М., 1997. С. 37–39.
132. О спорных вопросах русской аспектологии. *Труды аспектологического семинара филологического ф-та МГУ им. М. В. Ломоносова. Т. I. М.*, 1997. С. 210–219.
133. О значениях приставки *пред-* в русском языке. *Типология. Грамматика. Семантика. К 65-летию Виктора Самуиловича Храковского*. СПб. С. 230–234.

134. Об инвариантном значении и функциях субстантивного именительного падежа в русском языке. *Общее языкознание и теория грамматики. Материалы чтений, посвященных 90-летию со дня рождения С. Д. Кацнельсона*. СПб., 1998. С. 105–111.
135. О знаковых функциях порядка следования значимых единиц языка (К семиотике начальной позиции). *University of Tartu. Sign Systems Studies*. V. 26. Tartu, 1998. С. 319–330.
136. Опыт функционального описания субстантивного именительного падежа русского языка. *Тартуский университет. Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Новая серия. I*. Тарту, 1997. С. 9–37.
137. Об инвариантном значении и функциях сослагательного наклонения в русском языке. *Вопросы языкознания*. 1999, № 4. С. 124–136.
138. Мысли о прагматике. *Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Новая серия II. Прагматический аспект исследования языка*. Тарту, 1999. С. 255–265.
139. Имя прилагательное. *Современный русский язык. Фонетика. Лексикология. Словообразование. Морфология. Синтаксис*. 2-е изд. Учебник. СПб., 1999. С. 414–432.
140. Местоимение. *Там же*. С. 440–462.
141. Глагол. *Там же*. С. 463–554, 556–571.
142. Наречие. *Там же*. С. 571–573.
143. Служебные части речи. *Там же*. С. 575–581.
144. Междометие. *Там же*. С. 583–584.
145. *Справочник по русской грамматике*. 2-е изд. М.: Русский язык, 2000. 356 с.
146. К проблеме изучения перформативных высказываний. *Nyelv. Aspektus. Irodalom. Köszöntő Krékits József 70. születésnapjára*. Szeged, 2000. С. 213–219 (совместно с И. П. Кюльмоя).
147. Текстовые функции пространственных местоимений в русском языке. *Исследования по языкознанию. К 70-летию члена-корреспондента РАН Александра Владимировича Бондарко*. СПбГУ, 2000. С. 321–326.

148. О функциях грамматики в языке и речи (объяснительный аспект). *Русский язык: исторические судьбы и современность. Международный конгресс. Труды и материалы*. МГУ, 2001. С. 21.
149. О понятии и функционально-семантической типологии дополнения объекта в русском языке. *Теоретические проблемы функциональной грамматики. Материалы Всероссийской научной конференции*. СПб. С. 22–24.
150. Конструктивно-синтаксические функции инфинитива в русском предложении. *Международная конференция «Категории глагола и структура предложения». Тезисы докладов*. СПб., 2001. С. 93–95.
151. Употребление видовых форм в инфинитиве русского языка. *Труды по русской и славянской филологии. Новая серия. V. Русский язык: система и функционирование*. Тарту, 2001. С. 110–141.
152. *Функциональная грамматика русского языка*. М.: Русский язык, 288 с.
153. Знаковые функции умолчания синтаксисом в простых предложениях русского языка. *РАН Институт русского языка им. В. В. Виноградова. Коммуникативно-смысловые параметры грамматики и текста. К юбилею Галины Александровны Золотовой*. М., 2002. С. 190–197.
154. *Русский язык (Справочник)*. Таллинн: Колибри, 2002. 334 с.
155. К проблеме «язык и культура». *Acta Universitatis Scientiarum Socialium et Artis Educandi Tallinnensis. Ученые записки Таллинского педагогического университета. A 21 Humaniora. Семантические проблемы русского языка*. Таллинн, 2002. С. 9–13.
156. Язык и человек. *Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Новая серия. VII*. Тарту, 2002. 280 с.
157. О факторах, влияющих на употребление видовых форм в инфинитиве (в печати).
158. О понятии и типах функциональной грамматики (в печати).
159. О семантических и анафорических функциях частиц *вот/вон, это/то* в русском языке (в печати).

РЕДАКТИРОВАНИЕ

1. Ученые записки Таллинского государственного педагогического института. Серия общественных наук. Вып. 1. Таллин. 1957.
2. Вопросы языка и творчества русских писателей. Вып. 1. Новосибирский государственный педагогический институт. Новосибирск. 1960.
3. Вопросы языка и творчества русских писателей. Вып. 2. Новосибирский государственный педагогический институт. Новосибирск. 1960.
4. Вопросы языка и творчества русских писателей. Вып. 4. Новосибирский государственный педагогический институт. Новосибирск. 1962.
5. Лексико-грамматические проблемы русского глагола. Новосибирский государственный педагогический институт. Новосибирск. 1969.
6. Известия Воронежского государственного педагогического института. Т. 146. Вопросы русской аспектологии. Вып. 1. Воронеж. 1975.
7. Ученые записки Тартуского государственного университета. 425. Труды по русской и славянской филологии. Серия лингвистическая. Проблемы языковой системы и ее функционирования. Тарту. 1977.
8. Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 434. Труды по русской и славянской филологии. Серия лингвистическая. Вопросы русской аспектологии. Вып. II. Тарту. 1977.
9. Ученые записки Тартуского государственного университета. 442. Труды по русской и славянской филологии. Серия лингвистическая. Семантика номинации и семиотика устной речи. Тарту. 1978.
10. Ученые записки Тартуского государственного университета. 439. Семантика и функционирование категории вида русского языка. Вопросы русской аспектологии III. Тарту. 1978.

11. Ученые записки Тартуского государственного университета. 481. Семиотика устной речи. Тарту. 1979.
12. Ученые записки Тартуского государственного университета. 482. Категория вида и ее функциональные связи. Вопросы аспектологии IV. Тарту. 1979.
13. Ученые записки Тартуского государственного университета. 486. Проблемы описания системы языка и ее функционирования. Тарту. 1979.
14. Ученые записки Тартуского государственного университета. 524. Проблемы внутривидового и функционального описания языка. Тарту. 1980.
15. Ученые записки Тартуского государственного университета. 579. Вопросы становления и развития языковой системы. Труды по русской и славянской филологии. Тарту. 1981.
16. Ученые записки Тартуского государственного университета. 625. Семантика аспектуальности в русском языке. Вопросы русской аспектологии V. Тарту. 1982.
17. Ученые записки Тартуского государственного университета. 719. Функциональные аспекты грамматики русского языка. Тарту. 1985.
18. Ученые записки Тартуского государственного университета. 760. Грамматическая семантика слова и предложения. Труды по русской и славянской филологии. Тарту. 1987.
19. Ученые записки Тартуского государственного университета. 896. Функциональные и семантические проблемы описания русского языка. Труды по русской и славянской филологии. Тарту. 1990.
20. П. Эслон, А. Пихлак. Вид и время (Сопоставительный очерк). Таллинн. 1993.
21. Е. И. Гурьева, С. Б. Мельцер, А. В. Селезнева. Учебно-методическое пособие по развитию речи. Часть 1. Тартуский государственный университет. Кафедра русского языка. Тарту. 1983.
22. Е. И. Гурьева, И. П. Кюльмоя, А. В. Селезнева. Учебно-методическое пособие по развитию речи. Часть 2. Тарту.

- ский государственный университет. Кафедра русского языка. Тарту. 1983.
23. Е. И. Гурьева, С. Б. Мельцер, А. В. Селезнева. Учебно-методическое пособие по развитию речи. Часть 3. Тартуский государственный университет. Кафедра русского языка. Тарту. 1987.
 24. Е. И. Гурьева, И. П. Кюльмоя, А. В. Селезнева. Учебно-методическое пособие по развитию речи. Часть 4. Тартуский государственный университет. Кафедра русского языка. Тарту. 1987.
 25. Е. А. Нелисов. Сослагательное наклонение в русском языке (Значение и употребление). Таллин. 1989.

АСПИРАНТЫ, ДОКТОРАНТЫ И МАГИСТРАНТЫ М. А. ШЕЛЯКИНА

КАНДИДАТСКИЕ И ДОКТОРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Игнатьева М. В. Система пространственных значений глагольных приставок и их функции в современном русском языке. Новосибирск. 1968.
2. Zinecker R. Die Struktur des russischen Fragesatzes. Potsdam. 1970.
3. Till R. Transformationsanalyse des russischen adnominalen Genetivs. Potsdam 1970.
4. Hoffmann H. Semantische und syntaktische Strukturen russischer Sätze mit Verben *vzjat'*, *dat'*. Potsdam. 1972.
5. Lamprecht R. Zum Einfluss der Verneinung auf den Aspektgebrauch präteritaler Verbformen in der russischen Sprache der Gegenwart. Potsdam. 1973.
6. Witt W. Zu den Aspekt-, Tempus- und Modalbedeutungen des unabhängiprädikativen Infinitivs im Altrussischen. Potsdam. 1970.
7. Никонова Н. А. Грамматический статус конструкций «быть + причастие» в русском языке. Воронеж. 1975.
8. Ушакова Л. И. Употребление видов глагола в независимом предикативном инфинитиве. Воронеж. 1975.
9. Witt W. Aspektuale, temporale, personale und modale Bedeutungen des unabhängigen prädikativen Infinitivs in der russischen Gegenwartssprache. Potsdam. 1975. (Dr. hab.)
10. Авдеев Ф. Ф. Историческое настоящее в современном русском языке. Воронеж. 1977.
11. Ничман З. В. Глаголы говорения (устной речи) в современном русском языке. Новосибирск. 1980.
12. Пихлак А. И. Принципы составления русско-эстонских словарей активной направленности (на примере конструктивных глаголов). Тарту. 1982.

13. Луценко Н. А. Категория вида в русских причастиях (значение и употребление). Тарту. 1982.
14. Виссак Х. Ю. Научно-методические основы изучения категории вида на уроках русского языка в эстонской школе. Тарту. 1982.
15. Поташкина Ю. А. Категория временной соотносительности действий в современном русском языке. Воронеж. 1985.
16. Кюльмоя И. П. Структура и функционирование кратносотносительных конструкций в современном русском языке. Тарту. 1985.
17. Эслон П. А. Модальное значение возможности/невозможности в русском языке. Тарту. 1987.
18. Костанди Е. И. Языковые средства выражения прагматической направленности газетного текста. Тарту. 1988.
19. Казавчинская Н. А. Функции кратких и полных форм прилагательных в позиции предиката в современном русском языке. Тарту. 1989.
20. Петухов А. С. Предложно-падежная сочетаемость глаголов на -ся в современном русском языке. Тарту. 1992.
21. Туровская С. Н. Проблемы изучения модальных смыслов: теоретический аспект. Тарту. 1997 (PhD).
22. Хааг Э.-О. Типы и средства выражения причинно-следственных отношений в современном русском языке. Тарту (PhD).
23. Быстрика Е. А. Прагматические функции форм лица в современном русском языке. Таллинн (PhD).

МАГИСТЕРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Туровская С. Н. Семантическая типология и средства выражения модальности необходимости в русском языке. Тарту. 1992.
2. Сивенкова Е. А. Функционирование видов в русском императиве (прагматический подход). Тарту. 1993.
3. Быстрика Е. А. Прагматические функции обобщенно-адресатных предложений в современном русском языке. Таллин. 2000.

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

1. Kuhnert H. Untersuchung zur Verwendung von Distributionsmodellen und Übungen zu verbalen Präfixen lokaler Bedeutung der russischen Sprache der Gegenwart in Ausbildung Russischlehrern. Potsdam. 1971.
2. Wenige U. Untersuchungen zur Notwendigkeit und Wirksamkeit eines neuartigen Nachschlätgewerkes zur russischen Morphologie als Hilfsmittel beim Lesen russischesprachiger Fachliteratur sowie Prinzipien für die Gestaltung eines derartigen Nachschlätgewerkes. Potsdam. 1971.
3. Rinck B. Untersuchung der orthoepischen Aussprache palatalisierter und nicht-palatalisierter russischer Konsonanten sowie Entwicklung von Prinzipien und Übungmaterialien zu deren Lautdahnung bei deutschsprachigen Russischlehrerstudenten. Potsdam. 1971.
4. Schlegel H. Der 'Bezugmoment' als linguistisch-methodische Grundlage für die systematische Vermittlung des russischen Verbalaspektes in der Russischlehrausbildung. Potsdam. 1971.



ISSN 1406-0019
ISBN 9985-56-705-6